

БРОНИСЛАВ БАЧКО

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕРРОРА? ТЕРМИДОР И РЕВОЛЮЦИЯ

ВАЛТРУС

библиотека | французского | ежегодника



BALTRUS

библиотека | французского | ежегодника

BRONISLAW BACZKO

COMMENT SORTIR DE LA TERREUR?

THERMIDOR ET LA RÉVOLUTION

PARIS 1989

БРОНИСЛАВ БАЧКО

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕРРОРА?

ТЕРМИДОР И РЕВОЛЮЦИЯ

МОСКВА 2006

УДК 94 (44).044
ББК 63.3(0)52
Б32

Серия «Библиотека Французского ежегодника» издается с 2005 года

ИЗДАТЕЛИ Юозас Будрайтис и Евгений Пермяков
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР СЕРИИ Александр Чудинов
ДИЗАЙН Сергей Андриевич

Programme
A Pouchkine

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО И ПОСЛЕСЛОВИЕ Дмитрий Бовыкин
РЕДАКТОР Екатерина Лямина

Бачко Б.

Как выйти из Террора? Термидор и революция / Пер. с фр. и послесловие Д.Ю. Бовыкина. — М.: BALTRUS, 2006. — 348 с. — (Библиотека Французского ежегодника)

ISBN 5-98379-46-3

9 термидора стало началом беспокойной исторической эпохи. Конвент, во многом состоявший из бывших «террористов», столкнулся с новой политической проблемой: как *выйти из Террора*, который этот же самый Конвент развязал за шестнадцать месяцев до того? Может ли Революция осудить Террор, не вынеся тем самым приговор самой себе?

Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как «термидорианский период», стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.

УДК 94(44).044
ББК 63.3(0)52

ISBN 5-98379-46-3

© Editions
Gallimard, 1989
© BALTRUS, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ. ТЕРМИДОР И ТЕРМИДОРЫ	7
ПРЕДИСЛОВИЕ	18
ГЛАВА I РОБЕСПЬЕР-КОРОЛЬ...	20
ИСТОРИЯ ОДНОГО СЛУХА	21
СОТВОРЕНИЕ СЛУХА	36
СОБЫТИЕ В ПОИСКАХ СВОЕГО СМЫСЛА	45
ГЛАВА II КОНЕЦ II ГОДА РЕСПУБЛИКИ	55
«ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ?»	58
«ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?»	85
«Поставить правосудие в порядок дня»	85
«Свобода печати или смерть»	105
Как можно быть якобинцем?	121
«КУДА МЫ ИДЕМ?»	146
ГЛАВА III «УЖАС В ПОРЯДОК ДНЯ»	168
ЧЕРЕДА ПРОЦЕССОВ	168
«СЕРЬЕЗНЫЕ МЕРЫ» И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ТЕРРОРА	181
СУД НАД РЕВОЛЮЦИЕЙ?	199
ГЛАВА IV НАРОД-ВАНДАЛ	222
НАШИ ПРЕДКИ БЫЛИ ВАНДАЛАМИ?	222
ВАРВАРЫ СРЕДИ НАС...	229
РОБЕСПЬЕР-ВАНДАЛ...	240
ВАНДАЛЫ И КАННИБАЛЫ	250
НАРОД НАДО СДЕЛАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, ЦИВИЛИЗУЮЩАЯ ВЛАСТЬ	256
ГЛАВА V ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРИОД	265
ЗАВЕРШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ	266
АРХАИЧНОЕ НАСИЛИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ	271
РЕАКЦИЯ И УТОПИЯ	284
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ТЕРМИДОР В ИСТОРИИ	303
ДМИТРИЙ БОВЫКИН. БРОНИСЛАВ БАЧКО: ОТ УТОПИИ К ТЕРРОРУ	306

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ. ТЕРМИДОР И ТЕРМИДОРЫ

«Термидор» — термин, хорошо известный в русской политической лексике, имеет долгую и бурную историю.

В XIX веке в России, как и в других странах, для нескольких поколений Французская революция представляла собой основополагающее событие, питавшее революционные идеи и представления Революции о самой себе. «Культ французской революции — это первая религия молодого русского человека; кто из нас в тайне не хранил портреты Робеспьера или Дантона»¹. Это была созидательная и воодушевляющая модель — разумеется, в той мере, в которой Французская революция легитимировала революционную идею, давая ей возможность найти истоки в истории. Поскольку Французская революция состоялась, поскольку она мобилизовала огромные массы народной энергии, поскольку она сделала достоянием прошлого многовековой режим и совершила радикальный разрыв с этим прошлым, ее пример демонстрирует, что отныне глобальные революционные изменения (одновременно и политические, и социальные) становятся возможны. Тот факт, что Французская революция не сдержала всех своих обещаний и не оправдала всех надежд, которые она пробудила, показывал лишь необходимость еще одной революции, которая и должна завершить начатое. Очень скоро среди русских революционеров отсылки к изначальным французским событиям стали сопровождаться сомнениями и вопросами. Стоит ли желать и даже готовить аналогичный переворот в России, или же она должна выбрать иные пути политической и социальной эволюции? Каким образом объединить в рамках одного движения и порыв революционных групп, по определению небольших, и спонтанное движение масс? Кто должен послужить образцом для революционеров? Якобинцы или жирондисты? А может быть, стоит создать революционеров нового типа, доселе неизвестного? Должны ли русские революционеры преследовать те же цели, что и их сланные предшественники, или они пойдут дальше и станут искать иные пути?

Очень скоро возобладало убеждение, что России надлежит *совершить не еще одну революцию, а иную революцию*. На вопрос: «Какую революцию?», получивший распространение марксизм давал

¹ Герцен А.И. Au citoyen rédacteur de l' "Homme" // Герцен А.И. Собрание сочинений. Москва, 1963. Т. XXX. Кн. 2. С. 502 (оригинал по-французски). Я цитирую по книге: Kondratieva T. Bolcheviks et jacobins. Itinéraires des analogies. Paris, 1989. P. 15. Это крайне примечательная книга, часть которой посвящена дебатам и спорам о «русском Термидоре», послужила мне путеводителем по лабиринту этой полемики.

специфические ответы. Ведь марксизм определял Французскую революцию в классовых терминах: она была буржуазной и по своим целям, и по своему гегемону; грядущая же революция в силу самой Истории может быть лишь социалистической и пролетарской. Тем не менее отсылки к Французской революции и поиски аналогий между нею и будущей русской революцией (которую еще предстояло подготовить) отнюдь не исчезли. Должна ли Россия пройти через две революции, буржуазную и социалистическую, отделенные одна от другой более или менее длительным периодом капиталистической и республиканской стабильности? Или же, сумев извлечь уроки из Французской революции и особенностей капитализма в России, русские революционеры пропустят эти этапы? Должны ли инструменты революционной власти, изобретенные в ходе Французской революции (в частности, Террор), неизбежно использоваться в каждой революции? Должен ли ход Французской революции — «переворот», свержение Старого порядка, революционное правительство, контрреволюционное сопротивление, гражданская война и т.д. — неизбежно повториться в каждой революции? И тот же вопрос возникал в отношении тупиков, в которые попадала Французская революция, — отлива революционной волны, в частности при Термидоре, и бонапартистской диктатуры. Так между образом Французской революции и проектами революции грядущей появлялись ряды аналогий и зеркал, обладавших самыми разнообразными функциями: понять настоящее при помощи обращения к прошлому; идентифицировать себя при помощи заимствованных моделей (якобинцы, жирондисты и т.д.) и осознать тем самым разницу между политическими деятелями и, самое главное, повлиять на будущее.

На протяжении всего времени, пока эта аналогия находилась на службе революционных замыслов, отсылки к Термидору скорее оставались маргинальными: аналогия с Французской революцией преимущественно служила для прояснения механизмов начала революционного движения и прихода к власти, а не для предотвращения более поздних и отдаленных опасностей и рисков. Ситуация коренным образом изменилась после Октябрьской революции и прихода к власти большевиков: аналогия с Термидором перемещается с периферии в центр постреволюционной системы образов и идеологических дебатов. Аналогия с Термидором или, скорее, даже призрак Термидора неотступно преследуют умы. И в самом деле, в соответствии с постъякобинской и марксистской традициями Термидор рассматривался как полный опасностей переломный момент, время, когда революция резко меняет

направление и ее движение прерывается, как период буржуазной и даже контрреволюционной реакции. Короче говоря, Термидор — это символ движения революции вспять, можно даже сказать — ее упадка и вырождения; кроме того, это и предвестие 18 брюмера, диктатуры, при которой революция гибнет, — еще один тревожащий умы призрак. С приходом к власти большевиков не начинается ли история повторяться и не превращается ли, если перефразировать Гегеля и Маркса, в трагический фарс?

В марте 1918 года, через шесть месяцев после Октября и накануне Брест-Литовского мира, Мартов, лидер и теоретик меньшевиков, предрекал неизбежную гибель «коммунистической диктатуры большевиков». По его словам, Россия находилась накануне своего собственного Термидора. Однако, подчеркивал он, необходимо различать два значения этого термина или, если угодно, две фазы Термидора: события собственно 9 термидора, свержение Робеспьера и его единомышленников, и последовавшую за этим контрреволюционную реакцию. Свержение Ленина и окружающей его группы фанатиков и авантюристов неминуемо и даже вот-вот произойдет. Тем не менее воспроизводство французской парадигмы отнюдь не неизбежно. Можно сделать так, чтобы свержение диктатора имело иные последствия, и избежать второй фазы: «истинные революционеры», в частности меньшевики, должны приложить все усилия, чтобы изменить ход событий и спасти демократию вкупе с завоеваниями революции. В случае их неудачи история повторится, и Россия рухнет в контрреволюционную пропасть — еще более беспощадную, чем это было во Франции.

Как известно, ни один из этих сценариев не воплотился в жизнь, однако аналогии с Термидором и дебаты о «русском Термидоре» только начинались. Они были особенно бурными в новом политическом контексте, в эмиграции, после имевших сильный резонанс статей Николая Устрялова. Бывший руководитель партии кадетов, Устрялов после поражения Колчака укрылся в Харбине, где стал выступать в качестве идеолога «сменовеховцев». В серии статей, опубликованных в 1922-1923 годах, Устрялов предлагает свою собственную интерпретацию французского Термидора и соответственно свою концепцию Термидора русского. Он подчеркивает, что Термидор отнюдь не сводится к падению Робеспьера, оно было лишь его эпизодом, своего рода дворцовым переворотом. Термидор — это и не реакция, и не контрреволюциями часть революции, необходимый этап революционного процесса. Дойдя до этого этапа, революция все меняет, оставаясь при этом самой собой. Она оставляет позади чрезмерные надежды и жестокие

бесчинства, довольствуясь настоящим и своими завоеваниями. Достигнув пика, революционная волна неизбежно должна пойти на спад: таким образом, Термидор представляет собой переломный момент в революции, навязанный ее деятелям историей. Во Франции Робеспьер и его сторонники не осознали данного изменения, вследствие чего оно произошло за их счет. Напротив, в России Ленин смог извлечь уроки из прошлого, и теперь путем провозглашения НЭПа он пытается пожертвовать коммунизмом, чтобы спасти власть Советов и своей партии. Тем самым он приспособился к термидорианской динамике и с успехом приступил к «замедлению революции» («спуску на тормозах»), своего рода автотермидору. Соответственно путь Термидора будет долг и пройдет под знаком советской власти, однако в конечном счете приведет к ее санации, перестройке Русского государства, полному отказу от военного коммунизма, и даже вообще от коммунизма.

Для Устрялова НЭП — не просто политическая тактика, а выражение мощнейшей тенденции, экономической и социальной эволюции. Путь, который предстоит пройти, нов, и окончательные экономические и институциональные формы, в которые выльется эта революция, неизвестны, однако волей-неволей они будут представлять собой компромисс между советской властью и восстановлением частной собственности, правового государства и демократических институтов. Таким образом, следует помочь советской власти эволюционировать в этом направлении, а не сражаться с ней, тем самым замедляя, а то и приостанавливая этот процесс. Тезисы Устрялова вызвали всеобщее возмущение как в эмиграции, где начали бушевать споры о «русском Термидоре», так и у большевиков. Сам же Ленин, выступая против Устрялова и других «сменовеховцев» как против контрреволюционеров и классовых врагов, признавал, что Устрялов выразил «классовый взгляд» на НЭП и его цели. Ленин не практиковал систематическое обращение к аналогии между НЭПом и Термидором, но тем не менее ему также случалось высказывать идею о том, что большевики были достаточно мудры и храбры, чтобы самим совершить свой собственный Термидор. Тем не менее он подчеркивал, что они совершили его своим способом для того, чтобы реализовать свои собственные цели. То, что «классовые враги» принимают за неизбежную *эволюцию*, — для большевиков лишь *тактика*, которой они прекрасно владеют. НЭП — это отступление для того, чтобы прыгнуть вперед, лучше и дальше.

Тем не менее только в 1926-1928 годах, после смерти Ленина, аналогия с Термидором стала широко распространена, и вопрос о

«советском Термидоре» оказался в центре идеологических споров и внутрипартийной борьбы. Воспроизводить здесь все извивы этих ожесточенных и запутанных дискуссий было бы довольно скучно. Если коротко и с определенным упрощением их резюмировать, можно сказать, что в них сталкивались две крайне противоположные позиции — троцкистского и сталинского направлений.

Постепенно все больше переходя в оппозицию к Сталину и сталинизму, Троцкий, который в это время был уже в ссылке, подхватил аналогию между Термидором и эволюцией советской власти и выступил со своим обвинением «советского Термидора». Революция оказалась предана, советская власть и партия выродились и погрязли в недрах бюрократического государства. Пришедшая к власти бюрократия представляет собой новый класс, захвативший власть и использующий ее для своих целей; Сталин лишь представитель этого класса. Став неоспоримым главой термидорианской бюрократии, он сделался первым среди термидорианцев. Так аналогии с Термидором стали основным стержнем радикальной критики сталинизма.

Сталинское направление решительно отвергало аналогии с Термидором; в частности, Бухарин по случаю девятой годовщины Октябрьской революции изобличал «нелепость», лежащую в основе этих ошибочных аналогий. Во время Французской революции якобинцы при помощи Террора, «великолепного революционного средства», уничтожили феодализм. Тем не менее поскольку они относились к мелкой буржуазии, то так и не смогли сохранить власть: История отдала победу экономическому и политическому господству крупной буржуазии; отсюда и проистекало падение якобинцев, и таков классовый смысл Термидора. В то же время Октябрьская революция привела к власти пролетариат, воплощающий собой ход Истории. Будущее за диктатурой пролетариата, и она пользуется поддержкой масс — таков классовый смысл советской власти. Таким образом, смешно задаваться вопросом, имел ли место в реальности «советский Термидор», поскольку исторический материализм и марксистская интерпретация истории исключают саму его возможность.

От любых параллелей с Термидором продолжали отказываться и после падения Бухарина, и после его трагического конца. Термидору не давали выйти за пределы истории Французской революции и рассматривали его как один из ее переломных моментов. Не только всякая параллель между Термидором и советской историей имела троцкистский привкус, но и любая аналогия между двумя революциями в принципе стала подозрительной. Октябрьская

революция — единственная *истинная* революция; это беспрецедентное начало, это событие, перевернувшее историю, она сама по себе является эталоном. Октябрьской революции нельзя подобрать аналогий, она значима сама по себе.

В ходе идеологических дебатов двадцатых годов обе противоположные интерпретации разделяли единую, постъякобинскую схему, соединенную с марксистским подходом: Термидор — это реакция, определяемая в классовых терминах. Отсюда, помимо всего прочего, те тупики и анахронизмы, в которых увязали попытки применить этот подход к историческим реалиям и соответственно идентифицировать мелкую и крупную буржуазию как участников, а их интересы — как мотивацию для термидорианских политических конфликтов. Та же схематизация скрывала и даже исключала главный политический смысл этих конфликтов, а именно — конец Террора, как если бы одно только упоминание об осуждении и упразднении Террора уже вызывало подозрения в контрреволюционности. Вот крайний, но весьма показательный пример этих умолчаний. В январе 1931 года началась идеологическая кампания против «буржуазных историков, классовых врагов и вредителей», в частности, против Тарле и его школы. Уже годом раньше Тарле и многие другие историки, филологи, литераторы и т.д. были арестованы в рамках «Академического дела» и обвинены в принадлежности к подпольной организации, ставившей своей целью свержение советской власти и реставрацию монархии. В идеологической кампании, последовавшей за этим «делом», Тарле вменялась в вину фальсификация исторической истины в буржуазном и контрреволюционном духе. В длинном списке фальсификаций фигурировал и его подход к Термидору: «Дли него Термидор был концом Террора, а не контрреволюцией». Очевидно, от начала и до конца «Академическое дело» было сфабриковано ГПУ. Как и многие другие «дела» и публичные процессы этого периода, бывшие прелюдией к крупным московским процессам, оно вписывалось в контекст новой волны Террора, вызванной «великим переломом», индустриализацией и насильственной коллективизацией².

² Об «Академическом деле» и кампании против Тарле см.: *Каганович Б.С.* Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 32-41. Всего по этому «делу» проходило 135 человек. В отличие от других «заговоров» этого периода (Промпартии, Шахтинского) «Академическое дело» не завершилось публичным процессом, и приговоры были вынесены закрытой коллегией ГПУ. Как предполагаемый министр иностранных дел будущего монархического правительства, Тарле был приговорен к пяти годам ссылки в Алма-Ату; хотя, как и многие другие ученые, он был обвинен в том, что входил в число руководителей заговора, приговор оказался относительно мягок. Советская пресса получила указания обойти молчанием и само дело, и вынесенные по нему приговоры. После того как часть наказаний была

В своей книге я попытался поставить и разработать проблему понимания термидорианского периода в его историческом контексте, начиная с основного политического вопроса, вынесенного в заглавие этой работы: как выйти из Террора? Я убежден, что в тот исторический период главная политическая цель была именно такова: открывались двери тюрем, демонтировался террористический аппарат и был отменен Революционный трибунал, публично осуждались преступления Террора, несколькими ответственным за него в ходе знаковых процессов вынесли приговоры, арестованные депутаты вновь вернулись в Конвент, оказались реабилитированы многие жертвы Террора и т.д. Выход из Террора — это не *единовременное действие*, а сложный политический процесс, сопровождавшийся многими скрытыми трудностями. Меня интересует политическая динамика этого процесса, и в частности трудности и препятствия, которые он встречал на своем пути. Их немало: как установить, кто ответствен за Террор и где остановиться в длинной цепи этих ответственных? На его уполномоченных и прямых исполнителях? На правительственных Комитетах, которые его организовали и им руководили? На Конвенте, который его декретировал? На самом суверенном народе, который активно одобрял его в своих посланиях Конвенту? Как объяснить наступление и царство Террора: навязанной обстоятельствами необходимостью или же фатальными и пагубными последствиями самой революции? Как демонтировать Террор, не ставя под вопрос достижения революции, и в частности республиканскую форму правления? Как сохранить легитимность вышедшей из революции власти и оградить представления Революции о самой себе от террористической грязи? Очень быстро, менее чем за год, сама динамика выхода из Террора заставила термидорианцев столкнуться со следующей проблемой: как закончить революцию, положить конец конституционному вакууму и чрезвычайному режиму и установить правовое государство? В равной мере меня интересовали и термидорианцы, нередко бывшие «террористы», пройденный ими извилистый путь, их распри и их трудный выбор. Не претендуя на исчерпывающую полноту, это беглое перечисление показывает сложность той эпохи и вызываемый ею интерес. Со времени написания этой книги Термидор вызывал немало любопытства, и были проведены его новые исследования. Сегодня мне стоило бы дополнить эту книгу, например, главой,

отменена, большинство приговоренных получили разрешение вернуться в Москву или в Ленинград и по большей части вновь вошли в состав Академии наук. Однако лишь в 1967 году, через тридцать пять лет после приговора, он был аннулирован Верховным судом «за отсутствием состава преступления». И пришлось дожидаться 1980-х годов, чтобы «Академическое дело» было предано в России гласности.

посвященной реваншу, к которому столь стремились термидорианцы; следовало бы также уточнить ряд моментов, особенно в связи с процессом Каррье и т.д. Однако я оставил эту книгу такой, какая она есть. Она служит одновременно свидетельством и определенного этапа в исследованиях, и того момента в истории, когда этот труд был задуман.

И если признать оправданность подобного прочтения эпохи Термидора, то былая аналогия между французским Термидором и русским Термидором также заслуживает переосмысления. Отправной точкой здесь может служить признание того факта, что только в 50-х годах XX века, после смерти Сталина, выход из Террора действительно был поставлен в Советском Союзе в порядок дня — и как проблема, и как политическая программа. Таким образом, начало тяжелого выхода из Террора приходится лишь на время «оттепели» и десталинизации. И если позволить себе столь смелое обобщение, то, с этой точки зрения, Советский Союз вступает в свой Термидор с Хрущевым и, сверху и снизу, ускоряясь и отступая назад, выходит из Террора вплоть до Горбачева, то и вплоть до Ельцина, которые выступают в роли последних советских термидорианцев. Процесс, который во Франции занял пятнадцать месяцев, в Советском Союзе растянулся более чем на четверть века. В то же время в Советском Союзе серьезный кризис, вызванный выходом из Террора, превратился в общий кризис системы, который сложными, извилистыми путями привел к крушению режима и выходу из коммунизма. Эти противопоставления демонстрируют как интерес к аналогиям, так и границы их уместности.

Работа историка неизбежно связана со сравнениями, однако сравнивать отнюдь не означает сводить критерии сравнения к упрощенной схеме; напротив, это должно выявить сложную игру параллелей и противопоставлений и тем самым внести свой вклад в лучшее понимание каждого из этих критериев. История не повторяется даже в том случае, когда в разном контексте и в разные эпохи возникают аналогичные вопросы: другие времена и другие места, другие действующие лица и другие нравы, другие средства сообщения и другие технологии, другой концептуальный инструментарий и другие социальные системы образов и т.д. Крушение советской империи и выход из коммунизма дают историкам возможность поставить новые проблемы в сравнении двух революций, французской и русской, поскольку отныне обе они окончательно завершены. В свете их контрастирующих друг с другом финалов необходимо переосмыслить и начало, и путь каждой из них. Парадоксальным образом, на первый взгляд, эти две революции

являются противоположностью именно в том, в чем они кажутся в наибольшей степени похожими. И одна, и другая обещали быть радикальным разрывом с прошлым; и одна, и другая собирались начать историю с нуля. Однако в своем развитии и одна, и другая зависели от того прошлого, которое они отвергали. В этом плане если именовать их революциями, то следует признать чрезвычайную плотность времени, в которое они протекали. Но это также означает обнаружение в их глубинах связей с теми социальными и культурными традициями, с которыми они хотели порвать; одним словом, это ведет к осознанию того, что, несмотря на их общее стремление к всемирности, одна из них была *французской*, а другая — *русской*. Следует провести и еще одно противопоставление: Французская революция открывает собой долгий период, растянувшийся на два века, — период рождения и распространения революционной мифологии; распад СССР и выход из коммунизма знаменуют упадок революционной идеи. Залогом ее была история, оттого-то на этой идее столь существенно сказались серьезные последствия ее последнего кризиса — самого тяжелого за все время ее существования. Однако упадок не обязательно означает конец: мощные исторические мифы глубоко укореняются в социальной системе образов и претерпевают порой удивительные изменения. Так, постановка проблемы Термидора и Термидоров приводит к постановке вопросов о будущем революций и революционной системе образов. А это уже находится за пределами ведения историка.

Январь 2005 года

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕРРОРА?

ТЕРМИДОР И РЕВОЛЮЦИЯ

*Памяти Релы,
моей жены и моего друга, моей любви*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это эссе родилось из неожиданности и изумления. Читая, в некоторой степени случайно, дневник, который вел во время Революции некий Селестен Гиттар де Флорибан, парижский буржуа, я дошел до страницы, где автор рассказывает, как в ночь с 9 на 10 термидора по Парижу ходил слух о том, что Робеспьер хотел провозгласить себя королем и даже вынашивал планы взять в жены заключенную в Тампле дочь Людовика XVI. Решив перепроверить этот слух, я выяснил, что, несмотря на всю абсурдность, он был весьма широко распространен и оказал определенное влияние на ход событий. Как такое могло случиться? В какой политический и ментальный контекст вписываются этот слух и его успех — на первый взгляд парадоксальный? Так я заинтересовался событиями 9 термидора, или, шире, термидорианским периодом, — тревожным и беспокойным.

10 термидора никто еще не знал и даже помыслить не мог, к чему приведет Революцию свержение «последнего тирана». Важность термидорианского периода заключается отнюдь не в изначальном политическом или идеологическом проекте, а в проблемах, с которыми столкнулись политики и которые они должны были решить. Насколько неуверенными и противоречивыми зачастую были их действия, насколько одни поступки влекли за собой другие, настолько же показательной даже в наши дни представляется последовательность самих проблем и их взаимосвязь. Что делать с переполненными тюрьмами? Кого — и когда — следует из них освобождать? Какую форму должно принять правосудие, «поставленное в порядок дня»? Какую степень свободы предоставить прессе? Как исправить политические, культурные и психологические последствия Террора? Как навеки покончить с Террором? Кто несет за него ответственность и необходимо ли покарать этих людей?

Все эти вопросы, касающиеся частных случаев, дополняют друг друга и поднимают одну большую проблему: *как выйти из Террора?* Приняв какие решения и какими путями? Какую политическую власть необходимо установить после Террора? Как навсегда предотвратить любой возврат к Террору? И наконец, как закончить Революцию и обеспечить Республике новую отправную точку? Таким образом, мои вопросы касаются *термидорианского политического опыта*, который обеспечил этому периоду длительностью в пятнадцать месяцев единство и оригинальность и который вписывается в общий политический опыт революции.

Я быстро понял, что этот список вопросов сопровождается другим, неотделимым от первого. Как победившие во II году революционная система символов и образов могла распасться за такое короткое время, всего за несколько месяцев? Какова иная система образов,

антитеррористическая и антиякобинская, сложившаяся и вытесненная во времена Террора? Как только страх отступает, оно тут же набирает силу, надолго пятная своими навязчивыми идеями коллективную память. Ибо исчезновение страха и расширение свободы слова заставляют политических деятелей задавать неприятные вопросы: «Как *это с нами* могло случиться?» Как могла Революция, имея отправной точкой принципы 1789 года, прийти к тем формам Террора, которые были в ходу во II году? Можно ли было согласовать эти принципы с реальной историей? Другими словами, какой свет проливает Термидор на пройденный извилистый путь, на опыт и сущность Революции, на созданные ею политические институты и стоящую за ними ментальность?

Французская революция быстро стала моделью, своеобразной матрицей для более поздних революций. Можно было видеть, как их участники по очереди идентифицируют себя с жирондистами, якобинцами, санкюлотами... Они мечтали о своем собственном 14 июля и своем собственном 10 августа. Но никогда они не идентифицировали себя с *термидорианцами*, и мысль о *собственном Термидоре* преследовала их как кошмар.

Несомненно, этих вопросов для одной книги много, даже слишком много. Однако они по самой природе своей связаны, а эта книга — не более чем эссе, она приглашает к размышлению и не дает окончательных ответов.

Проблематика этой книги в общих чертах наметилась в ходе нескольких лекций в рамках семинара моих друзей, Франсуа Фюре и Моны Озуф, в Школе высших исследований по общественным наукам. Наш постоянный диалог, особенно интенсивный в ходе коллоквиумов на тему «Французская революция и современная политическая культура», чрезвычайно меня обогатил и очень мне помог. И за все, что они мне дали, мне бы хотелось их еще раз от всего сердца поблагодарить.

Неоценимо и то, чем это исследование обязано Жану-Клоду Фавезу, верному другу, моему основному собеседнику и первому читателю этой книги, его интеллектуальной требовательности и трезвости исторических суждений.

Эта книга посвящена моей жене; пока она еще была жива, ее присутствие и ее помощь ежедневно поддерживали меня и позволяли преодолевать большие трудности, которые лишь возрастали, по мере того как продвигался этот труд; после ее смерти память о ней заставила меня, несмотря ни на что, закончить работу над этим текстом.

ГЛАВА I РОБЕСПЬЕР-КОРОЛЬ...

«Сегодня, в понедельник, во второй половине дня, Робеспьер и 21 человек, участвовавший вместе с ним в заговоре, предстали перед Революционным трибуналом, который утвердил им смертные приговоры: поскольку они были поставлены вне закона, не было необходимости организовывать судебный процесс. Было решено, что их казнят на площади Людовика XV, ныне площади Революции. Их везли туда по улице Сент-Оноре, и повсюду народ, с негодованием осознавший, как они его обманывали, осыпал их оскорблениями. Им отрубили головы в 7 часов вечера. В 24 часа все было кончено; и едва ли те, кто хотел перебить 60 тысяч человек в Париже, ожидали, что умрут столь быстро. Вот как Господь погубил негодяев в тот самый момент, когда они претворяли в жизнь свои планы.

Душой этого заговора были Робеспьер и другой негодяй — Кутон, который ему помогал. Говорят, он хотел провозгласить себя королем в Лионе и других департаментах и жениться на дочери Капета... Как только обычный человек может задумать такое! Честолюбивый негодяй, вот куда тебя привели твоя гордыня. Глава заговора умирает, и все рушится вместе с ним»³.

Селестен Гиттар де Флорибан, рассказывающий таким образом о событиях 9 и 10 термидора, является неоценимым свидетелем. Он записывает в своем дневнике мельчайшие подробности своей жизни — жизни все более и более разоряющегося рантье в революционном Париже. Он без усталости ходит по улицам в поисках последних новостей, читает плакаты и газеты, участвует в спорах собирающихся на площади Карусели. Он еще и потому так падок на различные слухи, что принимает их с поразительной доверчивостью, порой заставляющей задаваться вопросом, истинна она или притворна. Он радуется аресту Эбера, «выпускавшего листок под названием *Père Duchesne*»: «Какое же великое счастье, что этот заговор был раскрыт, и надобно лишь надеяться, что все его главари станут известны». Двумя неделями позже, 16 жерминаля II года, он поздравляет себя с раскрытием другого заговора. «Бесчисленное число народа собралось на площади», где отрубили головы «пятнадцати весьма известным заговорщикам», а «главой этого заговора» был Дантон. А вот и еще один заговор: Шометт, «молодой человек тридцати одного

³ Journal de Célestin Guittard de Floriban, bourgeois de Paris, sous la Révolution / Présenté et commenté par R. Aubert. Paris, 1974. P. 437-438.

года от роду, хорошо образованный и весьма умный... встал во главе заговора, чтобы удушить Национальное собрание. И получил сегодня вместе со своими сообщниками то, что они все заслуживали, — смерть. В какой хаос могли бы они ввергнуть Францию». 4 флореаля Гиттар вместе со своей секцией отправляется в Конвент, чтобы «поздравить депутата Колло д'Эрбуа и Робеспьера» с тем, что они избежали смерти от рук «убийцы Амिरаля» и Сесили Рено, «еще одной одержимой дьяволом»; к превеликому счастью, «оба были арестованы»⁴. А месяцем позже он совершенно не удивляется казни того же самого Робеспьера, равно как и известию, что тот хотел провозгласить себя королем.

Однако Гиттар, при всем своем легковерии, был не единственным, кто не усомнился в этой поразительной новости. Жорж Дюваль, молодой клерк, работавший у нотариуса в термидоре II года и ставший несколькими месяцами позже одним из вожаков «золотой молодежи», уверяет в своих мемуарах, что после казни Робеспьера «прошел слух — все современники тогдашних событий об этом помнят, — что он осмелился возжелать руки сироты из Тампля, и есть сведения, что этот слух не был беспочвенным. И если он и впрямь замыслил столь дерзкий план, то без сомнения ожидал, что мадам Елизавета, будучи обязана ему жизнью, замолвит за него слово перед своей августейшей племянницей. Робеспьер, убийца Людовика XVI, муж дочери Людовика XVII! И, без сомнения, наследник его трона»⁵. Жорж Дюваль — бесстыдный пасквилянт, выдававший за правду все слухи, ходившие по революционному Парижу. Таким образом, когда он пересказывает выдумки и слухи, на его свидетельство можно положиться. В данном случае перед нами лжец, вполне заслуживающий доверия.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СЛУХА

Слух о том, что Робеспьер хотел стать преемником Людовика XVI, не остался незамеченным историками Революции — особенно теми, кто занимался 9 термидора. Большинство не стало на нем останавливаться, упомянув и тут же с пренебрежением отвергнув: он был слишком абсурдным и к тому же полностью сфабрикованным.

⁴ Journal de Célestin Guittard de Floriban, bourgeois de Paris, sous la Révolution. P. 326, 334, 337-338.

⁵ Duval G. Souvenirs thermidoriens. Paris, 1844. Т. 1. P. 146. Дюваль уверяет, что «Робеспьер ополчился на англичан лишь для того, чтобы вызвать ненависть к ним у черни и скрыть под густой вуалью секретные переговоры, которые он с ними вел, чтобы в один прекрасный день воссесть с их помощью на трон Людовика XVI, освободившийся благодаря его немалым усилиям 21 января 1793 года» (Ibid. P. 201-202).

Однако нам кажется, что к нему стоит отнестись со вниманием. И не для того, чтобы выяснять степень его обоснованности; наоборот, он привлек наше внимание именно в силу своей очевидной ложности.

Давно уже стало общим местом, о котором, однако, часто забывают, что ложный слух является реальным фактом общественной жизни, и в этом качестве он таит в себе часть исторической правды — важны не сведения, которые он готов предать огласке, а условия, при которых его возникновение и распространение стало возможным, состояние умов, ментальность и представления тех, кто принимал его за чистую монету. Таким образом, чем более ложен, абсурден и фантастичен распространенный слух, тем больше открытий сулит изучение его истории. А очевидно, что слух о Робеспьере-короле на самом деле циркулировал в беспокойном Париже 9 и 10 термидора; по крайней мере, некоторые участники тех событий видели в нем обнаружение доселе скрытой правды. И интересно не только то, что такой слух существовал. Если 9 термидора этот слух смог укорениться в социальной системе образов, следует задаться рядом вопросов по поводу этой системы образов и самого события, от которого слух настолько неотделим, что при всей своей ложности повлиял на его развязку.

Мы можем лишь частично реконструировать историю этого слуха. По двум причинам: он оставил лишь мимолетные воспоминания, и свидетельства о нем нередко противоречивы. Слух распространялся в печати и из уст в уста. Однако это разделение весьма условно: газеты, афиши, брошюры, в которых сообщались новости, распространялись разносчиками, кричавшими во все горло, чтобы привлечь внимание публики. На улицах и площадях собирались толпы, и текст нередко читали вслух, по ходу комментируя.

Хотя от времен Революции до нас дошло немало текстов, не стоит забывать, что культура той эпохи оставалась преимущественно устной и, в частности, политическая информация циркулировала в народных массах, как правило, именно таким образом.

Особенно ярко это видно на примере парижских «народных восстаний», когда десятки тысяч людей вступали в контакт непосредственно на улице. Таким образом, распространявшийся устно слух оставлял мало следов, а даже если они и были, то весьма туманные. Так и от ночи с 9 на 10 термидора, когда зародился наш слух, до нас дошло огромное количество документов: отчеты о дебатах в Конвенте; протоколы революционных комитетов и собраний секций; доклады, которые эти комитеты наравне с командованием вооруженных сил секций час за часом отправляли в Комитеты общественного спасения и общей безопасности; протоколы Коммуны; бесчисленные свидетельства и т.д. Однако этот комплекс документов в равной мере (или даже прежде всего) показывает смятение, царившее той ночью среди действующих лиц. Это изобилие не

заполняет вполне определенные лакуны и даже добавляет противоречия к тому смятению, которым отмечены рассказы о событиях. Кроме того, слух о Робеспьере-короле, как и любые другие циркулировавшие в обществе слухи, постоянно видоизменялся. Он существовал во множестве вариантов, от самых примитивных до наиболее изощренных, со множеством разветвлений, и его историю невозможно реконструировать, не составив их перечень — так, как это делают антропологи, однако в любом случае он будет весьма неполон.

Утром 9 термидора во время заседания Конвента, закончившегося арестом Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста и других, наш слух еще не распространился. Бийо-Варенн называет Робеспьера *тираном*, используя этот термин и для выделения главного обвиняемого, и как оскорбительный эпитет. Депутаты Конвента подхватывают его, крича: «Долой тирана!», заклиная этими возгласами свой страх и мешая Робеспьеру этими повторяющимися восклицаниями взять слово. Тальен добавляет другие эпитеты: *новый Кромвель*, *новый Катилина*. Среди обвинений в адрес Робеспьера, сколь многочисленных, столь и разрозненных, отсутствует обвинение в желании восстановить королевскую власть и вдобавок самому стать королем. Во время этих дебатов намек на «трон» появляется лишь один раз — в риторических пассажах Фрерона против Кутона: «Кутон — это тигр, жадующий крови национального представительства. Он осмелился, развлекаясь, как король, говорить в обществе Якобинцев о пяти или шести головах депутатов Конвента. А ведь это было лишь началом, и он мечтал превратить наши трупы в ступени, по которым взошел бы на трон». Пассаж оказался смехотворно нелепым; Кутон парировал его одной фразой, показав на свои парализованные ноги: «Ну да, я хотел взойти на трон...»

Во время бурных дебатов никто не потрудился уточнить, какую форму правления хотел установить «новый тиран». Эли Лакост говорит о каком-то триумvirате, состоявшем из Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Барер упоминает об угрозе военной диктатуры, обличает тайные связи «заговорщиков» с аристократами и за границей. Он ссылается на некоего захваченного в плен в Бельгии «вражеского офицера», якобы поведавшего: «Все ваши успехи — ничто; мы по-прежнему надеемся вступить в переговоры о мире с одной из партий, какой угодно фракцией внутри Конвента и вскоре сменить правительство». Он негодует по поводу «аристократии, радующейся нынешним событиям... той аристократии, которую мы не смогли извести, несмотря на все наши усилия, и которая прячется в грязи, когда она не в крови, аристократии, [которая] пришла, начиная со вчерашнего дня, в движение, весьма напоминающее деятельность контрреволюционеров».

В «Обращении Национального Конвента к французскому народу», принятом в конце этого заседания, но составленном Барером загодя, несколькими часами раньше, перечисляются все опасности, которым подвергается Революция. «Революционное правительство, ненавидимое врагами Франции, подвергается нападкам уже в нашей среде; республика клонится к закату; кажется, что аристократия торжествует, и роялисты вот-вот появятся вновь. Граждане, хотите ли вы в один день потерять шесть лет революции, жертв и отваги? Хотите ли вновь вернуться под ярмо, которое сбросили с себя? ...Если вы не сплотитесь вокруг Национального Конвента, [...] победы превратятся в бедствие, и французский народ окажется беззащитен перед ужасами внутренних распрей и мстостью тиранов. Прислушайтесь к голосу родины вместо того, чтобы присоединять ваши крики к крикам недоброжелателей, аристократов и врагов народа, — и отечество вновь будет спасено».

Таким образом, «заговорщики» приравниваются к роялистам путем намеков и аллюзий на общую для тех и других цель — уничтожение Республики; однако о Робеспьере-короле речь пока не идет. Этот шаг будет сделан вечером 9 термидора в атмосфере охватившей Конвент паники. Возобновив заседание около 19 часов, Конвент час от часу получал все более и более тревожные известия: восстание Коммуны, которая призвала секции «подняться в полный рост»; перемещение вооруженных сил секций, информация о настроениях которых была весьма противоречивой; появление на площади Единства (бывшей площади Карусели) канониров, сопровождавших Анрио (незаконно арестованный во второй половине дня Комитетом общей безопасности, ныне он объезжал улицы верхом на лошади, обращаясь с речами к канонирам и войскам секций); освобождение Робеспьера и других арестованных депутатов. Однако первые следы этого слуха прослеживаются не по выступлениям в Конвенте. Ни в декретах, ставивших вне закона Робеспьера, остальных арестованных депутатов и восставшую Коммуну, ни в ходе бурной и беспорядочной дискуссии, последовавшей за их принятием, не упоминаются «королевские намерения» Робеспьера.

Слух появляется на улицах, в частности на Гревской площади, и в секциях. Комитеты секций находились тогда в постоянном контакте с Комитетами общественного спасения и общей безопасности; помимо прочего, они обменивались и информацией. Нет сомнений, что слух распространился в связи с чтением глашатаями на улицах, при свете факелов, декретов об объявлении вне закона. Также он распространялся по крайней мере некоторыми из тех двенадцати депутатов Конвента, которые помогали Баррасу, назначенному командующим национальной гвардией. Подпоясанные трехцветными поясами, с саблей на боку, в шляпах с плюмажами, они отправились завоевывать город, чтобы сплотить вокруг Конвента и против

заговорщиков батальоны национальной гвардии, канониров, комитеты и собрания секций, просто-напросто народ. Информация обо всей этой лихорадочной деятельности далеко не полна. Так, Леонар Бурдон, один из двенадцати помогавших Баррасу депутатов, яростно обличал Робеспьера перед секцией Гравилье, сыгравшей в последующих событиях немаловажную роль; тем не менее мы ничего не знаем об аргументах, которые он приводил в доказательство своих обвинений. Другие представители народа, чтобы убедить колеблющиеся секции Сент-Антуанского предместья, рассказывали им о печати с изображением лилии, найденной у Робеспьера (к этой печати мы еще вернемся); однако Барер, приводящий этот эпизод в своем докладе от 10 термидора, имен этих депутатов не называет. С большей или меньшей уверенностью можно предположить, что в ночь с 9 на 10 термидора слух распространялся по меньшей мере в дюжине секций (или в их батальонах); среди них секции предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо, равно как и некоторые секции в центре города.

Ничто, однако, не заставляет нас предположить, что сфера распространения слуха ограничивалась только теми секциями, информацией о которых мы располагаем. Стоило запустить этот слух, как он перекидывался с одной секции на другую, находя все новых и новых распространителей, и живейшим образом обсуждался везде, где в атмосфере сомнений и неопределенности люди стремились получить хотя бы какие-то новости о событиях, которые развивались весьма беспорядочно. Так, собрание секции Единства, балансировавшее некоторое время между Коммуной и Конвентом, получило послание от секции Ломбар с извещением о том, что ее революционный комитет арестовал «пять негодяев» — по всей видимости — сообщников Коммуны, которые, «желая извлечь выгоду из обстоятельств, кои они сочли благоприятными для их планов, провозгласили сына Капета [королем]». Эта новость, разоблачающая истинные проекты «самого кошмарного заговора», не фигурирует в архивах ни одной другой секции. В то же время секция Ломбар, с самого начала преданная Конвенту, «побраталась» с двумя десятками других секций, отправив туда своих делегатов. Таким образом, логично предположить, что эти эмиссары не преминули разнести столь потрясающую новость повсюду. Так же как и секция Ломбар, большинство верных Конвенту секций сносились между собой и старались убедить секции колеблющиеся, формируя тем самым тесную сеть циркуляции новостей и слухов.

Что же именно рассказывали? Эта ошеломляющая новость имела несколько версий, поскольку видоизменялась по мере распространения (не говоря уже о том, что нет никакой уверенности, что все изначальные распространители рассказывали ее сходным образом). Более или менее неизменным оставалось лишь

следующее: Робеспьер — роялист; с него наконец-то сорвали маску; это одновременно объясняет и цель его заговора, и меры общественного спасения, принятые Конвентом. На основе этой канвы люди импровизировали, добавляли подробности, приводили доказательства. Можно ранжировать версии этого слуха от самой простой до самой изощренной: у Робеспьера (и / или в Коммуне, у полицейских чиновников) была найдена печать с изображением лилии; два человека пытались освободить из Тампля «юного Капета»; пятеро «негодяев» уже хотели провозгласить короля; Робеспьер собирается жениться на дочери Капета, и брачный контракт уже подписан.

Той же ночью ходил слух о тайном сговоре между Комитетами Конвента и «роялистами», читай — «иностранный партией». Робеспьер-младший сразу же после освобождения из Ла Форс произнес в Ратуше речь, яростно обличая факцию*, «желающую поработить народ, удавить патриотов, открыть двери Тампля и освободить оттуда юного Капета». Исполнительный комитет Коммуны поздно ночью принял решение об аресте пятнадцати депутатов, «притесняющих» Конвент. И тут же пообещал гражданский венки «отважным гражданам, которые арестуют этих врагов народа... осмелившихся на большее, нежели сам Людовик XVI, и заключивших в тюрьму лучших из граждан».

Отметим, что, выводя Конвент в роли «притесняемого» «кучкой негодяев», «врагами народа», Исполнительный Комитет разом разрешал весьма деликатную проблему легитимности восстания. Коммуна и «лучшие из патриотов», таким образом, представляли собой «поднявшийся с колен народ», который восстанавливает свой суверенитет, но не настроен против Конвента, национального представительства. Он действует лишь для того, чтобы освободить Конвент «от притеснения заговорщиками». О другой попытке Коммуны, быть может, самой отчаянной, свидетельствует черновик прокламации ее Исполнительного комитета, процитированный Куртуа: «Народу стало известно, что по поручению чужеземцев, господствующих над Комитетом общественного спасения, в Тампль прибыл патруль, чтобы освободить гнусных отпрысков Капета; патруль арестован, и Совет умертвил Капетов». Не было ли это искаженным отзвуком гулявших по улицам слухов о том, что Комитеты отрядили воинское подразделение для защиты Тампля? Не было ли это показателем паники, охватившей Коммуну в ее последние часы, когда после полуночи Гревская площадь стала все быстрее пустеть и ее начали покидать последние группы канониров?

* Слово «faction» часто переводится как «фракция» (что неверно, поскольку парламенты того времени не знали реального деления на фракции) или «группа заговорщиков», «клика» (что также не совсем верно, поскольку придает слову оттенок, которых оно лишено). — Здесь и далее звездочкой отмечены примечания переводчика.

Как бы ни обстояло дело с этими прокламациями и их реальным распространением, они могли лишь внести свой вклад во всеобщую сумятицу. Слухи перетекали из одного в другой, и все вместе сливались в единый слух о том, что роялисты начали действовать и хотят освободить «гнусных отпрысков».

Слух достигает своего апогея ранним утром 10 термидора, когда после взятия Ратуши Робеспьер и другие депутаты, «объявленные изменниками Родины», были доставлены в зал заседаний Комитета общественного спасения по соседству с тем залом, где проходило непрерывное заседание Конвента. Можно сказать, что бумеранг вернулся: обросший новыми деталями слух возвратился в свою отправную точку. И наконец, в распоряжении Конвента оказались материальные доказательства роялистского заговора, замышлявшегося в Ратуше: ему были доставлены «книга постановлений Коммуны и печать заговорщиков, на которой совсем недавно была выгравирована лилия, и печать эта находилась на письменном столе в Коммуне». Отметим, что разные версии протоколов данного заседания расходятся в одном вопросе: кто принес эту «гнусную печать»? «Граждане из секции Гравилье»? «Мировой судья из секции Гравилье»? «Депутация комиссаров секций»? «Мировой судья, назначенный представителями народа для проведения обыска в Ратуше»? Как бы то ни было, многие депутаты писали о том, что они сами видели эту печать с лилией. После получения этого доказательства пересудам не было конца. Среди депутатов и, без сомнения, на трибунах рассказывали, что «Робеспьер замышлял вступить в брак с дочерью Людовика XVI, что он хотел восстановить на троне Капета», и эти пересуды «занимали умы» (если верить Баррасу, который отмечает это в своих «Мемуарах», добавляя, однако, что «лично он ни на секунду не поверил этим утверждениям»; мы еще вернемся к его свидетельству).

Ничто уже не сдерживало вкушавших победу депутатов; к слухам, которые распространялись на протяжении всей ночи, добавилась брань. Конвенту объявили, что «трусливый Робеспьер уже доставлен», и спросили, хочет ли Конвент его видеть. Ответ был полон негодования. «Принести в зал заседаний Конвента тело человека, покрытого всеми возможными злодеяниями, означает лишить этот прекрасный день подобающего ему сияния. Труп тирана может лишь распространять вокруг себя чуму; предназначенное для него и его сообщников место — это площадь Революции. Необходимо, чтобы оба Комитета приняли должные меры, дабы меч закона поразил его без промедления». Тюрио, произнесший сию негодующую речь, не преминул уточнить, что представляли собой эти «преступления». Такую возможность предоставил ему несколько часов спустя Фукье-Тенвиль, который, будучи педантичным законником, поставил перед Конвентом весьма непростую проблему.

Прежде чем казнить объявленных вне закона мятежников, необходимо было, чтобы муниципальные чиновники их коммуны установили их личности; однако оказалось, что все муниципальные чиновники сами объявлены вне закона... Тюрю, председательствовавший на заседании, высокомерно отверг эту проблему: «Конвент постановил, чтобы смерть заговорщиков наступила как можно быстрее. Слишком долго ждать, пока Комитеты подготовят специальный доклад и пока предатели взойдут на эшафот. Нам настолько хорошо известно коварство наших врагов, что мы даже знаем о том, как Робеспьер собирался провозгласить себя королем в Лионе и других коммунах Республики».

Однако наиболее значимые и, без сомнения, наиболее драматичные свидетельства о распространении этого слуха исходили не из зала Конвента, а из Комитета общественного спасения, где был распростерт на столе Робеспьер. Вслед за людьми, сопровождавшими тело, туда ворвалась толпа, желающая его увидеть. Ему подняли руку, чтобы разглядеть залитое кровью лицо; его не переставали оскорблять. И среди этих оскорблений постоянно звучал все тот же слух. «Не правда ли, отличный король?»; «Сир, Ваше Величество страдает?»; «О, надо, чтобы я сказал тебе правду: «Ты меня обманул, негодяй!»; «Ну-ка отойдите, пусть эти господа [Сен-Жюст, Дюма, Пейян, которых доставили туда же] увидят, как их король спит на столе, словно обычный человек». Рот Робеспьера был полон крови; чтобы остановить ее, он использовал маленький мешочек из белой кожи, на котором можно было прочесть следующие слова: «Великому Монарху — Лекур, поставщик Его Величества и его войск, улица Сент-Оноре». Случайно ли дали Робеспьеру этот чехол от пистолета или в насмешку? Трудно сказать. Однако эта надпись спровоцировала новые оскорбления на тему о том, «до чего дошли его притязания». Перед отправкой в Консьержери хирург, забинтовывая Робеспьеру простреленную челюсть, сделал ему повязку на голове; по этому поводу также было немало сарказма: «Вот как возлагают диадему на голову Его Величества...»⁶.

⁶ Среди трудов, оказавшихся наиболее полезными для того, чтобы проследить распространение и различные варианты этого слуха на протяжении 9 и 10 термидора, назовем: Archives parlementaires. Paris, 1982. Vol. XCIII (замечательное издание под руководством Франсуази Брюнель, в котором приводятся различные варианты протоколов заседаний Конвента); Duval Ch. Projet du procès-verbal des séances des 9, 10 et 11 thermidor. Paris, an II (не одобренный Конвентом текст); протоколы заседаний секций см. в: Courtois E. B. Rapport fait au nom des Comités de salut public et de la sûreté générale sur les événements du 9 thermidor, an II. Paris, an III; Walter G. La conjuration du Neuf Thermidor. Paris, 1974; Buonarotti Ph. Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Paris, 1830. Т. I; Mathiez A. La politique de Robespierre et le 9 thermidor expliqués par Buonarotti // Annales révolutionnaires. 1910; Guyot. Relation sur le 9 thermidor // Archives nationales (далее — A.N.). F^o 7 4432; Faits recueillis aux derniers instants de Robespierre et de sa faction dans la nuit du 9 et 10 thermidor. Paris, an II. Bibliothèque Nationale (далее — BN) Lb

В тексте Гиттара, с которого мы начали этот анализ, также приводится несколько вариантов слуха, циркулировавшего на следующий день после 9 термидора. Повторяясь вновь и вновь, обогащаясь новыми деталями, он позволял закрепить одержанную победу. Прежде всего — в символическом плане, создавая определенные декорации для казни Робеспьера и его сообщников. Конвент с энтузиазмом постановил перенести гильотину с площади Поверженного Трона (Венсенской заставы) на площадь Революции, символическое место гибели «последнего тирана». Отправляясь от Консьержери, повозки должны были пересечь центр города. К тому же ходили разговоры, что останки казненных были брошены в тот же ров, где захоронили тела Людовика XVI и Марии-Антуанетты и который был специально вскрыт по такому случаю. Честь этой инициативы приписывал себе Баррас. Без сомнения, его мемуары, написанные при Реставрации, изобилуют бахвальством и выдумками. Исключительно из интереса к этому слуху приведем здесь тем не менее еще один жутковатый анекдот, который он излагает в своей обычной манере, выдвигая себя на первый план и оттеняя живописность мрачными штрихами. «Гражданин Сансон, лично проводивший казнь», приблизился к нему «самым почтительным образом, держа шляпу в руке, и смиренно спросил: "Куда бросить их тела, гражданин представитель народа?" — «Пусть их бросят в ров Капета, — ответил я не без юмора. — Людовик XVI стоил большего, нежели они. Пусть это будет для Робеспьера еще одной королевской почестью, мне кажется, он тоже имел к ним вкус"»⁷.

В своем докладе, представленном 10 термидора от имени обоих Комитетов, Барер приводит официальную версию произошедших событий. Слухи предыдущего дня занимают в ней свое место в качестве доказанных фактов: захваченная в Коммуне печать с лилией; таинственные личности, явившиеся в Тампль. Он добавляет и не замедлившие появиться новые детали, изобличающие проекты заговорщиков. Этим и объясняются энергичные меры безопасности, принятые Комитетами: «Усилена охрана Тампля и Консьержери; народ должен охранять их в своих собственных интересах». Однако он не решается взять на себя ответственность за повторение слуха о реальном или планировавшемся браке между Робеспьером и дочерью Людовика XVI. Место, отведенное в этом докладе «роялистским планам» Робеспьера, весьма скромно. Доклад выдержан в обнадеживающем тоне, и основной акцент делается на

⁴¹ 1149; Courrier républicain. 12-30 thermidor; *Barras P. Mémoires*. Paris, 1895. T. I; *Mathiez A. Autour de Robespierre*. Paris, 1957; *Sainte-Claire Deville P. La Commune de l'an II*. Paris, 1946.

⁷ *Barras P. Op. cit.* T. 1. P. 199-200.

благополучный исход событий, на великолепное состояние секций и общественного мнения, на преданность Конвенту всего народа.

Событие, на которое он ссылается, — это не 21 января, а 31 мая: «31 мая народ совершил свою революцию; 9 термидора Конвент совершил свою; свобода в равной мере аплодирует обеим». Ненависть к этой свободе и к народу сближает и роднит «тиранов» всех времен — как древних, так и новейших. «Так пусть же это ужасное время, когда появились новые тираны, более опасные, чем те, что были коронованы фанатизмом и рабством, станет последней бурей революции»⁸.

Новые разоблачения «планов заговорщиков, во главе которых стоял Робеспьер», взяли на себя Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн, выступив перед Якобинским клубом. В ночь с 9 на 10 термидора заседание клуба было еще более бурным, нежели обычно; в Коммуну отправлялись послания о единодушной поддержке. Члены Клуба были рассеяны представителями верных Конвенту секций. Собравшись двумя днями позже, якобинцы столь же единодушно продемонстрировали свое единение с Конвентом и негодование по поводу обманувших их «заговорщиков», «угнетателей народа». Они с изумлением узнали «ряд относящихся к заговору деталей», преданных гласности Колло и Бийо. «Из них следовало, что это чудовище [Робеспьер] в согласии с Сен-Жюстом и Кутонем собиралось разделить страну. *Антоний* Кутон должен был царствовать на Юге, *Лепид* Сен-Жюст — на Севере, а *Катилина* Робеспьер — в Центре. Комитеты узнали об этом из письма одного депутата английского парламента». С другой стороны, из доклада перебежчика следовало, что «иностранные державы вступили в союз с Робеспьером и хотели вести переговоры только с ним». Из всех этих разоблачений Бийо извлекает моральный и политический урок: «Пусть этот пример научит вас никогда более не иметь кумиров... Сплотитесь вокруг Конвента, который в эти бурные моменты проявил свой великий характер». В тот же день он посулит Конвенту «в скором времени представить доклад Комитетов, которые, опираясь на документы, докажут, что вчера заговорщики планировали уничтожить шестьдесят тысяч граждан»⁹. Конвенту, однако, суждено было остаться в неведении; обещание так и не было выполнено, и «свидетельства» обвинения так никогда и не были опубликованы.

⁸ Moniteur. Vol. 21. P. 346-347.

⁹ Aulard A. Société des Jacobins. Paris, 1897. T. VI. P. 298-299; Courier républicain. 12 thermidor an II; Moniteur. Vol. 21. P. 356. 11 термидора Барер в свою очередь объявит Конвенту: «Все средства должны были пойти в ход для восстановления тирании на залитом кровью троне... Сен-Жюст обладал бы всеми полномочиями на Севере; Кутон и Робеспьер-младший совместно замирали бы Юг; Робеспьер-старший, стоя на грудах трюпов, правил бы Парижем» (Moniteur. Vol. 21. P. 358-359).

В дни, последовавшие за «славной революцией», газеты и брошюры были, в свою очередь, полны рассказами о «бесчисленных нитях заговора, который должен был покончить со свободой и заставить потускнеть преступления Варфоломеевской ночи». По большей части они основывались на информации, содержащейся в докладах Комитетов и отчетах о заседаниях Конвента, расцветившая ее многочисленными эпитетами и ужасными картинками. «Залитый кровью трон Карла IX должен был быть вновь воздвигнут в эти дни в Париже на грудах трупов. Не менее презренный тиран собирался убить своими собственными руками и отдать во власть подчиненных ему палачей всех энергичных республиканцев, которые отказались бы стать его подданными». С новой силой распространялся исчезнувший из официальных документов слух о проекте брака с «дочерью Капета». «Новые и интересные подробности ужасного заговора Робеспьера и его сообщников. Документы, обнаруженные в опечатанных бумагах этих негодяев. Участие Анрио в бесчестных планах уничтожения Национального Конвента и женитьба Робеспьера на дочери Капета, с тем чтобы вместе править и погубить восемьдесят тысяч граждан». Анонимный автор памфлета со столь заманчивым названием добавляет среди других одну «интересную подробность», развивающую слухи, которые циркулировали в ночь с 9 на 10 термидора: «8-го один муниципальный чиновник заявил гражданам, радуясь успехам Республики: "Вы будете весьма удивлены, если завтра провозгласят нового короля". 10-го дочь тирана Капета против обыкновения поднялась на рассвете и принарядилась. 12-го она надела траур»¹⁰. Еще одна брошюра, изданная в Руане, объявляла о свержении Робеспьера сенсационным заголовком, явно предназначенным для того, чтобы его выкрикивать: «Кошмарный заговор с целью возвести Робеспьера на трон. Печать с лилией найдена в Коммуне подле Робеспьера». Хотя по сравнению с официально распространяемой версией в этой брошюре и не появилось ни единой новой детали, тем не менее вывод не оставлял сомнений: «Заговорщики хотели восстановить во Франции королевскую власть». К этому добавлялся рассказ о казни «тирана» и

¹⁰ Nouveaux et intéressants détails de l'horrible conspiration de Robespierre et ses complices. Pièces trouvées sous les scellés de ces scélérats. Complicité d'Hanriot pour seconder leurs infâmes desseins en faisant assassiner la Convention nationale et marier la fille Capet à Robespierre pour régner ensemble et faire mourir quatre-vingt mille citoyens. Paris, s.d. BN Lb ⁴¹ 3971. Там можно найти и другие «интересные подробности»: число «граждан, которых должны были перебить», выросло до 80 000; их список был у судей Революционного трибунала, и Коммуна заранее завладела карьером, который мог вместить восемьдесят тысяч тел. Полицейские агенты отмечали в своих докладах особый интерес, который возбуждали брошюры и газеты: «В общественных местах газеты читают вслух. Многие граждане собираются вокруг чтецов и обсуждают услышанное» (доклад от 17 термидора; см.: *Aulard A.* Paris pendant la réaction thermidorienne... Paris, 1898. Т. I. P. 16).

его сообщников. «Толпа была необозримой, на всем протяжении долгого пути слышались звуки радости, аплодисменты, крики: "Долой тирана!" "Да здравствует Республика!" многочисленные проклятия. Так народ мстил за вырываемые террором похвалы и за клятвы, навязанные длительным лицемерием»¹¹.

Через десять дней после казни *Journal de Perlet* не ограничился простым повторением слухов, организовав длительную дискуссию по поводу их обоснованности. «Распространился слух о том, что для того, чтобы придать себе больше блеска в глазах будущих коронованных собратьев, тиран должен был силой заставить дочь Капета выйти за него замуж. Но почему же все усилия, направленные на захват Тампля, были предприняты именно в ночь с 9 на 10 термидора?» Подобное стечение обстоятельств могло удивить лишь тех, кто не знаком с «честолюбцами и королевскими дворами». На самом деле, «в его глазах брак был способом добиться признания у иностранных держав, если их подручные провозгласят его королем внутри страны». Разве европейские державы не признали Кромвеля протектором Англии? И разве они не признали Екатерину, убившую «своего царственного супруга», чтобы завладеть троном? «Сегодня тираны охотно поведут себя так же. Если у Франции будет единый хозяин, какая им разница, станет им Робеспьер или Капет»¹². «Интересные детали», касающиеся частной жизни «тирана», проливали новый свет на его роялистские планы. Он называл себя «неподкупным» и без конца подчеркивал собственную добродетельность. Однако теперь мы знаем, что в Исси он присвоил себе «прелестный домик, принадлежавший бывшей принцессе де Шимэй». «Именно там замышлялись заговоры, направленные на уничтожение свободы; именно там, среди разнузданных оргий, вместе с Анрио, Сен-Жюстом и многими другими заговорщиками готовилось разорение народа. Это был Трианон преемника Капетов; именно там после пиров, для которых реквизировалось все, что было в округе, тиран катался по траве, притворяясь, что бьется в конвульсиях, и в присутствии окружавшего его двора изображал себя пророком наподобие Магомета, чтобы внушить почтение глупцам и пользоваться большим доверием в глазах мошенников». Кроме того, у Робеспьера были сожительницы «практически во всех коммунах» Иль-де-Франса, тогда как у Кутона и Сен-Жюста имелись собственные дворцы и «места для оргий»¹³.

¹¹ Horrible conspiration pour porter Robespierre à la royauté. Cachet avec une fleur de lys saisi à la Commune à côté de Robespierre. Rouen, s.d. BN Lb 41 3972.

¹² *Journal de Perlet*. 20 thermidor an II.

¹³ *Journal de Perlet*. 20 thermidor an II; Nouveaux et intéressants détails...; слухи об «оргиях» прозвучали в докладах Конвенту уже 10 термидора. Баррас также упоминал «места для утех», которые были у этих заговорщиков, «этих султанов», «этих сатиров» практически в каждой коммуне неподалеку от Парижа, и где они «пускались во все

В безбрежном потоке поздравлений, хлынувшем в Конвент от имени секций, муниципалитетов, народных обществ, армий и т.д., нападки на Робеспьера занимали весьма скромное место. Хотя, разумеется, в них время от времени вспоминали о печати с символом лилии и клеймили «нуждающуюся в короле клику». Секция Гравилье, отличившаяся во время «той памятной ночи», — ее делегацию Конвент встретил бурными аплодисментами — даже изобрела для обличения Робеспьера и его сообщников оригинальную формулировку: «народные роялисты»¹⁴. Большая же часть петиций, к которым мы еще вернемся, пылко клеймила «нового Кромвеля», «нового Каталину», «деспота», «тирана», не упоминая, однако, о его роялистских планах. Создавалось впечатление, что слух мало-помалу выдыхается, — так, словно он был предназначен лишь для очень краткого промежутка времени, отвечая исключительно сиюминутным требованиям и нуждам. Казалось, изменение политической ситуации отодвигает его на второй план, что отнюдь не означает его полного исчезновения. В символическом ракурсе, в особенности во время гражданских праздников, упоминания о сближении между Робеспьером и «последним Капетом» будут встречаться и в дальнейшем. Так, в Лионе во время праздника «Возвращения и Согласия» (означавших преследования «террористов»), организованного 30 плювиоза III года по поводу отмены ущемлявших город решений, по всему городу ездила «повозка терроризма». На ней находилось четыре чучела: «Робеспьер-король», «Шарлье-бог», лживый обличитель и якобинец 9 термидора.

Во время коммеморативных праздников, в частности 21 января, 10 августа и 9 термидора, сжигали два трона — Капета и «тирании триумвиров» — либо же просто чучело увенчанного короной якобинца. Конвент даже рассматривал вопрос о слиянии воедино двух праздников — 10 августа и 9 термидора, чтобы таким образом одновременно отмечать торжество Республики над «двумя тронами»¹⁵. С другой стороны, слух о Робеспьере-короле станет наваждением для историографии 9 термидора: начиная с III года он

тяжкие» (Moniteur. Vol. 21. P. 497).

¹⁴ Ср., например: Moniteur. Vol. 21. P. 375 (народное общество Тура); P. 376 (администрация Лилля); P. 385 (делегация секции Гравилье); P. 396 (офицеры-инвалиды Рейнской армии); P. 435 (народное общество Мобёжа).

¹⁵ Ср.: *Messenger du soir*. 4 pluviôse an III; Archives départementales. Allier 791 (информация, предоставленная Моной Озуф); *Fuoc R. La réaction thermidorienne a Lyon*. Lyon, 1975. P. 72-73; Moniteur. Vol. 25. P. 315, 354. Конвент и сам символически сблизил «двух тиранов», приняв 21 января 1795 года, в ходе празднования годовщины казни Людовика XVI, декрет, учреждавший коммеморативный праздник в день 9 термидора — день свержения «последнего тирана». И наконец, отметим отдаленное эхо этого слуха: газета Фрерона *Orateur du peuple* в номере от 5 вандемьера сообщала, что, если верить информации из... Мартиники, Робеспьер взял под свою защиту детей Капета, намереваясь перевезти их в Лондон.

будет находить своих яростных сторонников и страстных противников. На момент III года граница между теми и другими была довольно четкой: слух защищали одни только термидорианцы и отвергали одни лишь роялисты («робеспьеристов», чтобы с ним бороться, еще не было...). Проиллюстрируем эти точки зрения двумя примерами: Куртуа и Монжуа.

Куртуа, которому поручили сделать доклад о событиях 9 термидора (он выступил с ним лишь 8 термидора III года, «в канун годовщины свержения тирана») и который сразу же сделался официальным историографом этих славных дней, в общем и целом возвращается все к тому же слуху: печать с цветком лилии; мешочек с надписью «великому Монарху»; «оргии» в Отёе, Пасси, Исси и т.д.; подозрительные проекты в отношении «детей Капета». Этим проектам он дает новую интерпретацию в духе Макиавелли, приводя в качестве доказательства упомянутое нами выше воззвание Коммуны. Робеспьер и его сообщники хотели освободить из Тампля этих детей, «эти невинные остатки виновной семьи», чтобы прежде всего бросить на Конвент «гнусную тень подозрения в желании возродить королевскую власть». А далее, реализовав свои «кровавые планы в отношении Конвента», они бы умертвили этих детей, «чтобы не бояться соперничества с их стороны». Тем самым «неисправимые роялисты», надеявшиеся благодаря Робеспьеру «вновь увидеть на троне последнего отпрыска Капета», оказались бы жесточайшим образом обмануты: лилия в руках заговорщиков была лишь приманкой, должной «привлечь к ним иностранные державы». Куртуа даже распорядился выгравировать в конце своего доклада «отпечаток этого королевского клейма» и в свою очередь добавил новые разоблачения по поводу этой печати¹⁶. Такова в целом «ослабленная» версия, касающаяся «роялизма» Робеспьера. Чтобы претворить в жизнь свои бесчестные и тиранические проекты, Робеспьер, без сомнения, пользовался королевской печатью и детьми Капета, однако в глубине души он оставался простым негодяем, который не остановился бы перед детоубийством, а не настоящим претендентом на трон. Впрочем, и Куртуа посвящает всей этой истории лишь несколько страниц своего объемного доклада и не особенно старается согласовать ее с другими утверждениями по поводу проектов «заговорщиков». Этот доклад пользовался плохой репутацией даже среди «термидорианцев». Всем было известно, что его автор — бессовестный лжец. Все знали, что он украл множество документов из найденных у Робеспьера бумаг, которые были ему доверены и по которым он делал предыдущий доклад. В частности, некоторые бумаги он оставил себе (всегда могут пригодиться), а

¹⁶ Courtois E.-B. Rapport... sur les événements du 9 thermidor. P. 24-27 73-75.

некоторые вернул заинтересованным депутатам Конвента — особенно письма с клятвами в верности Робеспьеру (а за ними после 9 термидора приходили многие). Тем не менее никто в Конvente не считал выгодным противоречить докладу Куртуа; самое большее — ограничились разговорами в кулуарах.

Феликс Монжуа, явный и воинствующий роялист, автор первой роялистской истории 9 термидора, анализирует все свидетельства о проектах «заговорщиков», в особенности Робеспьера: тот-де намеревался одолеть Конвент, равно как и все остальные власти, и стать «диктатором или трибуном»; он собирался оставить Франции наименование Республики, однако планировал править «как деспот вместе с Сен-Жюстом и Кутоном». Рассказывают также, «что он собирался ни много ни мало стать королем французов, присвоив себе и титул, и могущество... Вот последняя версия этих планов. Говорят, что он собирался посадить на трон отпрысков королей Франции и воспользоваться блестящими перспективами, которые сулила ему услуга такой важности». Однако для Монжуа «всё это — сказки, которыми развлекают народ». Если бы подобный заговор существовал, в бумагах Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона нашлись бы его следы. Тем не менее власти, в руки которых попали эти документы, не опубликовали ни единого доказательства. Так что надо честно сказать, как бы горька ни была правда: «этот заговор не имел иной цели, кроме грабежей и убийств», а Робеспьер был лишь главарем «всех бандитов и убийц, каких только можно найти во Франции, и одному Господу ведомо, сколь многочисленны были эти кровопийцы». Таким образом, ни малейшего доверия не заслуживает ни сам этот слух, ни еще одна история, которую рассказывают о Робеспьере: «Роялистские писаки, то ли желая отомстить оскорблением за причиненное их партии зло, то ли действительно совершая ошибку по вине людей мало осведомленных, напечатали, что он был племянником Дамьена... Такое мнение разошлось тогда довольно широко, да и сейчас весьма распространено, однако это сказка, не заслуживающая ни малейшего доверия»¹⁷. Приведенные опровержения свидетельствуют, что и в роялистских кругах устойчиво существовало два слуха о Робеспьере: как о цареубийце, племяннике Дамьена, и как о честолюбивом «террористе», желавшем стать королем или же восстановить сына Людовика XVI на законно принадлежавшем ему троне.

¹⁷ *Montjoie F. Histoire de la conspiration de Maximilien Robespierre. Paris, s.d. [1795].* Успех этого слуха в историографии и легендах о 9 термидора заслуживает отдельного исследования. Граница между теми, кто рассматривает его как простую клевету, и теми, кто признает, что в нем содержится хотя бы доля правды, уже не та, что в III году. Порой слух о Робеспьере-короле пересекается и с распространенными легендами, окружавшими «тайну ребенка из Тампля».

СОТВОРЕНИЕ СЛУХА

Обратимся теперь к заключительной части нашего досье.

Слух, историю которого мы в общих чертах описали, был *сфабрикован* от начала и до конца. Он исходит не от «низов», не от сбитой с толку толпы, не от секций, в которые поступали противоречащие друг другу приказы Конвента и Коммуны. Он запущен «сверху», Комитетами общественного спасения и общей безопасности, для того чтобы объединить секции и вооруженные силы, направить их эмоции, преодолеть их колебания, как реальные, так и предполагаемые. Так, нет никаких сомнений по поводу базового элемента этого слуха — печати с цветком лилии, ставшей знаменитым вещественным доказательством «роялистских намерений» Робеспьера. Напомним, что эта печать была захвачена в Ратуше, затем возложена на стол председателя Конвента, признана многими депутатами подлинной, воспроизведена годом позже в докладе Куртуа. И тем не менее это фальшивка. Двадцатью годами позже, в Брюсселе, изгнанные цареубийцы, жившие воспоминаниями, вновь и вновь мысленно возвращавшиеся как к тому времени, когда они были у власти, так и к давно минувшим спорам, пытались понять и ту историю, которую они творили, и ту, что они испытала на себе. И в этой среде было широко известно, что знаменитая печать была обнаружена в Ратуше лишь после того, как ее там спрятали агенты Комитета общей безопасности. Это признал сам Вадье, руководивший операцией. «Камбон однажды спросил Вадье, когда оба изгнанника встретились в Брюсселе: «Как только у вас хватило коварства выдумать эту печать и все остальные документы, при помощи которых вы хотели обвинить Робеспьера в том, что он роялистский агент?» *Вадье ответил, что опасность лишиться головы подстегивает воображение*¹⁸. В одиночку ли Вадье сочинил

¹⁸ См. примечание авторов в: *Buche P.-J.-B., Roux P.-C. Histoire parle-mentaire de la Revolution française. Paris, 1837. Т. 34. Р. 59.* М.-А. Бодо рассказывает другую версию признания Вадье. «У Камбона были определенные сомнения по поводу лилии, найденной у Робеспьера, о которой говорил Куртуа в своем докладе. Он хотел узнать, что это было, и однажды в Брюсселе очень активно обсуждал это с Вадье в присутствии Шарля Теста и меня. Вадье убеждал, что их принесли из Комитета общей безопасности в дом Робеспьера после его смерти» (*Baudot M.-A. Notes historiques sur la Convention nationale, l'Empire et l'exil des votants. Paris, 1893. Р. 74.* Отметим явную ошибку в одной из деталей этого сообщения: печать с лилией была передана председателю Конвента *до*, а не *после* казни Робеспьера). Для очистки совести приведем здесь еще одну версию, исходящую от Вадье; Буонарроти рассказывает о своем разговоре с Вадье, когда они оба находились в заключении в Шербуре, после приговора к депортации за участие в заговоре Бабефа. Когда Вадье расспрашивали о 9 термидора и о знаменитой печати, найденной на столе в Коммуне или у Робеспьера, тот воскликнул: «Эту клевету выдумал Барер!» (см. заметки Буонарроти, опубликованные А. Матьезом: *Annales révolutionnaires. 1910. Р. 508*). Очевидно, в этих

эту сказку и сфабриковал для нее доказательства? Кто еще был замешан в этих махинациях? Была ли запущена только одна версия этого слуха, и какая именно? Или же, что более вероятно, несколько и одновременно — в надежде, что одна дополнит другую?

Похоже, что мы никогда этого не узнаем, равно как никогда не будут прояснены другие эпизоды этого выступления против Конвента. Однако в конечном счете детали вторичны, важно иное. Слух был сфабрикован и запущен Комитетами Конвента, в частности Комитетом общей безопасности, или, иными словами, полицией, которая в равной мере позаботилась о его и максимально широком, и максимально эффективном распространении. Это был отвлекающий политический маневр, рассчитанный на легкое доверие всего населения, но в особенности на наиболее активных санюлотов и на сам Конвент. Творцы этого слуха старались достичь сразу нескольких целей: после того как слух был запущен в народ, а затем многократно повторен и преувеличен, он должен был, с одной стороны, привлечь нерешительных на сторону Конвента, а с другой — укрепить стойкость тех, кто и до того находился на его стороне. Цель была настолько ясна, что не потребовалось сложных расчетов. Баррас это прекрасно объяснил и пространно прокомментировал. На сей раз этому мастеру клеветы и политической интриги вполне можно доверять. Он настаивает в своих мемуарах, что не поверил ни единому слову обвинений, «занимавших все умы», и распространявшихся рядом депутатов Конвента — ни печати с лилий, якобы найденной у Робеспьера, ни проекту брака Робеспьера с дочерью Капета. (И по этой причине можно быть практически уверенным, что Баррас, назначенный Конвентом «генералом» парижских вооруженных сил и находившийся в постоянном контакте с Комитетом общей безопасности, без сомнения, принимал в этом участие, хотя он в своих мемуарах и не обмолвился на сей счет ни единым словом.) Вместе с тем он считает, что все такие слухи, «хотя и мало правдоподобные, быть может, для народа были и бесполезны».

Его рассказ о причинах данной «полезности» любопытным образом напоминает сведения из первых уст о намерениях и расчетах творцов этого слуха. «Народ не смог бы поверить, что Робеспьер был тираном, иначе как связав его образ с идеями старой королевской власти — единственной вещью, которая в глазах людей представляла собой явный состав преступления. Для народа нужно было нечто материальное, что могло бы воздействовать на его чувства, чтобы затем достичь его разума. Иначе как бы он мог поверить, что того, кто днями напролет льстил ему, кто говорил о народном суверенитете, о свободе, о равенстве, кто называл себя его защитником и выказывал

свидетельствах Вадье, равно как и других участников 9 термидора, имеется определенная путаница.

готовность принести себя ради него в жертву, что такого человека мы называем сегодня врагом свободы, угнетателем, тираном? Была в этом определенная сложность, которая никак не уложилась бы в воображении народа, если бы ему в то же время не сказали, что тиран предал его, что он сговаривался с врагами Республики, с королями или членами королевской семьи — вот почему он был бесчестным тираном. Как только к коварству добавлялось слово «измена», все становилось ясно и объяснимо, и можно было надеяться привлечь народ на свою сторону и тотчас же обратить его против тех, кто был обвинен перед его лицом как предатели и кого он признал таковыми». Подобная честность достойна восхищения; пронизывающий этот текст образ народа, которым можно и нужно манипулировать ради благого (то есть его собственного) дела, народа, чей ограниченный «разум» требовал, чтобы с ним говорили, обращаясь к «чувствам» и «воображению», все же заслуживает комментария. Не связан ли он, как это ни удивительно, с лежавшим в основе педагогических речей революционной эпохи представлением о народе, который нужно воспитывать? Баррас, несмотря на его утверждения, не только не препятствовал тем, кто вокруг него распространял этот слух, но и посчитал его столь «полезным», что сам повторил его с трибуны Конвента в итоговом докладе, посвященном славной миссии, которую он выполнил 9 термидора — в шляпе с султаном и с саблей наголо¹⁹.

¹⁹ *Barras P. Memoires. T. 1. P. 200-201; Moniteur. Vol. 21. P. 497.* Прежде чем расстаться с Баррасом и его воспоминаниями, мы не в силах сопротивляться искушению привести еще один связанный с ним эпизод из истории этого слуха. Как мы уже говорили, Баррас хвастался тем, что отдал приказ бросить тело Робеспьера в тот же ров, где покоились останки Людовика XVI и Марии-Антуанетты. А ведь он был практически уверен, что казненные 9 термидора были захоронены во рву не на кладбище Мадлен, а на кладбище Эрранси, рядом с площадью Поверженного Трона, ставшей обычным местом казней. Для тел казненных 10 термидора были вырыты два рва; головы были помещены отдельно в огромный сундук; «останки тиранов» были засыпаны слоем негашеной извести, «чтобы не позволить когда-либо их обожествить» (см. документы, приведенные в: *Dauban C.A. Paris, en 1794 et en 1795. Paris, 1869. P. 416-417*). Однако ходил упорный слух, что для Робеспьера не только переместили гильотину на площадь Революции, но и вновь открыли ров на кладбище Мадлен. Как мы уже отметили, Баррас старательно поддерживал этот слух, добавлявший блеска к его термидорианской славе, а может быть, даже и сам в него верил. Как бы то ни было, при Реставрации он запустил другой слух, образчик своеобразного черного юмора. Поводом для этого послужил перенос останков Людовика XVI с кладбища Мадлен в королевские гробницы в Сен-Дени. Баррас рассказывал всякому, кто готов был его слушать, что, поскольку Робеспьер и его товарищи были последними, кого бросили в тот же самый ров, где все тела были засыпаны негашеной известью, весьма вероятно, что это Робеспьер захоронен в Сен-Дени «вместе с несколькими костями Сен-Жюста, Кутона или Анрио». Доказательством этого служил тот факт, что во время эксгумации для идентификации останков королевской четы хранитель использовал несколько избежавших разрушения пряжек, найденных во рву. А ведь именно у Робеспьера в день его казни были пряжки на колотах и туфлях (*Barras P. Memoires. T. IV. P. 315-316, 416-420*.) Так один слух сменил другой, и последним пристанищем Робеспьера-короля

Каково же было реальное влияние этого слуха на ход событий? Склонил ли он чашу весов на сторону тех, кто его разносил? Сведения о распространении этого слуха слишком разрознены, а царивший той ночью хаос оказался слишком всеобщим, чтобы можно было сделать однозначные выводы. Задним числом велико искушение считать, что Комитеты вполне могли обойтись и без него. Не преувеличивали ли они силы Робеспьера и Коммуны, и в особенности не слишком ли они недооценивали те факторы, которые играли на руку Конвенту? После 31 мая, когда Конвент капитулировал и выдал депутатов-жирондистов, организаторы этого народного выступления смогли извлечь политический урок из собственного успеха. Находившиеся у власти монтаньяры во главе с Робеспьером были прекрасно осведомлены, что не стоит игнорировать возможность нового путча, организованного от имени «поднявшегося с колен народа». Для предотвращения этой опасности были задействованы все механизмы, имевшиеся в их распоряжении. По декрету об организации революционного порядка управления Коммуна практически теряла автономию, которой она пользовалась до того. Она не только оказалась под началом национального агента, ей было запрещено созывать собрания представителей секций; кроме того, революционные комитеты секций были обязаны поддерживать прямые и непосредственные контакты с Комитетом общей безопасности, то есть через голову Коммуны. Эти меры продемонстрировали свою эффективность во время борьбы с эбертистами, а разгром эбертистов, в свою очередь, подорвал влияние Коммуны и усилил связи между секциями и Комитетами. Разумеется, 9 термидора преданный Робеспьеру национальный агент Пейян находился на стороне Коммуны; тем не менее совокупность этих мер принесла свои плоды. Как только Коммуна начала действовать, она тут же оказалась за пределами правового поля; ее объявление вне закона лишь делало очевидным сам факт восстания. Прямые связи между секциями и Комитетом общей безопасности прекрасно сыграли в пользу правительства. Как только битва с Робеспьером и немногими оставшимися ему верными сторонниками была выиграна Конвентом, его власть, представляемая как «центр объединения всех республиканцев», во многом стала выше власти Коммуны, популярности Робеспьера и влияния Якобинского клуба, которые на деле оказались значительно более ограниченными, чем это представляли себе «термидорианцы». В равной мере они недооценивали свою собственную эффективность, к тому же действия Коммуны представляли собой перманентную импровизацию в отличие от тщательно и заранее подготовленного восстания 31 мая. Присущий термидорианскому перевороту хаос тем более благоприятствовал законной и эффективной власти, что

стали королевские гробницы в Сен-Дени...

революционная стихийность была к этому времени существенно ослаблена всем опытом Террора. Политические цели борьбы, развернувшейся между робеспьеристами и Конвентом, были весьма туманны (к этому мы еще вернемся). Между тем они лежали в основе выбора, совершенного большинством секций в самом начале развернувшихся событий: *за законный порядок*, воплощенный в Конвенте и революционном правительстве, и *против новых волнений*, иначе говоря, против кучки бунтовщиков, именовавших себя не иначе как «честнейшими, несправедливо угнетенными патриотами». Образ «поднявшегося с колен народа», отстаивающего свой суверенитет, обладал все меньшими мобилизационными возможностями. Все больше членов секций переставало воспринимать тех, кто составлял этот «поднявшийся с колен народ», в качестве символа Революции. И теперь видело в нем то, чем он был на самом деле: час за часом таявшее меньшинство, окруженное радикальными революционерами, которых было достаточно среди членов секций и Коммуны. Таким образом, соотношение сил оказалось изначально благоприятно для Конвента, и, как показывают протоколы собраний секций и революционных комитетов, это преимущество постоянно росло. И все же непосредственно в тот момент, когда был запущен слух о Робеспьере-короле, участникам событий казалось, что исход битвы висит на волоске.

«Опасность лишиться головы подстегивает воображение...» Таким образом, возникновение этого слуха объясняется исключительно паникой Вадье в тот момент, когда канониры собирались перед Конвентом. Любопытно, однако, что он был не единственным, у кого разыгралось воображение. Речь идет не только о людях, которые, находясь рядом с Вадье, стали творцами данного слуха, но и об их противниках. На самом деле, мы пришли к тому, что «воображение» собравшихся в Ратуше работало по аналогичной схеме. Разве они не обвиняли «угнетавших Конвент негодяев» в том, что те были «сообщниками иностранцев», подозрительно вели себя возле Тампля, пытались освободить «отпрысков Капета»? Эти идеи не повлияли на умы, стали неудавшимися слухами в отличие от выдумки, исходившей от Комитетов Конвента и сумевшей закрепиться в качестве настоящего слуха. Без сомнения, не все ему поверили; и тем не менее он распространялся, и весьма неплохо, неуклонно нарастая, поднимая все большие волны.

Клевета — столь же древний политический инструмент, сколь и сама политика. На протяжении своей политической карьеры Робеспьер не раз становился жертвой клеветы и сам прекрасно знал, как использовать это оружие. Слух, сфабрикованный 9 термидора, не был более позорным или более оскорбительным, чем любая другая клевета, обращенная против «Неподкупного», умевшего ее опровергать. Однако на сей раз речь шла не о простой диффамации,

не об эскалации словесного насилия, неотделимого от ораторских поединков в стенах Конвента или у якобинцев. По широте своего распространения эта клевета может по праву считаться *народным слухом*. Она была придумана и запущена как инструмент манипулирования в масштабах Парижа, а соответственно и всей страны. И сразу же ее сотворение становится показательным для понимания политического менталитета тех, кто дал первый толчок к ее распространению и кто считал, что адресатами этого слуха можно *манипулировать*: «простыми людьми», «народом», но в равной мере и общественным мнением во всей его совокупности, включая класс политиков. Плод воображения — но распространяемый при помощи всех доступных средств и вдохновленный всем предыдущим опытом. Слух сам по себе был умело сконструирован, в нем была интрига — одновременно и простая, и привлекающая коллективную систему образов (заговор, тайна Тампля, свадьба с дочерью короля, секретные переговоры с иностранными державами и т.д.); для его распространения была задействована вся сеть, в том числе и полицейская; в Ратушу была подброшена фальшивка, и впоследствии это «доказательство» предъявили Конвенту. Адресатом данной истории стала аудитория достаточно большая, чтобы превратить ее в народный слух и тем самым достичь запланированного для этой операции результата.

Отметим, что успех этого слуха вписывается также и в историю революционной системы образов и, в *частности*, *революционных слухов*. Неотделимые от этой системы образов, они и питали ее, и подстегивали. Разумеется, это весьма общие рассуждения: революционные слухи еще ждут своего исследователя. Сюжет же этот довольно запутан в силу самой специфики объекта исследования. Ведь слух постоянно меняет свой облик, он одновременно и вездесущ, и скоротечен. И в то же время революционные события невозможно понять, не отдавая себе отчета в той роли, которую играли слухи в поведении их участников и в особенности в усилении их страстей и эмоций. В самом деле, на протяжении всей Революции слухи то и дело возникают, завладевают умами, канализируют ярость, направляют страхи. 14 июля — слухи о вводе войск и неминуемых убийствах парижан; во время «Великого страха» — слухи о разбойниках, аристократах, иностранных (английских, польских и даже венгерских) войсках, которые угрожали деревням; во время сентябрьских убийств — слухи о «заговоре в тюрьмах», агентах заграницы, желающих перебить женщин и детей, как только мужчины покинут Париж и отправятся на фронт; во время процесса над королем — слухи о «рыцарях кинжала», плетущих заговоры с целью освободить монарха из Тампля, прячущихся повсюду, готовых среди ночи нападать на патриотов; при каждой неудаче — слухи об агентах заграницы и генералах-предателях; при

каждом продовольственном кризисе — слухи о «спекулянтах», прячущих зерно или уничтожающих его; слухи об ассигнатах, которые вот-вот будут девальвированы, изъяты из обращения, отменены и т.д. И это лишь некоторые из наиболее известных историкам слухов. Каждый из них требует тщательного исследования по образцу «Великого Страх» Жоржа Лефевра, до сих пор остающегося прекрасным примером. А кроме того, необходимо и увеличение масштаба, переход от исследования частных случаев к серийному анализу революционных слухов. В настоящее время нет даже их простого перечня, не говоря уже о каком бы то ни было исследовании их сюжетов и структур, размаха и способов распространения, эпицентров и путей, пространственной и социальной локализации, воздействия на умы. В ожидании подобных исследований мы позволим себе лишь несколько общих замечаний — столь же гипотетических, сколь и предварительных.

Беглый обзор слухов позволяет выделить один повторяющийся сюжет — это сюжет *заговора*, неотделимый от другого сюжета — *скрытого врага*. Этот слух подкрепляется богатым набором символики нежных и таящих угрозу сил, сумерек, в которых негодяи плетут свои козни. Конкретная цель заговора варьируется в зависимости от места и обстоятельств. Удивительно, однако, что множество народных слухов повествует о заговорах не только против Нации, Революции, но и описывает заговоры, угрожающие жизненным силам народа. «Враги» ополчаются на его здоровье, на саму его жизнь, на его женщин и детей. Так, слух, сопровождающий волну народного насилия, имеет своей непосредственной целью представить ее в качестве акта законной защиты или же мести «негодьям», замышляющим, если уже не совершившим, омерзительные преступления. Слухи, сопровождающие вполне реальные социальные и политические конфликты, питают и возбуждают страсти, страх и ненависть, надежду и ярость — тот материал, из которого во время революции и состоят кризисы. Эти слухи, без сомнения, политические, поскольку они подпитываются преимущественно политическими конфликтами и событиями. Очень часто это слухи, *политизированные* Революцией, однако они лишь продолжают, в новом контексте, очень старые сюжеты и образы. Таков слух о «голодном заговоре», прекрасно изученный Стивенем Л. Капланом, возникающий на всем протяжении XVIII в. и познавший множество всплесков во время Революции. Если нужно — вот оно, доказательство того, что Революция, несомненно, создает новое политическое пространство и в особенности новые политические институты, но *ментальная окружающая среда* остается в большинстве своем традиционной, унаследованной от Старого порядка. С тех самых пор сопротивление рационализаторским нововведениям Революции, зачастую очень абстрактным и

доктринерским, рассматривается как смесь современности и архаики, представляющая характерную черту политического поведения в революционный период. Само народное легковерие, обеспечивавшее слухам эффективность и распространение, представляет собой наследие веков. Оно неотделимо от устной по большей части культуры, в рамках которой информация распространяется из человека к человеку. Без сомнения, революционный период отмечен резким увеличением числа политических текстов. Однако не забудем, что эти тексты далее передаются устным путем; рассмотренный нами слух — прекрасный тому пример, газеты в той же мере «выкрикиваются» и обсуждаются, в какой и читаются.

В типологии революционных слухов стоит отвести особое место политическому слуху в самом узком смысле этого слова — слуху, сотворенному в рамках политической интриги. Новые центры власти, и прежде всего законодательный орган, состоявший из нескольких сотен депутатов, и патриотические клубы, включая якобинцев, постоянно становились эпицентрами слухов, неотделимых от баталий и политических интриг. Слухи неизменно влияли на политиков, в особенности на депутатов и на все возраставшую в числе бюрократию, но также и на завсегдатаев трибун. Обмен информацией между одними и другими происходил легко и на постоянной основе — так же как между коридорами власти и городами, улицами и площадями, где формировались «группы», обсуждавшие политику и комментировавшие новости. Во времена Террора там постоянно повторялась и стала настоящей навязчивой идеей тема «заговора». Приведем лишь один пример таких слухов, прекрасно показывающий ту политическую обстановку, в которой проходило 9 термидора. Грядущее сражение против Робеспьера было тщательнейшим образом подготовлено как раз с помощью слуха, преимущественно адресованного депутатам Конвента. И это отнюдь не басня о Робеспьере-короле, сотворенная, как мы видели, «игрой воображения» и предназначенная для улицы, для народа, в расчете на то, что он слишком прост, чтобы увидеть за этим нечто, кроме «явного состава преступления». Для членов Конвента был сфабрикован «состав преступления» не менее явный, но совершенно иного характера, нежели печать с лилией: им говорили о составленных «тираном» проскрипционных списках депутатов; а порой, похоже, им даже показывали сами списки. Чем ближе было 9 термидора, тем длиннее становились эти списки; в кулуарах Конвента и в особенности на тайных собраниях ходили слухи о нескольких десятках, а то и о сотне с лишним депутатов, которые должны будут подвергнуться репрессиям вслед за семьдесятю тремя жирондистами, арестованными после 31 мая.

Естественно, те, с кем вступали в контакт, находили свои имена в этом списке; так слух на службе у интриги конкретизировал неясные и

расплывчатые угрозы, высказанные Робеспьером и Кутоном у якобинцев. Без этой подрывной работы, мобилизовавшей накопленные во времена Террора страх и ненависть и поставившей перед каждым вопрос о его выживании здесь и сейчас, был ли возможен единодушный крик Конвента: «Долой тирана!»?

Таким образом, успех басни о Робеспьере-короле — это эпизод из истории системы образов и слухов революционной эпохи. Однако отдельные детали этого слуха относятся к более специфичному контексту — контексту *Террора*. В самом деле, легко заметить, что этот слух примыкает к другим измышлениям, которые должны были стать слухами, сфабрикованными от начала и до конца властью монтаньяров во главе с Робеспьером. Не обвиняли ли Эбера в том, что это он ответствен за голод, что это он приказал не пропускать зерно, в котором так нуждался народ, через заставы? Не изображали ли Дантона главой заговора, сообщником иностранцев, изменником Родины, защитником эмигрантов? Как и другие мифы, слух о Робеспьере-короле — это изобретение *террористическое*. Террористическое, поскольку оно было сфабриковано политической и полицейской машиной Террора, но в то же время и потому, что оно было адресовано социальной системе образов, сформированной Террором. После исследования Мишле о начале Революции можно сказать, что с наступлением Террора стало казаться возможным не просто всё, а всё, что угодно. В атмосфере, накаленной до предела постоянными чистками, доносами во имя гражданской добродетели, беспредельной эскалацией обвинений, беспрепятственным раскрытием новых заговоров, было ощущение, что от подозрений не защищен никто. Разве герои вчерашнего дня не становятся сегодня разоблаченными врагами, чье усердие — лишь маска, за которой прячутся самые черные планы сотрудничества с аристократами и роялистами? Разве, обвиняя Дантона, сам Робеспьер не призывал не склоняться перед каким бы то ни было кумиром? И разве по поводу того же самого Дантона не ходил слух, что он мечтал стать регентом? Разве Сен-Жюст не обвинял эбертистов в том, что они готовят заговор с целью свержения революционного правительства и реставрации монархии? А вероломный и подлый Эбер разве не готовился стать регентом, компрометируя Конвент при помощи скандалов и выказывая «отвращение к испорченным людям»? Не брезговали никакой клеветой, даже самой бесчестной. Разве накануне суда над Марией-Антуанеттой охранники Тампля не уведомили Коммуну, что вдова Капет состоит в кровосмесительной связи со своим сыном, заставляя его вкушать от запретного плода онанизма? И все это — кто бы сомневался — с контрреволюционными целями. Поскольку если расшатать таким образом здоровье ребенка, то ответственность за его смерть неминуемо падет на революционные власти и окончательно опорочит

их перед лицом иностранных держав. И образы, которые породили этот миф, публично отстаивавшийся Эбером во время процесса по делу королевы, немало говорят нам о патологиях террористической системы образов.

Террор и питался этой системой, и создавал ее; он творил заговоры, которые соединяли всех врагов в единый образ «подозрительного», он питался страхом и предположениями, которые сам же порождал. Созданная Террором социальная система образов была излишне распаленной и неуравновешенной, но в то же время и по тем же причинам она была отмечена определенной печатью усталости и инерции. Разве для нее не могло сгодиться всё, и даже всё, что угодно? Те, кто запустил слух о Робеспьере-короле, прекрасно знали об этой ситуации и стремились извлечь из нее максимальную выгоду. Игра их воображения отнюдь не была столь спонтанной, как это хотел представить Вадье. Паника, охватившая ночью 9 термидора создателей этого слуха, была, без сомнения, реальной. Их ответ на эту непосредственную опасность был вдохновлен всем тем опытом, который они приобрели в ходе отправления террористической власти, создания ложных заговоров и ложных обвинений. По отношению к слухам и доверчивости народа они занимали в некотором роде *техническую* позицию: и тем и другим можно манипулировать; и то и другое можно использовать в качестве инструмента для достижения политической цели. Иными словами, 9 термидора ситуация была такова, что ради успеха они сочли пригодными любые средства. Но ради успеха чего?

СОБЫТИЕ В ПОИСКАХ СВОЕГО СМЫСЛА

Задержимся еще немного на том дне, который одни превозносили, называя героическим восстанием против «тирана», а другие изобличали как трагедию, когда иссякли сами движущие силы Революции. Хорошо известно, что Революция на всем своем протяжении имела сильную тенденцию к театрализации своих событий и деяний, представляя себя в качестве спектакля и навязывая своим актерам роли и костюмы. 9 термидора не было здесь исключением, что хорошо видно по рассказам об этом событии. Таким образом, следует постоянно отдавать себе отчет в театральности данного действия. И сразу на память приходят хорошо известные эпизоды, которые делали из него драму, даже трагедию на античный лад: депутаты, встающие с мест с криком: «Долой тирана!»; те же самые депутаты, решающие под дулами пушек не покидать зал заседаний и умереть за Республику по примеру римских сенаторов; Робеспьер, который не осмеливается в Ратуше противопоставить народ Конвенту, легитимной власти в Республике; зал Комитета

общественного спасения, где распростерт на столе раненый Робеспьер, где невозмутимый Сен-Жюст задерживает взгляд на висящей на стене Конституции и говорит: «А ведь это, как и революционное правительство, мое творение». Их нередко называют лубочными картинками, многие из которых не выдерживают исторической критики. Никто в них не сомневается, поскольку эти клише укоренены в исторической памяти, для которой традиционное представление о событии нередко важнее самого события. Но пусть эти картинки не мешают нам увидеть смешение жанров: трагедия постоянно превращается в гротеск. Тальен на трибуне Конвента размахивает кинжалом, не имея ни малейшего намерения обратить его против Робеспьера или против себя самого; Анрио, командующий парижскими вооруженными силами, которого несколько раз то захватывали жандармы, то освобождали его сторонники; пара сотен якобинцев, которые беспрестанно аплодируют Робеспьеру и героически призывают сразиться с «негодьями», но чье число постоянно уменьшается — их смогли разогнать всего десять (!) человек, а зал заседаний, «непобедимый бастион Революции», попросту заперли на ключ, словно обозначая конец спектакля. Множество вооруженных людей, объединенных в батальоны, словно исполняют какой-то странный балет: во второй половине дня они выступают на защиту Коммуны, а вечером мы видим их на стороне Конвента. Каноныры перемещаются взад-вперед между Гревской площадью и площадью Карусели, не сделав ни единого пушечного выстрела. И словно ради усиления гротеска, того персонажа, на чью долю выпадает этой ночью особенно драматическая роль, жандарма, который стреляет в Робеспьера, зовут Мерда*. Это казалось настолько смешным, что его даже перекрестили в Медда, прежде чем представить Конвенту, оказавшему ему триумфальный прием. В эту ночь разгулявшихся страстей, где с обеих сторон клялись не иначе как «жить свободными или умереть», раздаются лишь два пистолетных выстрела — «отважного жандарма» Мерда и покончившего с собой Леба. Настоящая бойня начинается только на следующий день после победы, на площади Революции: двадцать два гильотинированных 10 термидора, шестьдесят шесть казненных 11 термидора — самая большая «партия», которую только доводилось видеть парижанам с момента наступления Террора. И мы никогда не узнаем, сколько человек было бы казнено, победи в этой ситуации противоположная сторона, Робеспьер и его приверженцы...

9 термидора Париж представлял собой странное зрелище, и оно отражало смятение, охватившее умы множества людей — участников конфликта, грозившего в любой момент перерасти в кровавое столкновение, цели которого никогда не будут нам до конца ясны. Как

* Фамилия жандарма (Merda) явно казалась созвучной слову «merde» — дерьмо, мразь.

мы уже отмечали, слух о Робеспьере-короле повлиял на исход конфликта именно по причине этого смятения. Все происходило так, словно событие, вошедшее в историю как 9 термидора, не придавало в тот момент четкого значения ни составлявшим его эпизодам, беспорядочно сменявшим друг друга, ни своим участникам. Все выглядело так, будто событие само находилось в поиске своего политического значения.

Известно, что ни одно историческое событие не исчерпывает в полной мере своего значения в то время, когда оно происходит. Это же, вернее, эти же события (поскольку их было много, и они оказывались, как правило, противоречивыми) наполнялись смыслом по мере того, как их последствия проявлялись в истории. Изначально участники могут быть в большей или меньшей степени осведомлены о целях конфликта, в который они оказываются вовлечены. С этой точки зрения 9 термидора резко отличается от других восстаний революционной эпохи, в особенности от 10 августа и 31 мая. В свой переломный момент 9 термидора кажется лишь простым повторением этих восстаний. Когда Коммуна провозгласила, что «народ поднялся с колен», и мобилизовала секции против Конвента, у всех было ощущение, что вновь проигрывается сценарий, уже прекрасно обкатанный 10 августа и 31 мая. К тому же отсылки к этим дням, особенно к 31 мая, совершенно очевидны в прокламациях сторонников Робеспьера. В то же время это сходство лишь усиливало смятение. Вместо того чтобы прояснить ситуацию, оно, равно как и аргументация обеих сторон, запутывало еще больше: обвинения и оскорбления друг друга были удивительно похожи, обе стороны клялись в верности Революции и Республике; и те и другие обвиняли противников в заговоре и в том, что они заодно с «врагами». Да и революционное правительство, к восстанию против которого Коммуна призвала народ (так же как она это сделала 31 мая), разве оно само не брало начало в этом знаменитом дне? Не клялось ли оно в верности тому пути, на который тогда вступило, не обещало ли «энергично» бороться со всякой снисходительностью? Ни одна из противоборствующих сторон не была способна сформулировать свой политический проект. Парадоксальным образом лживый слух вносил некоторую ясность, поскольку с ненавистью и ожесточением указывал на Робеспьера как на ключевого персонажа этого конфликта. И сразу же проявился главный и тайный политический смысл конфликта: *как выйти из Террора?* Этот вопрос был важнейшим, хотя и не сформулированным. Он представлял собой неявный пласт политического дискурса, где обе стороны соперничали друг с другом в благородной риторике и гнуснейших оскорблениях.

В те последние дни лета II года, через два месяца после прериальского закона, когда тюрьмы были переполнены подозрительными, а Революционный трибунал не заседал лишь по

последним дням десятидневки (единственное исключение было сделано 10 термидора: он собрался, чтобы «установить личности» Робеспьера и его сторонников), никто не осмеливался поставить публично проблему выхода из Террора (9 термидора, когда в Конвенте бушевало сражение с Робеспьером, гильотина продолжала работать, и никто и не подумал приостановить казни). Чтобы обозначить эту проблему, чтобы «поставить ее в порядок дня» на уровне правительства или Конвента, было необходимо, чтобы в реальности выход из Террора уже начался. И в самом деле, после «весны побед» и освобождения территории страны Террор был лишен своей основной опоры — той легитимности, которую ему обеспечивали разговоры о войне и о необходимости защищать Республику от внешней угрозы²⁰ (к тому же ходили упорные слухи о том, что мир неминуем). После ликвидации «факций» — дантонистов и эбертистов — все политические дебаты, какими бы скромными они ни были, ушли в небытие, поскольку превозносились единодушие и неделимость Народа.

Основу и оправдание Террор находил лишь в своем собственном дискурсе, смешивающем воедино осуждение снисходительности и прославление республиканских добродетелей. Разве они не призывали к постоянной бдительности, разве не шли они рука об руку с тем, что стало при Терроре обычным делом: казнями, доносами, парализующим страхом? Неразрывно связанный с отправлением власти, Террор занял собой все политическое пространство и в рамках этой власти сразу же блокировал все дебаты о том, какой политический курс следует избрать. Разногласия внутри правительства, каковы бы ни были их предметы и причины, начавшись с личных раздоров и ссор, усугублялись взаимным недоверием и подозрениями. (В нашу задачу не входит исследование этих многочисленных разногласий; тем не менее показательны, что особенно ожесточенными были споры о контроле над полицией.) Любой конфликт, даже не самый значительный, мог оказаться между шестеренок Террора и быть разрешен при помощи предлагаемых им механизмов. При этом предпочитали один-единственный инструмент... Не названная и не называемая проблема — «что делать с Террором?» — была в одно и то же время и вытесненной, и навязчивой. Эта проблема оказывалась по преимуществу политической, касающейся революционной власти, и ставками здесь становились сами жизни находившихся у власти людей. Эта проблема была неотделима от личности Робеспьера. В системе власти, родившейся из желания «сделать Революцию более радикальной, более соответствующей ее дискурсу», Робеспьер после

²⁰ Новаторские и глубокие идеи о взаимосвязях между войной и Террором в революционном дискурсе высказывает Мона Озуф в своем труде: *Ozouf M. L'École de la France. Paris, 1984. P. 109-128.*

праздника Верховного существа и прериальского закона занимал особое место, соединив в себе в конечном итоге Добродетель и Террор²¹. *Что делать с Террором? Как из него выйти?* Ответы на эти вопросы не могли миновать Робеспьера. Они должны были либо исходить от него, либо обратиться против него. Они могли быть сформулированы лишь в понятиях отвлеченных и тем более запутанных, что обязанность отвечать возлагалась на самих «террористов», на творцов Террора. И они не могли претворить их в жизнь иначе как террористическими методами. Вот как это формулирует Марк-Антуан Бодо, депутат Конвента и монтаньяр, бывший и внимательным наблюдателем, и непосредственным участником тех событий: «из того безвыходного и бесчеловечного положения, в котором находилась республика перед 9 термидора, из этой ужасной ситуации невозможно было выйти, минуя смерть Робеспьера или предание его остракизму... Таким образом, в борьбе, развернувшейся 9 термидора, речь шла не о принципах, а об уничтожении»²².

Как показывают споры, ведущиеся уже на протяжении двух веков, политический проект Робеспьера между прериалем и термидором может быть интерпретирован различными способами. Хотел ли он приступить к выходу из Террора, что означало бы его скорое прекращение — на эти мысли наводит ряд фрагментов речей Робеспьера, и в особенности осуждение наиболее кровавых «террористов» (в частности, тех представителей в миссиях*, которые отличались самоуправством и коррупцией)? Хотел ли он, напротив, продолжить Террор, сделать его еще более кровавым, еще в большей степени подчинить себе Конвент — эти намерения просматриваются в других частях тех же самых речей, и в особенности в том неусыпном надзоре, который Робеспьер осуществлял за деятельностью Революционного трибунала и за полицейскими репрессиями? Или же у него вообще не было никакого политического проекта, кроме укрепления своей личной власти и сведения счетов со своими противниками в Комитетах и Конвенте? Был ли он поражен своего рода параличом, колебался ли между противоречащими друг другу проектами, что и привело его в итоге к безвыходной ситуации? Эти споры тем более бесплодны, что они

²¹ См. прекрасный анализ Франсуа Фюре в: *Furet F. Penser la Révolution française*. Paris, 1978. P. 84 et suiv.

²² *Baudot M.-A. Op. cit.* P. 125, 148.

* Депутаты Конвента именовали себя «представителями народа» (поскольку считалось, что они избранники не конкретного департамента, а всего французского народа). Соответственно «представителями в миссиях» называли тех депутатов, которых отправляли (обычно по двое) в департаменты и к армиям для обеспечения непосредственной власти Конвента на местах, предоставляя им практически неограниченные полномочия.

отягощены страстями, которые возбуждает как Террор, так и личность Робеспьера. Но не воспроизводят ли эти дебаты в другой тональности двойственность и противоречия, неотделимые от политической конъюнктуры конкретного момента? Не в том ли дело, что политический проект Робеспьера порождает множество истолкований, поскольку содержит скрытые двусмысленности? Этот проект не противоречив; напротив, именно в силу характерной для него политической логики Робеспьер, столкнувшись с проблемами, назревавшими в преддверии Термидора, тонет в двусмысленностях. Все выглядело так, словно он продолжал следовать тому же плану, которым успешно руководствовался на всем протяжении Революции, однако этот план дал сбой, как только Робеспьеру пришлось отвечать на незаданный вопрос: что делать с Террором, с той системой революционной власти, которая возникла именно благодаря успеху этого плана? Из слов и поступков Робеспьера вырисовывается идея-образ *Террора, очищенного собственной низостью*, и соответственно план действий, включающий в себя *одновременно и усиление, и ослабление Террора*.

Робеспьер узнавал себя в образе чистой и добродетельной Республики — точно такое же представление создавала о себе сама Революция. Аналогичное представление праздник Верховного существа предлагал народу, но в равной степени и Робеспьеру, его автору и главному действующему лицу. Чистая и добродетельная Республика неминуемо должна была слиться с личностью Робеспьера — в тот самый момент, когда он полностью отождествил бы себя с ее благородным делом. В каком-то смысле проект Робеспьера подразумевал, что Революция останется Революцией, а Робеспьер останется Робеспьером, однако оба сольются воедино при отправлении революционной власти. Однако для того, чтобы оставаться чистой и добродетельной, верной представлениям о самой себе, Республика неминуемо должна была очиститься, избавиться от «нечистых», предателей, интриганов, карьеристов, гнусных спекулянтов, от тех элементов, которые были ее недостойны, — иными словами, от ее худших врагов, замаскированных и скрытых. Тем самым Революция неминуемо шла вперед через устранение. Такова была величественная поступь и ее, и Робеспьера. Ей приходилось проводить в жизнь свой политический проект на глазах сменяющих друг друга противников. Их образы были, без сомнения, многочисленны, но столько же существовало и масок, скрывавших врагов, которые рано или поздно непременно себя обнаруживали. Эти политические представления, которые оказывались столь эффективны на протяжении всей его политической карьеры и которые в итоге привели к Террору, Робеспьер применил к самому Террору, когда осудил его в последние несколько недель перед Термидором. И если повторить его последние слова перед Конвентом, этот Террор,

«созданный, чтобы бороться с преступлением, а не для того, чтобы править», оказался в глазах Робеспьера опорочен. Но не кровью своих жертв, а моральным падением тех, кто был ответствен за проведение его в жизнь и соответственно за надзор за его чистотой.

Робеспьер был кабинетным политиком. Он ни разу не видел, как работает гильотина. Он ни разу не отправлялся в провинцию — туда, где пламенные слова «террористов» превращались в действия, где Террор становился неотделим от отправления неограниченной власти, где он тонул в интригах и местных конфликтах, где он порождал коррупцию. В рамках политического опыта Робеспьера Террор воплощался в речах у якобинцев и в Конвенте; в решениях, принимавшихся Комитетом общественного спасения и закреплявшихся документально, пусть даже эти документы представляли собой лишь списки заключенных, чьи дела передавались в Революционный трибунал, или назначения судей этого трибунала. Вместе с тем, начиная с зимы II года, доклады и доносы, стекавшиеся к Робеспьеру, показывали, что Террор перестал соответствовать тем представлениям, которые придавали ему законность (отметим, что Робеспьер и сам инспирировал эти доклады, направляя специальных представителей — таких, как молодой Жюльен). В Лионе и Марселе, в Бордо и Нанте Террор был «запятнан» произволом, ворами, которые использовали его для личного обогащения, «оргиями», сведением счетов. И не то же ли самое творилось в Комитете общей безопасности и Комитете общественного спасения, раздираемых личными амбициями и интригами?

Таким образом, Террор был унижен своими же исполнителями. Предан, если так можно сказать, «террористами». Будучи кабинетным политиком, Робеспьер в равной мере был и идеологом, личная вражда была понятна для него лишь через призму идеологии. По сравнению с «мошенниками» и «убийцами», с тальенами, фреронами, фуше, вадье (где заканчивался этот список, мы никогда не узнаем), Болото казалось чище. Эти люди были по крайней мере честны, они никогда не скатывались в бесчестье. Именно в этом плане замыслы Робеспьера предусматривали одновременно и *ослабление* Террора, и *усиление* Террора. Ослабление Террора нечистого, самоуправного, проводимого в жизнь «мошенниками». Усиление Террора — поскольку чистку можно произвести исключительно террористическими методами, лишь вновь уменьшив Конвент, который должен выдать виновных из своих рядов. Усиление Террора — поскольку он никогда не был и никогда не мог бы стать «чистым», кроме как в речах и на бумаге. Он не мог очиститься, иначе как обрушившись на головы проводивших его в жизнь, от которых он был неотделим, на тех «террористов», которые его и создали.

Мы никогда не узнаем, чем стал бы Террор, «очищенный» в соответствии с планами Робеспьера. Те, кто были намечен как жертвы в его речах, не могли ждать, следя за его ловкими демаршами и разгадывая его двусмысленности. Для них угрожающую ясность этого послания не затемняли никакие риторические изыски: «ослабление» и «усиление» Террора не вступали в противоречие, но дополняли друг друга. Выбор поразительным образом сужался: для них не было ни Добродетели, ни Республики, а только их собственные головы. Да, конечно, Кутон посчитал нужным уточнить у Якобинцев, что речь идет лишь об очищении Конвента от нескольких негодяев. Но от *скольких*? И в особенности от *кого*? Говорящая намеками Добродетель вызвала подозрения. И тем самым обращалась против своего хозяина, назначая его отныне главным подозреваемым. Вместо того чтобы сплотить депутатов вокруг Робеспьера, она позволяла объединиться против него всем тем — Фуше, Тальену, Вадье, Колло, — кто *чувствовал*, что эти намеки метят в них. Перед лицом незапятнанной Добродетели немногие из членов Конвента, окунувшись в настоящий Террор, могли чувствовать себя выше всяческих подозрений. И изначальные организаторы заговора тем более умело эксплуатировали эту атмосферу подозрений, что они действительно были *«террористами»*. Не только в политическом и моральном смысле этого слова, но и в том сугубо *практическом*, о котором мы уже говорили. Они отлично владели своим «ремеслом»; они имели опыт Террора, знали его механизм и его пружины. Они искусно владели его языком и отлично умели его расшифровывать. «Очищенный» Террор — это чистая гильотина, иными словами, чуть лучше вытертая и смазанная. Каков бы ни был словарный запас языка Террора, кого бы ни обвиняли — федералистов, факции или мошенников, — он не обновлялся, поскольку всегда приводил к амальгаме^{*}, и его результат был всегда одним и тем же. В этом плане «добродетель» была лишь еще одним термином, категоричным и точным. Из творцов Террора эти «террористы» начали превращаться в его жертв. Все их практические умения, приобретенные во время Террора и подкрепленные вполне реальным страхом, потребовались для того, чтобы сформировать коалицию и сплотиться вокруг единственной цели — *свержения тирана*.

Как и Робеспьер, они находят в Болоте чистых людей, жертв «тирании», с которыми, хотя еще вчера они их презирали, у них возникает солидарность. Запущенные в оборот таинственные списки виновных депутатов одним выстрелом убивают двух зайцев: они укрепляют связи с обнаружившими там свои имена монтаньярами, а кроме того, значительное число обвиняемых в этих списках

^{*} «Амальгамой» в то время, в частности, называли смешение в рамках одного дела подсудимых с различными составами преступления для придания веса и значимости делу и приговору.

превращает то, что можно было бы воспринять как сведение счетов между «террористами», в дело, затрагивающее Конвент в целом. Если Конвент еще больше сократится, если он вновь обвинит своих же членов, не окажется ли он отдан на милость того, кто превратится тем самым в его абсолютного хозяина? *Свергнуть тирана!* Это одновременно и лозунг, и четкая цель, которая позволяет действовать предельно быстро и эффективно, нивелировать возможные противоречия между теми, кто еще не знает, что вскоре станет «термидорианцем». Это был также способ избежать *главной политической проблемы, проблемы выхода из Террора*, оставить ее не сформулированной, а лишь подразумеваемой в единодушном постановлении Конвента об аресте Робеспьера и его приспешников, принятом на утреннем заседании 9 термидора. Последующие события, в особенности импровизированное восстание Коммуны, которое отнюдь не входило в планы Робеспьера, изменяло цели этого дня и мгновенно их проясняло. В самом деле, пришлось выбирать между двумя законными властями: той, что говорила от имени «поднявшегося с колен народа» (прямым суверенитетом), и властью Конвента (воплощавшей представительную систему). Но даже оттого, что этот выбор стал более ясным, термины, в которых он был выражен, еще не обеспечивали победы. В этот критический момент исход битвы казался крайне неопределенным. Таким образом, технические, политические и полицейские навыки пришли на помощь победе. И чтобы облегчить выбор «честному народу», чтобы объяснить ему, какую сторону следует принять, чтобы убедить его не восставать, чтобы помочь ему понять всю эту запутанную ситуацию («тиран» еще вчера являлся воплощением Революции и Добродетели), и был изобретен заговор, был запущен слух, была спрятана, а затем и обнаружена фальшивка. Кем бы ни были непосредственные авторы этого маневра, он являлся, как мы показали, продуктом коллективного политического опыта, он великолепно подводил итог всей террористической системе образов и всей практике Террора. Страх и паника придали цинизму этого маневра легкий флер спонтанности.

Будучи ответом на непосредственную угрозу, слух о Робеспьер-короле придавал событию весьма конкретное значение. Он отнюдь не разрешал главной практической проблемы Террора; напротив, он еще более ее запутывал. На следующий день после победы ход событий только ускорился: за ней последовали казнь объявленных вне закона депутатов и членов Коммуны, реформа Революционного трибунала и первые освобождения «подозрительных». Таким образом, значение 9 термидора, этой революции, совершенной Конвентом, а не народом (если воспользоваться формулировкой Барера), выходит за рамки простого свержения тирана. Кроме того, разве слух о Робеспьер-короле уже не содержал в себе больше, нежели требовалось для его

сиюминутного применения? Если разделить термины, которые он сливает воедино, — Террор и Короля, — то начинает казаться, что он в общих чертах намечает тот путь выхода из Террора, по которому пошла республиканская власть после 9 термидора. Этот путь был узким и опасным, он определялся через отрицание: ни Робеспьера, ни короля, ни Террора, ни монархии. Однако это отнюдь не мешало термидорианской власти вновь прибегнуть к амальгаме, чтобы расправиться со своими противниками. И поскольку опыта ей хватало, она проделала это в гораздо меньшей панике и с гораздо большим цинизмом.

ГЛАВА II КОНЕЦ II ГОДА РЕСПУБЛИКИ

24 фрюктидора II года Республики, через сорок пять дней после 9 термидора и за десять дней до конца II года, в ходе бурных дебатов, в которых отчетливо проявили себя раздиравшие Конвент противоречия, Мерлен (из Тионвиля) после нападков на «террористов», этих «рыцарей гильотины», сформулировал три главные проблемы, стоявшие перед Республикой, на которые Конвент должен был недвусмысленно ответить: «*Откуда мы пришли? Где мы сейчас? Куда мы идем?*» Эти вопросы обладали чрезвычайной важностью; они проходили красной нитью через все политические дебаты. Комитет общественного спасения принял эти вопросы на свой счет и дал на них свои ответы. В символический день — в четвертый дополнительный день республиканского календаря, завершающий II год, — Робер Ленде выступил от имени Комитета с длинной речью, представлявшей собой своеобразный доклад о состоянии Нации. Хотя этот доклад и был принят Конвентом, он отнюдь не положил конец принципиальным разногласиям; хотя предполагалось, что эти ответы послужат базой для объединения и вернут утраченное единство, они оказались лишь временными; они были очень быстро оспорены и оставлены позади.

Обострение этих вопросов хорошо показывает возникшее у депутатов ощущение развилки, на которой прошлое, настоящее и будущее перестают быть четко видны, как если бы эпоха Революции потеряла свою величественную прозрачность, превозносимую на протяжении всего II года. В конце того же самого года даже прошлое сделалось смутным. От Комитета общественного спасения ожидали двойного подведения итогов: о пути, пройденном со времени «революции 9 термидора», но также и о более отдаленном прошлом, о «терроре» и «тирании», от которых эта «славная революция» избавила Республику. Настоящее было еще более тревожным. Заданные Мерленом вопросы сделали очевидным, что 9 термидора стало бесповоротным шагом, однако проблема выхода из Террора решена не была. 9 термидора Конвент с триумфом провозгласил победу «своей революции»; со свержением «тирана» и его приспешников Республика была спасена, а угнетению положен конец. На исходе II года стало очевидно: *выход из Террора* — это не единовременный акт, а мучительный процесс с непонятным исходом.

Со свержением Робеспьера выход из Террора совершен не был; этот путь еще предстояло нащупать и по нему пройти.

Опереться на опыт было невозможно. Известно, что политическая история Революции интересна еще и тем, что на относительно небольшом промежутке времени были опробованы различные

политические режимы: конституционная монархия, Террор, республика, основанная на представительной и цензовой системе, опирающаяся на плебисцит диктатура и т.д.²³ То же самое можно сказать и о *выходе из Террора*, представлявшем собой особенно сложное обретение опыта. Начатый 9 термидора, этот процесс должен был развиваться в политических и символических, институциональных и социальных рамках, уходящих своими корнями в Террор и сформированных им. С этим был неразрывно связан целый ряд вопросов. Что делать с доставшимся от времен Террора наследием? Что и в соответствии с какими критериями стоит сохранить из этого политического наследия, оставшегося не только от Террора, но и в равной мере от Республики, то есть от Революции? Что делать с многочисленными последствиями Террора, начиная с тюрем, переполненных ожидающими суда «подозрительными»? Каким образом демонтировать его институты и что делать с политическими и административными кадрами, доставшимися от Террора и сформированными для того, чтобы служить ему и обеспечивать его функционирование? Как определить политическое пространство после Террора? Эти вопросы были особенно сложными, поскольку выход из Террора обеспечивался властью и политическими кадрами, бывшими агентами Террора, весьма энергично проводившими его в жизнь. Таким образом, «революция 9 термидора» должна была мыслиться и как *разрыв* в истории Революции, и как обеспечение ее *преемственности*. Так за пределами Террора Революция обеспечивала верность себе самой и своим базовым принципам. Взаимосвязь между разрывом и преемственностью не проявлялась исключительно на политической и коллективной плоскости; она также оказывала влияние на каждого человека.

Нам кажется тем более важным подчеркнуть уникальность и сложность этого преимущественно *политического* опыта, что отличительные особенности и оригинальность термидорианского периода слишком часто не замечаются историографией. С точки зрения «якобинской» традиции историографии Революции 9 термидора безоговорочно заканчивается ее героический период, символом которого служит II год Республики — год санкюлотов, якобинцев, Горы, революционного подъема в чистом виде. После этого не остается ничего, кроме «реакции» и отчаянной героической борьбы последних санкюлотов и монтаньяров, защищавших от «реакционеров» потрясающее наследие II года. Можно подумать, что «последние монтаньяры» и «последние якобинцы» сами не были «термидорианцами»: они не только одобряли и превозносили благословенную «революцию 9 термидора», но на свой лад и сами

²³ Cp.: Furet F. Marx et la Révolution française. Paris, 1986. P. 86 et suiv.

участвовали в сотворении общего с «реакционерами» политического опыта — опыта *выхода из Террора*.

Дело в том, что II год Республики, в символическом смысле этого словосочетания, не заканчивается, наподобие античной трагедии, 9 термидора на площади Революции, когда нож гильотины отрубает голову Неподкупного. Социальная система образов, порожденная II годом и придававшая ему символическое значение, познала менее героический и театральный финал. Все было куда более прозаично: новый политический опыт выхода из Террора повлек за собой довольно быстрое исчезновение этой системы образов. Стереть из памяти этот политический опыт во всей его оригинальности и сложности означало по возможности свести на нет политические, социальные и моральные последствия Террора, сотворить из него героическую легенду, которая впоследствии, задним числом должна будет его легитимировать. Сглаживание отличительных черт этого опыта было чревато риском допустить еще один анахронизм: как только термидорианский период, если не вся эпоха Директории, был сведен к «реакции», он во многом превратился в простой переход от 9 термидора к 18 брюмера. Быть может, героическая легенда о Терроре обретает достойный конец лишь в комплексе легенд о Наполеоне? С исторической точки зрения, однако, мало что кажется более ложным. Если понять возникшие при Термидоре проблемы, то станет очевидным и относительно открытый характер процесса, начатого 9 термидора II года. Никакая историческая логика никогда не требовала, чтобы свержение Робеспьера повлекло за собой 18 брюмера. Осмысление термидорианского периода означает прежде всего исследование политических *проблем* которые участники тех событий должны были поставить и разрешить, а затем и анализ конфликтов и политических механизмов, при помощи которых был избран — чисто эмпирически — путь выхода из Террора.

Всего *пятьдесят шесть дней* отделяет 9 термидора от пятого дополнительного дня революционного календаря, завершавшего II год. Очень небольшой промежуток времени, но исключительно плотный, богатый событиями и новыми политическими феноменами. Политические изменения уже начаты, но ставки отнюдь еще до конца не сделаны. Пространство, занимаемое участниками событий, по большей части открыто. Мы выбрали конец II года в качестве верхней границы хронологических рамок нашего исследования и попытаемся проанализировать тот путь, который был пройден начиная с 9 термидора. Без сомнения, этот выбор произволен. Эта дата символична: II год Республики (год революционного календаря, а не революционной легенды) мучительно завершается, когда действующие лица сами осознают необходимость ответить на следующие вопросы: «*Откуда мы пришли? Где мы сейчас? Куда мы идем?*» Таким образом, она подходит для того, чтобы историк задался

теми же самыми вопросами, преимущественно обращая внимание на концепты и ценности, представления и символы, «поле опыта» и «горизонт ожидания», на народ, его представителей, пережитое им историческое потрясение.

«ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ?»

9 термидора правомерность совершенной Конвентом революции не оспаривал ни один человек. Никто не защищал ни Робеспьера, ни триумвиров, никто не сомневался в их преступлениях и вероломных планах. С этой точки зрения все народные общества, все представители власти, все армии — иными словами, вся Франция проснулась 10 термидора антиробеспьеристской, то есть «термидорианской». Это единодушие кажется историкам потрясающим. Так, Мишле описывает время после 9 термидора как дни всеобщей радости и облегчения; и это описание вновь обретенного единства напоминает рассказы о празднике Федерации 1790 года, ставшем символом единства и революционных надежд²⁴. Однако при более тщательном изучении это прекрасное единодушие, воцарившееся после 9 термидора, оказывается весьма непрочным: оно скрывает за собой гораздо более сложные реалии.

Лучше всего это единодушное одобрение 9 термидора проявляется в более чем семистах официальных поздравлений, отправленных в Конвент после «свержения тирана» со всей страны — от властей, от народных обществ, от армий. (Лишь часть этих адресов была зачитана во время заседания Конвента; гораздо чаще просто сообщалось об их получении, и они удостоивались «почетного упоминания» в «Бюллетене»²⁵.) В основном это были тексты, красиво написанные на хорошей бумаге, использовавшейся только в исключительных случаях; их чтение весьма поучительно, несмотря на монотонную напыщенность. Или даже *в силу* этой монотонности.

Возьмем для примера адрес народного общества из Гран-виль-ла-Виктуар, отправленный в Конвент 15 термидора (текст был зачитан у решетки Конвента 22 термидора и удостоен почетного упоминания):

«Новый Кромвель пожелал возвыситься на руинах Национального Конвента; неусыпная бдительность позволила проникнуть в его планы; благоразумие разрушило их;

²⁴ См.: *Michelet J. Histoire du dix-neuvième siècle // Michelet J. Œuvres complètes. Ed. par P. Vialaneix. T. 31. Paris, 1982. P. 80 et suiv. См. также: Levasseur R. Mémoires. T. II. Paris, 1829. P. 3-5.*

²⁵ А.Н. С 314, С 325, С 316. Габриэль Моно был первым, кто обратил внимание на эту серию архивных документов. См.: *Monod G. Adresses envoyées à la Convention après le 9 thermidor // Revue historique. Vol. XXXIII, 121.*

решительность, достойная первых римлян, остановила дерзкого заговорщика и его трусливых сообщников; их обреченные на бесчестие головы бесславно пали под карающим мечом закона, беспощадно поразившим виновных; Республика была спасена. Благодарим тебя, Верховное существо, заботящееся о судьбах Франции, и вас, добродетельные представители суверенного и свободного народа. Каким бы ни был ваш тяжелый труд, пусть любовь к Отечеству заставит вас остаться на том посту, который вы получили благодаря доверию и который вы занимаете с таким достоинством.

Таково мнение Народного общества Гранвиля, добавляющего к нему клятву жить свободными или умереть, поддерживать Республику, единую и неделимую, бороться с тиранами и изобличать предателей. Да здравствует Республика! Да здравствует Конвент!»

Обновленное народное общество санкюлотов коммуны Монпелье 16 термидора отправило адрес, представленный Конвенту 26 термидора:

«Граждане представители! С тех пор как народ избрал вас и вручил вам высокие полномочия, которым вы полностью соответствуете, вы непрестанно стремились к завоеванию свободы и равенства. Во всех важнейших событиях, когда отечество оказывалось в опасности, вы показали себя великими и достойными народа. Но никогда не было обстоятельств, сходных с теми, по поводу которых мы выражаем вам наши чувства; новый Катилина, дерзкий владыка народа и его представителей, долгое время вводивший в заблуждение общественное мнение, обманутое его искусными соблазнами, осмелился наконец сбросить маску и предоставить вам выбор между подчинением его воле и смертью. Вы не колебались ни секунды. Окруженные приспешниками тирана, вы осудили его. И когда над вашими головами нависла опасность, вы ответили величественными словами, единодушно решившись на самопожертвование: «Мы все готовы умереть здесь за дело свободы!». Мы благодарим вас за это!..»

Вот какие эмоции выражало на заседании 17 термидора сельскохозяйственное и революционное общество Орийака, объединявшее двадцать две коммуны этого кантона:

«Великие вести, доставленные вчера курьером, заставили нас собраться на чрезвычайное заседание. Один из членов общества зачитал их вслух. Внимая рассказу об отвратительном заговоре Робеспьера, все члены Общества были охвачены ужасом и омерзением; но какова же была радость, какое же утешительное спокойствие овладело всеми душами, когда было объявлено, что предателей уже постигла судьба, достойная их злодеяний; какое же восхищение вызвал у нас добродетельный народ Парижа, 48 секций, которые сумели устоять перед отвратительными соблазнами этих негодяев».

Сходные чувства выражало и народное общество Энзьера:

«При известии о вероломных кознях бесчестного Робеспьера и его сообщников, стремившихся обрести мнимое господство, мы содрогнулись от ужаса. Но вскоре после этого, узнав, какую стойкость и мудрость проявил и выказал Конвент в тот опасный для него самого и для свободы момент, мы вскричали: «Да здравствует Республика, и пусть сгинут навсегда ее враги! Пусть постыдная память о них будет навеки проклята всеми народами земного шара!"»

И наконец, процитируем адрес народного общества Монтобана, отправленный якобинцам (адрес был прочитан на заседании Якобинского клуба 26 термидора):

«Так Робеспьер, этот тигр, жаждавший крови, — особенно той крови, которая питает свободу, — *так он в мгновение ока исчез* с того места, на котором упивался ею. [...] И республиканцам более не придется с горечью слышать, как в своих макиавеллиевских речах он среди достойнейших людей находит заговорщиков, интриганов, предателей. О, возблагодарим же тех, кто действительно замышлял и интриговал против него и окружавших его преступных заговорщиков. Сорвав с него маску, уничтожив его, эти люди ни в чем не предали Республику; эти люди [...] в высшей степени достойны общественного признания».

Практически все адреса повторяли одни и те же клише, комбинировали одни и те же риторические приемы; они настолько схожи, что кажется, будто все они следовали одному общему образцу. Они стремятся превзойти друг друга в обличениях Робеспьера. «Новый Катилина», «Кромвель наших дней» — эти эпитеты беспрестанно повторяются на протяжении сотен страниц. Иногда к

ним добавляются и другие: «извергнутый преступлением монстр, желавший взобраться на трон, чтобы владычествовать над Республикой и заковать в цепи французов» (народное общество Шароля); «чудовище, мошенник, тайный защитник врагов Республики» (муниципалитет Грав-Либр); «лицемер, гадина, хитрец» (народное общество Сегонзака); отпрыск «двуличных новых кромвелей» (секция Пантеона); «чудовище, чьи неистовства не служат нам примером» (III батальон Ньевра); «безрассудный пигмей» (санкюлоты Эрне, департамент Майенн). И здесь мы также, хотя и не часто, находим отзвуки слуха о Робеспьере-короле («Робеспьер, этот негодяй [...], разработавший отвратительный план восстановления королевской власти во Франции для того, чтобы завладеть тронном», — возмущается народное общество Анса).

Адреса также стремятся превзойти друг друга в прославлении Конвента, его достойного древних римлян восхитительного мужества, проявленного перед лицом угрожавших ему кошмарных опасностей. «Граждане представители! В заключение хотелось бы сказать, что мы восхищаемся вашей энергией, отвагой, негибаемым мужеством, проявленным вами среди множества опасностей. На своем посту вы всегда сохраняли стойкость, не бойтесь же и впредь кинжала заговорщиков, предателей, честолюбцев» (народное общество Пон-сюр-Рон). «Оставайтесь на своем посту! На вас смотрит весь мир, так пусть же он узнает, что французский народ обязан вам и своим процветанием, и своим счастьем» (народное общество, законные власти и весь народ Шарли-сюр-Марн). «Национальному Конвенту, заседающему на вершине священной Горы: Гора великолепная, Гора божественная, Гора святая и величественная, непрестанно блюдущая свободу народа и поражающая его врагов карающими молниями, прими наши поздравления и наш восторг. Вновь твоя энергия, отвага, мудрость и стойкость спасли Отечество» (общество защитников республиканской конституции, Вик-ла-Монтань).

По всей видимости, ни сомнения, ни сдержанность не охлаждали энтузиазм, которым переполнены эти адреса, а ведь под ними иногда стояли сотни подписей.

Хотя основная масса поздравлений Конвенту из провинций, в особенности от небольших коммун, приходится на 16-20 термидора, они не перестают идти и на протяжении всего фрюктидора. Этот временной сдвиг объясняется отнюдь не политическими колебаниями; как мы уже отмечали, во многих адресах подчеркивается, что решение отправить их было принято «тотчас же», сразу, как только пришли новости из Парижа. Но эти новости распространялись медленно, самое большее со скоростью лошади, а ведь требовалось еще созвать собрание, составить текст, тщательно записать его и отправить в Париж. В равной мере неторопливостью средств сообщения объясняется и тот факт, что в папках, куда

секретари Конвента помещали корреспонденцию, между двумя адресами, поздравляющими «отцов отечества» с победой над «чудовищем и омерзительным тираном», встречаются и другие поздравления: «Несокрушимые монтаньяры, оставайтесь на своем посту! Все ваши декреты, продиктованные справедливостью, возвещают потрясенной вселенной, что во главе вашего правительства стоят все необходимые ныне добродетели. Сердца граждан поражены ударом, нанесенным по Колло д'Эрбуа, нападением *убийц, подсланных Питтом к священной особе Робеспьера*» (народное общество Кодекоста, дистрикт Баланс). «Если вам не слышен голос общества Соллес (департамент Вар), если оно не выразило вам свою признательность, которой вы заслуживаете все больше и больше, так это только потому, что оно онемело от ужаса и возмущения попыткой убийства двоих из вас — Колло д'Эрбуа и Робеспьера. Сегодня же, когда меч закона пал на головы убийц, сегодня, когда Колло д'Эрбуа и Робеспьер отмщены и им не угрожают более бесчестные отцеубийцы, оно более чем когда-либо спешит возблагодарить вас за вашу непоколебимую стойкость».

Эти адреса, прибывавшие в конце термидора, были тщательным образом классифицированы, однако их не зачитывали Конвенту, чтобы тот удостоил их почетного упоминания... Покушение на «священную особу Робеспьера», о котором в них идет речь, — это, без сомнения, не 10 термидора, а непонятная история

Сесиль Рено, девушки двадцати лет от роду, у которой был найден перочинный ножик, когда она пыталась приблизиться к Робеспьеру. Она была обвинена в покушении на его жизнь, приговорена к смерти и 29 прериала, одетая в красную рубаху отцеубийц, взшла на эшафот. Адреса с выражением возмущения и единодушного энтузиазма прибыли в Париж с большой задержкой, однако употребленные в них клише можно было по большей части использовать вновь, для обличения «нового Катилины».

Постоянное употребление одних и тех же эпитетов — «новый Каталина», «новый Кромвель» — в сотне адресов не перестает удивлять. Как мы уже сказали, под этими адресами стоят сотни подписей. Многие из них начертаны неумело и с большим трудом, не привыкшими к перу руками; порой на месте подписи мы находим крестик, а в конце отдельных адресов — длинные списки имен тех граждан, которые, «будучи неграмотными, потребовали, чтобы за них расписались секретари» (народное общество Оранжа, 18 термидора). Присутствие этих неграмотных и полуграмотных людей на заседаниях народных обществ, без сомнения, свидетельствует о приходе в политику во время Революции — и, в частности, во II году — новых социальных слоев. Но были ли они и в самом деле столь погружены в историю античности, знали ли они, кто был «предыдущий Катилина»? Действительно ли «черная легенда» Кромвеля была столь широко

распространена, что неграмотным людям его имя сразу же приходило в голову, когда они хотели заклеить «нового тирана», свергнутого в Париже? И о чем думали пятнадцатилетние подростки из общества Юных Республиканцев коммуны Ангулема, которые совершенно спонтанно выражали свои эмоции следующими словами: «Сколь же величественна была Гора в эти ужасные мгновения! Весь мир наконец увидел, что она стоит выше любых заговоров! Отцы Отчества, вы обессмертили свои имена, вы — лучшие представители рода человеческого! Оставайтесь же на своих местах, пока не будут уничтожены все негодяи, все тираны, катилины, кромвели, диктаторы, триумвиры?»

Эти адреса говорят не только о спонтанных чувствах тех, кто их составлял и подписывал. Сам их язык напоминает нам об *условиях возможного выражения* того прекрасного единодушия, которое они демонстрируют. Клише и стереотипы подразумевают единый образец, воспроизводимый во всех этих адресах. И он довольно легко улавливается. На самом деле это воззвания Конвента и отчеты о его заседаниях предоставляли клише и явно служили первоначальным источником вдохновения. *Адреса написаны суконным языком 11 года Республики*, тем же самым, с разницей лишь в некоторых эпитетах, который использовался для того, чтобы восхвалять неувязимость «священной особы Робеспьера». Какое бы облегчение на самом деле ни было испытано при известии о «свержении тирана», адреса свидетельствуют о единообразии языка, используемого при Терроре, о направляемом сверху единодушии, о конформизме и оппортунизме, приобретенных и усвоенных в качестве основы политического поведения во времена Террора. Те, кто составлял и подписывал эти адреса, — это те же самые люди, что некогда осуждали федерализм, «кошмарные заговоры» Дантона или «бесчестного Эбера». (А некоторые адреса к тому же прослеживали связь между «новым заговором» и другими, более ранними...) Люди прекрасно поняли, насколько опасно высказывать сомнение по поводу разоблаченных в Париже «заговоров»; элементарная осторожность требовала от них встать на сторону победителей. Монополия на информацию и господство центральной власти над общественным мнением оставляли им весьма узкое поле для самовыражения — выпретенную риторику, восхваления и обличения.

Тем не менее удивительно, что эти адреса представляют «кошмарный заговор» как весьма отдаленное явление, имевшее место в Париже. После казни «триумвиров» опасности более не существует; единодушный народ смыкает свои ряды вокруг Конвента как «центра притяжения»; Революция одерживает еще одну победу, самую крупную (последняя победа всегда самая крупная, а последний заговор — самый «ужасный»); «отцы Нации» остаются на своих местах. Народ в Париже вновь оказывается достоин отправляемых

отечеством адресов, хранящих молчание о колебаниях парижских секций (хотя в своем докладе Барер весьма прозрачно на них намекает). Адреса крайне редко отваживаются выйти за рамки, очерченные посланиями Конвента, и, в частности, обличить сообщников Робеспьера на местах. И в этом случае речь вновь идет исключительно о тех депутатах Конвента, чьи «маски» уже были «сорваны» — таких, как Лебон в Аррасе или Кутон в Клермон-Ферране. Лишь однажды, в Освобожденном Городе (бывшем Лионе), народное общество присовокупляет к адресу, прославляющему прекращение «новой губительной для свободы бури» (под ним стоит около семисот подписей), протокол своего заседания, в котором выражается определенная озабоченность: «Необходимо сделать все, чтобы наши раздоры не пошли на пользу аристократии. Уже сегодня [14 термидора] незнакомые люди ходят по нашим улицам, и их взгляды зловещи... «Да, это так!» — вскричало все собрание».

Следуя существовавшему тогда клише, авторы этих верноподданнических посланий невольно отдают должное и Робеспьеру. Порой это объясняется огромным авторитетом, которым тот пользовался. При этом, разумеется, выражается негодование в адрес «лицемера», умевшего чрезвычайно искусно прикидываться добродетельным и неподкупным патриотом и соответственно обманывать народ, оказавший ему доверие. «Наша любовь к этим людям, в которых мы видели надежную опору Республики, при известии об их предезрком заговоре превратилась в глубочайшее отвращение» (народное общество Гере, департамент Крёз, 14 термидора). «Еще недавно все республиканцы проливали бы потоки слез над могилой человека, который признан сегодня большим преступником, чем кромвели, катилины, нероны, и который превзошел своими, известными ныне, преступлениями всех чудовищ, рожденных землей на несчастья народам» (граждане Треньяка-ла-Монтань, департамент Коррез).

А что же стало на следующий день после 9 термидора с «террористами», с ревностными сторонниками Робеспьера? Нет никаких оснований предполагать, что они хранили молчание; их голоса сливались с другими в общем хоре народных обществ и местных администраций, тех политических кадров, которые созывали собрания, формулировали адреса и т.д. Слишком легко возмущаться сегодня их оппортунизмом (не забудем, что после отправки адресов обличающие голоса стали раздаваться и на местах, в их собственных коммунах). Этот оппортунизм, это единообразие поступков и языковых норм — тоже один из ликов Террора. Направленные в Конвент поздравительные адреса делают очевидной ту особенность открытого 9 термидора периода, о которой мы уже говорили: выход из Террора начинается на базе того дискурса, форм политического поведения и социальной системы образов, которые были

сформированы во времена Террора и унаследованы от него. Разрушение этого насаждаемого единства, обнажение конфликтов и распрей, накопленных за время Террора, но приглушенных им, — все это было и неизменным условием выхода из Террора, и его неизбежным следствием.

В конце II года никто не ставил под сомнение благотворность «свержения тирана» и заслуги «революции 9 термидора»; как мы уже отмечали, она повсеместно рассматривалась в качестве исходного рубежа, за который уже нет возврата. Даже те, кто начал критиковать путь, по которому стали развиваться события, в частности, «преследования патриотов», делали это *во имя 9 термидора и в противовес «тирании Робеспьера»*. А как могло быть иначе? Встать на защиту Робеспьера означало совершить не только политическое самоубийство, но и просто самоубийство, поскольку это было бы расценено как преступление против Революции. Однако, каким бы образцовым ни было такое единодушие, на его фоне возникал вызывающий раздоры вопрос: «Как же все-таки это произошло?» (если воспользоваться формулировкой, которую употребил Эдм Пети в своей речи в Конвенте 29 фрюктидора). Начатая таким образом дискуссия была преимущественно политической: главной темой для обсуждения была эволюция общества, и в особенности — эволюция революционной власти. Однако здесь существовал и эмоциональный аспект: на кого можно возложить ответственность за Террор, не провоцируя при этом отщепенцев, кто проводил его в жизнь? Несмотря на все аргументы *ad hoc* и *ad personam*, быстро оканчивавшиеся сведением счетов, эту дискуссию можно назвать первыми в истории крупными дебатами о Терроре. В их ходе были сформулированы многие тезисы, которые позднее, особенно в XIX веке, оказались подхвачены, более глубоко обоснованы и развиты историками. К аргументам в этом споре часто примешивались свидетельства как тех, кто проводил Террор в жизнь, так и тех, кто стал его жертвами. При помощи лексики эпохи Просвещения и революционной риторики сиюминутные политические аргументы обрастали философскими «размышлениями», аналитическими записками в форме столь частых в Конвенте бесконечных речей. Но и Конвентом эти дебаты не ограничились. Они выплеснулись в прессу, где проходили особенно свободно; они велись в масштабе всей страны, поскольку в каждой коммуне были свои «террористы» и свои политические и личные счеты с ними. Разумеется, поскольку Конвент, этот «центр объединения и просвещения», оставался тем местом, где шла борьба за власть, о Терроре там говорили особенно много. Чтобы все сказанное было проще анализировать, наметим несколько линий, по которым давались ответы на вопросы о том, *почему* появился Террор и *как* он развивался:

- Террор был и творением, и ошибкой Робеспьера; причины тирании кроются в чудовищном характере самого тирана;
- Террор представлял собой не более чем неожиданное осложнение на славном пути Революции, сражающейся с врагами;
- Террор представлял собой особую систему власти, механизмы и истоки которой еще надо выявить.

Мы можем разделить эти ответы на две группы: ту, где Террор оказывался *порождением обстоятельств* и соответственно *никто* не нес за него ответственности; и ту, где он рассматривался как чудовищное преступление, что влекло за собой необходимость найти людей, лично ответственных за эти непростительные преступные деяния, чем бы они ни руководствовались.

Тем не менее, систематизировать эту «типологию» едва ли возможно. На самом деле дебаты отнюдь не имели академического характера; их целью была власть, реванш или, попросту, *головы* тех, кого обличали как «террористов». Те ответы, которые мы уже выделили, не служат исключением, однако они накладывались друг на друга и дополняли друг друга. Не существовало еще прочных позиций, всё еще находилось в движении, в поиске: *соответствующего политического опыта еще не было, а политическая ситуация оставалась нестабильной.*

«*Вина лежит на Робеспьере*». Прежде всего следует составить список оскорблений, которыми изобиловали поздравительные адреса в Конвент: «новый Катилина», «новый Кромвель», «новый Нерон», «омерзительное чудовище», «убогий негодяй» и т.д. Клише, ставших частью политического языка термидорианцев, было немало; так, если упоминался «последний тиран», речь непременно шла о Робеспьере. Однако не следует недооценивать значение этих оскорблений, поскольку сам их накал уже многое говорит о политическом климате той эпохи. Использование клише было своеобразным ритуалом, можно даже сказать, коллективным экзорцизмом. «Новый Катилина», «чудовище», «лицемер» — все эти эпитеты в некотором роде помогали разгадать эту таинственную личность и представляли ее действия и ее роковое влияние как своеобразную историческую и моральную катастрофу. Робеспьер предстал человеком одновременно и знакомым, и необыкновенным, что делало 9 термидора и разоблачением, и освобождением. Бесчисленные адреса повторяют одно и то же: с его смертью Республика оказалась спасена²⁶.

²⁶ Упомянем тем не менее петицию секции Пуассоньер от 13 термидора, схожую по форме с научной диссертацией. За сравнением между Робеспьером и Кромвелем в ней следует комментарий: «Робеспьера уподобляют Кромвелю, однако Кромвель был храбрцом, великим генералом, политиком до мозга костей, он проливал кровь лишь для того, чтобы укрепить свою тиранию; он принес процветание торговле и морскому

Можно сказать, что личность Робеспьера и зачаровывала, и тревожила. Один из текстов того времени, «Портрет Робеспьера», имел необыкновенный успех: вначале он был опубликован отдельной брошюрой, а затем перепечатан в ряде газет. Вот физический портрет:

«Его рост составлял пять футов и два или три дюйма; осанка была очень прямой; походка — четкой, энергичной и слегка резкой; пальцы нередко сжимались, как если бы у него защемляло какой-то нерв; то же самое движение чувствовалось в плечах и в шее, которой он судорожно дергал то вправо, то влево; его одежда отличалась элегантною чистотой, а волосы были всегда уложены; [...] цвет лица был мертвенно-бледным и желчным, взгляд — мрачным и потухшим; он часто моргал, как бы вследствие тех конвульсий, о которых я только что говорил».

Моральный и интеллектуальный портрет:

«Хотя он часто произносил высокопарные слова «добродетель» и «Родина», думал он только о себе. В основе его характера лежала гордыня, одним из его пороков являлась жажда литературной славы, еще более он стремился к славе политической... Дерзкий и трусливый, он тщательно маскировал свои действия и нередко с отвагой нападал на своих жертв... Слабый и мстительный, целомудренный в силу темперамента и распутник в воображении, он жаждал верховной власти во многом потому,

флоту своей страны. Робеспьер же, напротив, был подлецом и трусом, интриганом и невеждой, не разбирающимся ни в политике, ни в управлении. Он проливал кровь ради собственного удовольствия. Со временем мы узнаем о его жертвах. Кромвеля с ним объединяет лишь одна черта: фанатизм и лицемерие. Кромвель и его солдаты не садились в седло без Библии; он постоянно ее цитировал. Робеспьер беспрестанно говорил о религии, добродетели, справедливости. То внимание, которое он проявлял к так называемой Богородице и к брату Жерлю, указывает на его близость к этим ясновидцам. Быть может, он даже добивался чести стать главой секты, чтобы укрепить религией свой деспотизм. Робеспьеру доставляло удовольствие поклонение множества последователей. Ничто не могло сравниться с их нелепым уважением и безграничной преданностью их мерзкому господину. "Робеспьер сказал", — когда звучали эти слова, следовало замолчать и смирить свой разум. Сомнение приравнивалось к преступлению, заслуживающему смертной казни» (A.N.C314; СИ 12158). В Якобинском клубе также возражали против уподобления Робеспьера Кромвелю или Катилине, поскольку это делало ему слишком много чести: «Пусть больше не сравнивают этого негодяя с Катилиной или Кромвелем, поскольку из-за своей трусости он недостойн того, чтобы встать в один ряд с этими двумя знаменитыми врагами свободы» (выступление Миттье-сына на заседании 1 фрюктидора III года; см.: *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 356*).

что она привлекала к нему взоры женщин, а он любил их привлекать; к его честолюбию добавлялось кокетство; [...] его обаяние было во многом направлено именно на впечатлительные умы. [...] Он тщательно рассчитывал обаяние своих речей и, в некотором роде, имел к этому талант; он довольно хорошо держался на трибуне; в его речи преобладали противопоставления, и он частенько прибегал к иронии; его слог отнюдь не был возвышенным; его манера речи, порой гармоничная, ритмичная, порой — резкая, яркая, но порой (и зачастую) заурадная, всегда отличалась обилием общих мест и разглагольствованиями о «добродетели», «преступлении», «заговорах» ... Его логика неизменно оставалась четкой, и подчас он ловко жонглировал софизмами, но в целом его мозг оставался бесплодным, а кругозор — узким, как практически всегда бывает с теми, кто слишком занят самим собой».

И наконец, политический портрет:

«После гордыни самой яркой отличительной чертой его характера было коварство. Он окружал себя исключительно теми людьми, которым было в чем себя упрекнуть, одним словом, он постоянно держал меч над их головами. Часть Конвента он защищал и заставлял дрожать. Он превращал ошибки в преступления, а преступления в ошибки. Каждый раз, когда на него нападали, выходило, что угрожают свободе... Он боялся даже теней своих жертв, стремился ослабить их влияние; он мог бы гильотинировать даже мертвых. Если обрисовать его одним штрихом, Робеспьер был рожден бездарным, он не умел создавать обстоятельства, но искусно их использовал. Для тирана этого недостаточно; обстоятельства и привели его к гибели, поскольку они его разоблачили... И таким образом, он относится к омерзительной категории тиранов человечества, возжелавших притеснять себе подобных; память о таких тиранах даже спустя многие века будет вызывать отвращение»²⁷.

В основе своей все тираны и тирании похожи — вот что должна была показать параллель между *Капетом и Робеспьером*. Приводимый ниже текст в некотором роде принимает эстафету у

²⁷ Portrait exécrable du traître Robespierre. Paris, s.d. (1794), BN Lb ⁴¹ 3976; приписывается Ж.-Ж. Дюссо. В газетах той эпохи можно найти немало вариантов этого текста. Гордыня, честолюбие и посредственность Робеспьера объясняют также и его ненависть к словесности и ученым.

слуха о Робеспьере-короле, хотя и обходится без его составных элементов (печати с лилией, планируемого брака). Робеспьер *на самом деле* превращается в короля и тирана (в дебатах в Конвенте и в прессе довольно часто встречается оскорбительное прозвище *Максимилиан I*).

«В 1789 году во Франции существовал король, фактически облеченный безграничной властью, ограниченной лишь для виду, поддерживаемой старыми предрассудками, а еще более — возможностью располагать всеми деньгами и назначать на все должности в государстве... Во II году во Франции также существовал человек, фактически облеченный абсолютной властью, ограниченной лишь для виду, пользующийся неведомо как добытой популярностью; ему, как и многим другим государям, была создана репутация человека честного и способного. Этот человек обладал правом назначать на все должности и располагал всеми деньгами Республики. Таким образом, ему была обеспечена поддержка всех, кто хотел получать деньги, не зарабатывая их, и должности, не заслуживая их».

У «тирана 1789 года» были свои бастилии, в которые он заключал всех тех, чьи знания и ум страшили его:

«Тиран II года бросал в тюрьму тех, кто не хотел ему повиноваться, он называл их людьми подозрительными, он не разрешал ни писать, ни говорить... Оба окутывали себя мраком. Их слова становились *государственной тайной*, а общественная *безопасность* — обычным предлогом для всех совершенных ими преступлений и убийств... Оба заставили небо дать санкцию их власти, приводящей в отчаяние землю. Один говорил о боге и загробной жизни, другой — о *Верховном существе и бессмертии души*... В 1789 году было запрещено плохо говорить о короле, его любовнице и любовницах его чиновников. Тот, кто сомневался в божественности короля II года, его чиновников или Корнелии Копо, наказывался смертью»²⁸.

²⁸ Capet et Robespierre. Paris, s.d. (1794). BN Lb ⁴¹ 1155. Текст был подписан Мерленом (из Тионвиля), однако составлен, скорее всего, Рёдерером. «Корнелия Копо» — это, очевидно, дочь Дюпле, столяра, у которого жил Робеспьер. Параллели между Робеспьером и Людовиком XVI продолжают через сравнение старой аристократии с «аристократами II года» — робеспьеристами, защищавшими одновременно и свои «должности», и Террор.

Нагнетание этих обвинений, клеветы, оскорблений и эпитетов позволяет оценить ненависть, которую питали к Робеспьеру; в то же время, это и своеобразный реванш за те месяцы, когда царил культ Робеспьера, превозносилась его добродетель и его таланты. Однако стремление и возложить на Робеспьера ответственность за Террор, и представить его в качестве «гносного негодяя» было, по меньшей мере, противоречивым. Чем больше принижали Робеспьера, тем труднее оказывалось разгадать недавнее прошлое. Как объяснить популярность Робеспьера («добытую неведомо как», — не без удивления замечает Мерлен), его восхождение к безграничной власти, если он был обычным честолюбцем, лишенным каких бы то ни было талантов? И что же тогда сказать о тех, кто оказался поработан такой посредственностью?

«*Революционная буря*». Для Ленде ответить на вопрос «Откуда мы пришли?» во II году Республики и дать тем самым «отчет нации» означает, прежде всего и по преимуществу рассмотреть грандиозное творение Нации и одерживаемые ей победы. II год Республики был периодом героическим, отмеченным усилиями всех граждан, и в особенности храбростью и жертвами, принесенными армиями; годом, когда Республика поднялась до «таких высот славы и могущества», что никто, даже ее злейшие враги, не могли «лишить ее доверия и уважения народов». Организацией своей армии, одержанными победами Республика показала всей Европе, что французы не просто хотят быть свободными, но что Нация достаточно могущественна, чтобы защитить свою свободу от объединившихся против нее тиранов. Франция разом опровергла лицемерные и лживые речи своих врагов о том, что она неуправляема и сползает в анархию. «Вы завоевали симпатии многих народов. Они не спрашивают более, есть ли у вас правительство; они знают, что содержать самую многочисленную армию на земле, наполнять моря кораблями, сражаться и побеждать на суше и на море, быть центром мировой торговли — это и означает уметь управлять».

В рамки этого глобального итога и в контекст этих *обстоятельств* — нация сражается за свою свободу — вписываются и встреченные на данном пути трудности, и совершенные ошибки. «Представители народа должны передать будущему не только свои свершения, славу и успехи, они должны передать ему знания об опасностях, бедах и ошибках; так первые мореплаватели отмечали рифы, которых следовало избегать, и они смогли научить своих последователей, как проложить путь среди рифов, которые ничто не может заставить исчезнуть, однако опыт может научить, как приближаться к ним и удаляться от них, ничем не рискуя». Террор и был не более чем одним из этих рифов, своего рода неожиданным осложнением. К обстоятельствам, требовавшим исключительных мер безопасности и

возбуждавшим страсти, добавлялась деятельность предателей и заговорщиков.

«Они стремились разобщить французов, посеять уныние, страх и отчаяние, уменьшить чувство признательности к защитникам родины и распространить сомнение в их победах; они кичились своей репутацией людей талантливых, энергичных и полных гражданской доблести... Меры общественной безопасности стали той жестокой силой, которая вселила ужас в души граждан и лишила Францию рабочих рук и ресурсов; наказанные вами предатели изменили точку ее приложения и направление. Вы хотели поразить врагов Революции; они воспользовались вашим оружием и вашими действиями, чтобы поразить людей слабых и людей полезных; они не щадили ни земледельца, ни ремесленника; поскольку они не смогли ни уничтожить вас, ни вселить в вас ненависть, они хотели заставить вас бояться».

Однако в конечном счете «революция 9 термидора», ее позитивные и обнадеживающие последствия были куда важнее этого террористического эпизода. В анналах Революции 9 термидора заняло свое место в ряду военных побед и славных восстаний 14 июля, 10 августа и 31 мая. Быть может, заговор Робеспьера и был наиболее опасным и вероломным, но само это вероломство и то, что ему положили конец, явно демонстрирует зрелость Нации и Революции. «День 9 термидора покажет потомкам, что в это время французская нация благополучно миновала все периоды революции; что она дошла до той стадии, когда ее уже невозможно было ввести в заблуждение иначе как созданием блестящей репутации и видимостью гражданских доблестей, порядочностью и добродетелью, которые были поставлены ею в порядок дня». Соответственно достаточно было «сорвать маску», предупредить народ, с которым до того Конвент, однако, не мог свободно сноситься, дать народу пример доблести, покарвав предателей, — и с заговорщиками было покончено. «Мудрое, великое и возвышенное» поведение народа «продемонстрировало, что его невозможно ввести в заблуждение». Обольстить удалось лишь нескольких граждан; когда с заговорщиков сорвали маски, те оказались в полном одиночестве, и «весь народ, приверженный своим принципам и национальному представительству, приговорил Робеспьера и его сообщников». Тем самым это «последнее событие» было «полезно делу свободы».

Необходимо различать в прошлом то, что было справедливо, и то, что стало следствием временных ошибок, злоупотреблений и преступлений. Конвент привел в действие «план надзора» (создал революционные комитеты), для исполнения которого потребовалось

«столь колоссальное число функционеров, что во всей Европе не нашлось бы достаточного количества компетентных людей на эти места». Данный проект полностью себя оправдал; тем не менее «внутренних врагов» было так много, что они проникли повсюду, в том числе в администрацию и в народные общества. В этих условиях каждый гражданин должен был считать себя «часовым на боевом посту». Таким образом, не следует осуждать разом все институты, в которых имели место злоупотребления (как это было, в частности, с наблюдательными комитетами). И в особенности не следует заострять внимание на злоупотреблениях и бедах, уже оставшихся в прошлом. Без сомнения, «Революция имела свои изъяны», однако не следует преувеличивать совершенные ошибки, часть из которых была неизбежна.

«Не стоит упрекать себя ни за беды, ни за ошибки. Всегда ли мы были, всегда ли мы могли быть тем, чем действительно хотели быть? Мы все принялись за одно и то же дело; одни сражались смело, но осмотрительно; другие в пылу рвения набрасывались на те препятствия, которые хотели уничтожить и сокрушить... Кто захочет потребовать у нас отчета за то, что невозможно предвидеть и направлять? Революция совершенна; она есть общее творение. Какие генералы, какие солдаты делали на войне лишь то, что им должно было делаться, и могли остановиться там, где этого требовал холодный и спокойный разум? А разве мы не были в состоянии войны со столь многочисленным и столь опасным врагом? Некоторые неудачи — разве не усиливали они отвагу, не возбуждали гнев? Что произошло с нами такого, чего не происходило бы со всеми людьми, отброшенными бесконечно далеко от обычного течения жизни? И не должно ли было случиться так, что одни заставляли любить обаяние равенства, а другие несли нашим врагам Террор и ужас?»

Таким образом, Террор был и осужден, и вытеснен в прошлое; напоминания о связанных с ним печальных событиях шли рука об руку с призывами их забыть. Он не был ни подлинной «эпохой» в истории Революции, ни системой власти. Это лишь *последовательность* разнородных и отдельных событий, каждое из которых необходимо рассматривать в отрыве от остальных, если возникает желание понять его причины, а в особенности — породившие его обстоятельства. Таким образом, ошибки будут отделены от преступлений, кипение страстей — от преступных намерений, и можно будет нащупать верное соотношение частей в едином целом. Однако был ли этот анализ необходим и полезен для дела Революции? Не требовал ли он никогда не оглядываться назад?

Текст Ленде изобилует метафорами, превращающимися в перифразы, когда тот касается особенно щекотливых сюжетов, таких, как Террор и люди, претворявшие его в жизнь. «Чтобы спасти корабль, застигнутый бурей, кормчий доверяется своей смелости и своим умениям, которые опасность обостряет и делает более полезными. Если ему удастся благополучно привести корабль в порт, у него не требуют отчета о его действиях, не выясняют, следовал ли он инструкциям. Когда приходится метать молнии столь часто, можно ли ожидать, что они всегда будут попадать в правильную цель и не отклонятся от заданного направления»²⁹.

«Система Террора». Выражение «система Террора» было использовано Барером на следующий день после казни Робеспьера, однако рассматривать Террор именно как *систему* предложил месяцем позже Тальен в своей речи 11 фрюктидора. Прежде всего следует подчеркнуть двойной смысл этой речи: Тальен углубился в абстрактный и философский анализ Террора, однако никого в Конвенте это не обмануло — все увидели в ней лишь политический маневр. Никто не принял всерьез Тальена-«философа» (когда он окончил свою речь, ему тут же иронически заметили: «Без сомнения, следует благословить философию, изучение которой делает людей лучше и справедливее, однако хочу напомнить, что тот, кто высказывается сейчас с этой трибуны против системы Террора, некогда расхваливал с той же самой трибуны ее полезность»). В самом деле, Тальен, ставший одним из творцов 9 термидора, был олицетворением коррумпированного представителя в миссии; находясь в Бордо, окруженный настоящим двором, он не колебался, ни отправляя на гильотину «заговорщиков», ни в особенности позволяя «подозрительным» выкупить свою жизнь или свободу. После того как его отозвали в Париж, он безуспешно пытался вернуть себе расположение Робеспьера: «Неподкупный» не скрывал своего презрения к тем, кто, по его мнению, компрометировал Террор. После свержения «тирана» Тальен сделался образцовым «флюгером», *политическим перебежчиком* — весьма характерным элементом термидорианского политического пейзажа. Отныне он оказался в первых рядах тех, кто требовал «поставить правосудие в порядок дня» и провести показательную расправу с «террористами». В его салоне, где царствовала Кабаррюс (освобожденная им из тюрьмы после 9 термидора), беспрестанно плелись политические интриги. Хотя его речь 11 фрюктидора и была оценена современниками как политический маневр, завуалированный философскими рассуждениями, его размышления о Терроре заслуживают нашего внимания. Пусть они порой нечетки, тем не менее это достаточно

²⁹ Робер Ленде, доклад, представленный от имени Комитета общественного спасения в четвертый дополнительный день II года (Moniteur. Vol. 22. P. 18-25).

ценная попытка анализа и замечательное свидетельство о Терроре. Тальен прекрасно знал его изнутри: перед тем как стать одной из его потенциальных жертв, он был одним из его творцов.

По мысли Тальена, Террор представлял собой *систему власти* («систему, воплощенную в жизнь Робеспьером»), а не череду кошмарных событий. Проанализировать эту систему означало понять ее связь с *революционным порядком управления*, со *страхом*, который она порождала и на который опиралась, и, наконец, с *насаждаемой ею динамикой репрессий*.

Таким образом, главная проблема состояла в том, чтобы четко вычленил то, «что относится к Революции, но не становится тиранией», и «ясно определить, что следует понимать под *революционным правительством*... Следует ли понимать под революционным правительством правительство, *подходящее для того, чтобы завершить Революцию*, или же *действующее, как сама Революция*». Если не разделять два эти значения, возникает риск извратить саму Революцию. Революция — «это движение, возносящее наверх то, что было внизу»; таким образом, Французская революция свергла монархию и восстановила суверенитет народа. Однако это неминуемо приводило к началу открытой войны против тирании, борьбы, которая «превратила всех граждан в солдат, а всю страну — в поле битвы». Несмотря на насилие, «революционный акт» не был незаконным, поскольку представлял собой битву, в которой «народ мог действовать лишь на стороне свободы». Совершенно иначе обстояло дело с учреждением правительства, которое должно было *завершить* Революцию; ни под каким видом оно не могло «продолжать рассматривать Францию как поле битвы».

«Если правительству требуется наверняка закончить революцию, прежде всего необходимо, чтобы оно само не было орудием контрреволюции. Установление тирании, пусть даже ненадолго, не может рассматриваться как способ установить свободу, поскольку для того, чтобы прочно и безнаказанно существовать в течение одного года, одного месяца, одного дня, оно должно встать, по крайней мере в это время, над любой оппозицией... Только то правительство способно завершить революцию и защитить ее, которое сможет ее полюбить и заставит трепетать тех, кто ее предает».

Правительство эпохи Террора не ограничивалось тем, что «наблюдало за неправильными действиями, угрожало им, карало их соответствующим наказанием; оно угрожало *людям, угрожало постоянно и за все, угрожало всем самым жестоким, что только может породить воображение*». Намек более чем прозрачен; для

Тальена Террор начинается не с отмененного к тому времени закона от 22 прериала, а с 17 сентября 1793 года, с закона о подозрительных, все еще остающегося в силе. Иными словами, в качестве краеугольного камня Террора как системы он рассматривает концепцию «подозрительного».

Террор угрожает людям и наказывает их *за то, что они собой представляют*, а не *за то, что они совершили*; тем самым с введением концепции «подозрительных классов» правосудие сменяется *произволом*. «Система Террора подразумевает отправление беззаконной власти теми, кому она доверена. Она также подразумевает абсолютную власть, а под абсолютной властью я понимаю ту, которая никому не подчиняется и ни перед кем не отчитывается, но требует от всех отчета и подчинения... Система Террора подразумевает власть предельно сконцентрированную, в наибольшей степени стремящуюся к единству и по необходимости тяготеющую к монархии». При этой системе Франция была разделена на «два класса: *на тех, кого боялись, и тех, кто боялся*, на преследователей и преследуемых». Несмотря на заявления власти о том, что она представляет собой «канцелярию Террора», он не обрушивался исключительно на «подозрительные классы», поскольку «было необходимо, чтобы Террор либо существовал повсюду, либо не существовал нигде». Он представлял собой страх в чистом виде, доведенный до предела. Он упразднил правовое государство.

Когда Тальен описывал таким образом своеобразную феноменологию Террора и его политических средств, он, несомненно, опирался на свой двойной опыт — и того, «кого боялись», и того, «кто боялся». Террор «портит человека и низводит его до уровня животного; он истощает все физические силы, способствует извращению морали, перемешивает все идеи, уничтожает все привязанности; [...] вызывая запредельные эмоции, террор требует или все, или ничто». У правительства есть только одна возможность использовать Террор, «заставить всех трепетать» — угрожать единственным наказанием, смертной казнью, «угрожать ею беспрестанно, угрожать ею всем, угрожать посредством крайних мер, сменяющих одна другую и все более усиливающихся; угрожать за любое действие, и даже за бездействие [...] угрожать, демонстрируя не перестающую поражать абсолютную власть и ничем не сдерживаемую жестокость». Террор, система всеобщего страха, влечет за собой другую систему — подозрений и доносов: «Необходимо поместить капкан на каждом шагу, шпиона в каждом доме, предателя в каждой семье, поставить над [sic] судами убийц».

Таким образом, система Террора обладает собственной динамикой: она стремится себя увековечить. Без сомнения, Террор изображали как власть временную, комплекс мер на переходный период, необходимых для того, чтобы обеспечить окончательную победу

принципов и ценностей Революции. Тем не менее стоит ввести Террор, как у него появляется тенденция к превращению не только в незаконную и абсолютную власть, но и в постоянную систему. И в самом деле, как можно надеяться, что те, кто проводил его в жизнь, «вновь сольются с остальной частью людей, когда у них появилось столько врагов? Как не бояться мести, когда они совершили столько преступлений? Как не воспользоваться порожденным тиранией Террором для того, чтобы увековечить тиранию?» А затем «те, кто управляет Террором, сами начинают трепетать»; в конечном счете страх испытывают все; даже если предположить, что угнетение и Террор должны лишь гарантировать свободу, подобная власть всегда приводит к развращению, она развращает и тех, кто ее отправляет, и тех, кто ее терпит. Когда эта власть созреет для того, чтобы вернуть Нации свободу, может оказаться, что Нация уже будет не в состоянии ее воспринять.

«Когда Террор насаждают во имя свободы, он не только делает людей безразличными к свободе; он заставляет ее ненавидеть и превращает эту ненависть в болезнь не только неизлечимую, но и наследственную: отцы передают ее детям под именем осторожности, трусости и рабства»³⁰.

Взятая вне контекста, речь Тальена воспринимается в качестве первых подступов к размышлениям о Терроре как о *системе власти*, о его политических и психологических механизмах. Речь поражает своим абстрактным характером: в ней нет ссылок ни на какие конкретные события Революции, которые объясняли бы установление Террора. Между тем этот текст усеян аллюзиями: в нем есть намек на закон о подозрительных, хотя сам он явно и не назван; говорится о «кровожадных людях», но нет никаких имен; складывается впечатление, что Тальен обходит проблему личной ответственности за преступления Террора. Налет наигранной сентиментальности (Террор испортил «отношения между полами... Искусство заставить мужчин трепетать — это верный способ развратить и принизить женщин») сочетается с весьма абстрактными предложениями (подтвердить сохранение революционного порядка управления вплоть до заключения мира, но осудить «подавляющий всех террор» как «самое могущественное орудие тирании» и поставить «правосудие в порядок дня»). Однако в Конвенте все восприняли эту речь в совершенно определенном контексте и оценили ее истинную важность. Тальен — «чувствительная душа»? Как можно в это поверить: не прошло и нескольких дней с тех пор, как он призывал

³⁰ Все цитаты взяты из речи Тальена на заседании 11 фрюктидора II года (Moniteur. Vol. 21. P. 612-615).

Конвент выступить 10 фрюктидора против «робеспьеристов», подобно тому как ранее тот выступил против самого Робеспьера?

«Правосудие в порядок дня»... Никто не оспаривал самого принципа, но имел ли Тальен в виду отмену закона о подозрительных? Что же тогда останется от революционного порядка управления, к которому он имел непосредственное отношение? Нет ли в попытке связать преступления и ужасы Террора с этим все еще сохраняющим свою силу законом намека на то, что «час, когда тиран погиб на эшафоте», не стал концом Террора? Не является ли это маневром, позволяющим достать из архива заведенное на Террор дело, а затем и устроить над ним суд? Безусловно, Тальен никого не назвал по имени; он лишь упомянул «робеспьеристов» и был достаточно осторожен, чтобы подчеркнуть: «Конвент был жертвой системы Террора и никогда — сообщником». Тем не менее Тальен взял слово сразу же *после* заявления Лекуантра, потребовавшего предоставить ему завтра время для выступления с обвинениями против «семерых наших коллег; трое из них — члены Комитета общественного спасения, а четверо — Комитета общей безопасности». Основной удар был, таким образом, запланирован на следующий день. Без сомнения, Тальену лучше подходят такие определения, как манипулятор, интриган, «флюгер», нежели философ или политический аналитик. И все же, хотя нет уверенности, что он сам писал свою речь от 11 фрюктидора, она ставит проблемы, без которых с тех пор не могли обойтись никакие размышления о Терроре.

«*Охвостье Робеспьера*». «Невозможно, чтобы Робеспьер совершил все это зло один», — утверждает памфлет «*Охвостье Робеспьера*». Название данного пасквиля происходит от ходившего в Париже слуха, по которому Робеспьер перед смертью сказал: «Вы можете отрубить мне голову, но я оставляю вам свой хвост...»³¹ Процесс по делу Робеспьера прошел 10 термидора, однако суд над *робеспьеризмом* еще предстояло провести. «Вы свергли Робеспьера,

³¹ La Queue de Robespierre, par Felhémési. Брошюра была опубликована 9 фрюктидора II года. Ее автор, Жан-Клод Мее (Jean-Claude Ménéé), — анаграмма весьма прозрачна — был весьма любопытным персонажем, одним из тех политических авантюристов, которые процветали в годы Революции. Родившись в 1760 году, этот сын довольно известного хирурга около 1789 года стал полицейским осведомителем. Шпионил за первыми эмигрантами. Вернувшись во Францию, в 1792 году он стал заместителем секретаря Парижской коммуны и, судя по всему, поощрял сентябрьские убийства. К этой эпохе восходят его контакты с Тальеном; под его покровительством и за его счет Мее публиковал после 9 термидора яростные антитеррористические памфлеты. (Не стоит исключать гипотезу, что именно он написал речь Тальена от 11 фрюктидора.) Затем он занимал различные посты, служба Фуше и Наполеону, внедрялся в неоякобинские, бабувистские и роялистские круги. Он также был замешан в подготовке убийства герцога Энгленского. См.: Lutaud O. Révolutions d'Angleterre et la Révolution française. La Haye, 1973. P. 264 et suiv.

но вы пока еще ничего не сделали, чтобы уничтожить робеспьеризм», — отмечал в свою очередь Бабеф³².

Опубликованный огромным для той эпохи тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров памфлет «Охвостье Робеспьера» открыто называл имена тех, кто составлял «хвост» этой кровожадной гадины: Барер, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн. Все они были членами Комитета общественного спасения до 9 термидора и продолжали заседать там *после* «великой революции». Иными словами, по совпадению, которое никто не полагал случайным, это были примерно те же имена, которые назовет в своем обвинении два дня спустя Лекуантр.

Проблема *ответственности* проводников этой «системы» была неизбежна: 9 термидора осуществлялось «сверху», было вызвано расколом находившийся у власти группировки, установившей и воплощавшей в жизнь Террор. Однако в равной мере это была проблема правосудия и морали: выявить *ответственных* означало назвать *виновных* в казнях, арестах, доносах и т.д.

На всем протяжении своего извилистого пути и в особенности на каждом принципиальном повороте Революция порождала подозрения и в свою очередь сама питалась ими. Без сомнения, Террор представлял собой кульминацию этой тенденции, которая шла рука об руку с требованием наказать «виновных». Во времена Террора слово «подозрительный» стало одновременно и политической, и юридической категорией, весьма расплывчато определенной законом от 17 сентября, тогда как «надзор» (или, иными словами, доносительство) рассматривался как выражение революционного духа, объединяющего добродетель и бдительность. 9 термидора не положило конец «эпохе подозрений», но открыло ее новый этап. Подозрения отныне питались злопамятностью, ненавистью и желанием отомстить, накопившимися за время Террора и наконец получившими возможность реализоваться.

Дебаты о личной и коллективной ответственности за Террор были столь же запутаны, сколь беспорядочны и бесконечны. Как вычленить *личную* долю ответственности из той, что *анонимно* возлагалась на Террор как на систему власти? По каким юридическим и моральным критериям можно установить ответственность за действия, которые еще вчера были узаконены революционной моралью и революционным правосудием? Как отделить «руководителей» от простых «исполнителей» и где остановиться в стремлении найти и наказать «виновных»? Разве система власти не определяла или, на худой конец, не навязывала формы индивидуального поведения? Как

³² Journal de la liberté de la presse. №10. Мы еще вернемся к Бабефу-«термидорианцу» и его кампании против «террористов» и «кровопийц». Первые употребления терминов «робеспьеризм» и «робеспьеристы» датируются концом термидора — началом фрюктидора.

только дебаты — что неизбежно — погрязли бы в личной мести, сведении счетов и поисках козлов отпущения, они тут же вылились бы в обсуждение проблем функционирования Трора, его институтов, механизмов и кадров.

В обвинениях Лекуантра и в чрезвычайно бурных дебатах, которые заняли два последующих дня, все эти проблемы находятся, если так можно сказать, *in pice*. Вне всякого сомнения, Лекуантр не был «большим политиком» (когда во время дебатов было брошено обвинение в том, что он контрреволюционер, Колло д'Эрбуа иронически заметил, что «контрреволюционер не был бы столь глуп, чтобы осмелиться на такие обвинения»). К вопросам о личной ответственности — и без того запутанным — Лекуантр добавил хаос своих собственных идей. Его обвинение охватывало семь человек: Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера (членов Комитета общественного спасения); Вадье, Амара, Вулана и Давида (членов Комитета общей безопасности). Лекуантр был человеком легко управляемым, и за его спиной наверняка скрывались Тальен и Фрерон. Обвинение Лекуантра было сверстано на скорую руку и слабо подтверждалось документами; в нем оказались перемешаны весьма общие обвинения и сугубо конкретные факты. В конечном итоге его обвинения сводились к четырем основным пунктам.

1. Лекуантр обвинял семерых членов Комитетов в том, что они создали Трор: «угнетали посредством трора всех граждан Республики, подписывали и заставляли исполнять незаконные распоряжения об арестах, хотя против подавляющего большинства не было выдвинуто никаких обвинений, не было никаких поводов для подозрений, не было никаких доказательств их вины, перечисленных в законе от 17 сентября; [...] они покрыли Францию тюрьмами, сотнями бастий, [...] погрузили всю Республику в траур, несправедливо и без всякого повода бросив в тюрьмы более сотни тысяч граждан: и больных, и восьмидесятилетних стариков, и отцов семейств, и даже защитников отечества; [они] окружили себя толпой агентов, одни из которых имели запятнанную репутацию, а другие опорочили себя преступлениями; [их] наделили неограниченными полномочиями [и] подавляли любое недовольство, всячески их поддерживая».

2. Семь человек обвинялись в том, что они были сообщниками Робеспьера в «тирании и угнетении» Конвента и «распространили систему трора и угнетения даже на членов Национального Конвента, мучая их и встречая многозначительным молчанием слух о том, что Комитетом общественного спасения подготовлен список из тридцати членов Национального Конвента, которых планировалось бросить в тюрьмы и впоследствии *принести в жертву*; в том, что они

* В зародыше (*лат.*).

совместно с Робеспьером уничтожили свободу мнений в стенах Национального Конвента, не позволяя обсуждать какие бы то ни было законы, представленные Комитетом общественного спасения»; и, наконец, в том, что они навязали Конвенту закон от 22 прериаля, в разработке которого они участвовали.

3. Эти семеро объявлялись виновными в том, что они своим *молчанием* задержали освобождение Конвента от тирании Робеспьера, поскольку на протяжении двух месяцев скрывали его отсутствие в Комитете общественного спасения, равно как и «стремление этого заговорщика обратить все в хаос, обзавестись сторонниками и привести государство в упадок». С другой стороны, 8 и 9 термидора они не приняли мер для того, чтобы нанести удар по заговорщикам, и в особенности по Коммуне.

4. Следовало длинное перечисление конкретных дел, в которых были замешаны эти семеро: они были причиной многочисленных злоупотреблений Революционного трибунала или покрывали их (манипуляции во время суда над Дантоном; изобретение «заговора в тюрьмах», фальшивые показания «наседок» и т.д.); они спасали «виновных», в частности некоторых эбертистов; они прибегали к услугам признанных контрреволюционеров (среди прочих был назван Бомарше).

Последовавшие за этим дебаты были еще более хаотичными, чем сами обвинения. 12 фрюктидора, после ряда общих опровержений, Конвент постановил «с негодованием отвергнуть» обвинение и вернуться к повестке дня. Вскоре это постановление было отменено по просьбе самих обвиняемых, которые требовали, чтобы Лекуантр представил все документы, касающиеся его обвинения, и настаивали на том, чтобы им было предоставлено право ответить по каждому пункту. Таким образом, на следующий день Лекуантр пункт за пунктом повторил свои обвинения, и на протяжении всего заседания шли ожесточенные дебаты. В них приняли участие как основные ораторы Конвента, так и практически неизвестные депутаты, в общей сложности около пятидесяти человек; некоторые брали слово по несколько раз, а «ропота» и вовсе было не счесть. Так, Конвент «живейшим образом взволновало» предложение Камбона прекратить дебаты и вернуться к повестке дня; Вадье завладел трибуной, вытащил пистолет и принялся угрожать прямо на месте покончить с собой. Без сомнения, Конвент привык к этим жестам на римский лад; разве он не видел, как 9 термидора на той же самой трибуне размахивал кинжалом Тальен? Множество депутатов окружило Вадье и заставило его спуститься с трибуны; другой депутат патетически воскликнул: «Поименное голосование или смерть!» Председатель объявил заседание закрытым, однако в конце концов, среди «шума и величайшего беспорядка», Конвент возобновил дискуссию. Неудивительно, что она то и дело заходила в тупик. Лекуантр

пообещал представить «документы», подтверждающие каждое из его обвинений. Но какими «документами» мог он продемонстрировать, что «Франция покрыта бастилиями»? Он оценивал количество заключенных в сотню тысяч, затем в пятьдесят тысяч. Но кто знал точное количество жертв? Леуантр многое позаимствовал из дела Фукье-Тенвиля, который, находясь в тюрьме, ожидал начала своего процесса. Но кто дал ему доступ к этому делу? И чего стоило свидетельство Фукье-Тенвиля, который сам был одним из главных «виновных», мечтающих свалить с себя всякую ответственность за совершенные во времена Террора преступления?

В ходе дискуссии никто не ставил под сомнение ответственность Робеспьера, его приспешников и восставшей Коммуны. Однако Леуантр подвергся жесточайшим нападкам за то, что слишком далеко зашел в своих обвинениях, которые на деле касались не только этой «семерки»³³. «Речь здесь идет отнюдь не о том, чтобы осудить несколько человек» (Матье). Если эти несколько членов Комитетов, которые «стали чем-то лишь благодаря нам и получили свои полномочия лишь от нас» (Тюрио), будут признаны виновными, на ком эти обличения должны будут остановиться? Ведь это повлечет за собой ответственность всего революционного правительства, всех членов Комитетов. Так было признано, что «обвинительный акт касается не тех семерых человек, о которых в нем идет речь, он направлен против всех, кто составлял оба Комитета, он направлен против нас» (Камбон). С того момента, как полномочия Комитетов стали каждый месяц продлеваться, обвинить можно было весь Конвент: «вы все виновны» (Камбон). Конвент сделался бы «подозрительным в глазах народа», который мог бы задаться вопросом о том, «достоин ли тот его представлять» (Тибодо). Критиковать Конвент, обвиняя его в том, что он терпел тирана и притеснения, — не означает ли это критиковать сам народ? «Поскольку так же, как и Конвент, притесняли всю Францию, следует обвинить и народ в том, что он не восстал» (не обозначенный в протоколе депутат). «Это обвинение направлено против Конвента, это французский народ хотят отдать под суд, поскольку он терпел тиранию подлого Робеспьера» (Гужон).

Хотят отдать под суд Конвент, Нацию и в конечном счете Революцию. «Обращая взгляд в прошлое, я вижу лишь ошибки и совершенные несправедливости. Я пытаюсь определить истоки этого,

³³ Все цитаты почерпнуты из отчета о дебатах, проходивших 12 и 13 фрюктидора II года (Moniteur. Vol. 21. P. 620-642). В скобках мы будем указывать имя выступавшего. Отметим несколько ближайших последствий этой дискуссии. Двумя днями позже, в момент обновления на треть Комитета общественного спасения (близость во времени этих обвинений и выборов в Комитет, вне всякого сомнения, не случайна), Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа подали в отставку; Барер, «которому выпал жребий», также был заменен. 17 фрюктидора Тальен, Фрерон и Леуантр были исключены из Якобинского клуба.

и я нахожу их в событиях, неотделимых от великой революции» (Гупийо [из Фонтене]); «Это Революцию обвиняют» (Феро); «Народ хотят заставить поверить в то, что все, сделанное со времен создания Комитетов общественного спасения и общей безопасности, было совершено посредством Террора» (Камбон). «Решительные меры» прекрасно послужили отечеству; объединять их в одно целое под именем Террора означает не отдавать себе отчета в обстоятельствах того времени. «Не стоит забывать: то, что хорошо в одних обстоятельствах, плохо в других» (Лежандр). Должны ли мы преследовать сегодня «тех, кто поджигал замки в начале Революции, или устраивать суд над 10 августа» (Лежандр)? Следует ли распространить эти обвинения и на представителей в миссиях, «поскольку среди них нет ни одного, который не был бы вынужден отдавать распоряжения об арестах» (Камбон)? Следует ли открывать ворота тюрем, когда «разбойники из Вандеи» угрожают всем сопредельным департаментам (Гарнье [из Сента])? Подавляющее число арестов, а «их было далеко не сто тысяч», производилось революционными Комитетами. Приписывать их все семи членам Комитетов смешно, приговорить их всех разом будет контрреволюцией (Бурдон [из Уазы]). Во имя какой справедливости и какого равенства высказываются обвинения, которые, выходя за пределы тех или иных действий, оказываются обращениями против всей эпохи Революции и соответственно против Революции в целом? «Против чего направлены главные обвинения? Против многого, что совершалось во исполнение законов; и я спрашиваю вас, если кто-то немного и отклонялся от законов для того, чтобы поддержать революционное движение и спасти отечество, отправите ли вы на эшафот того, кто спас свободу?» (Тюрио).

Обвинения, касающиеся 9 термидора, — в том, что с подготовкой «революции» слишком затянули, а затем проводили ее с большим количеством колебаний, — воспринимались как особенно несправедливые, причем главным образом самими обвиняемыми. Не были ли эти семеро творцами «свержения тирана», не они ли сыграли решающую роль в тот памятный день? Их выступления в ходе дискуссии содержат множество подробностей того кризиса, который разразился в Комитетах в предшествовавшие падению Робеспьера недели, а также разворачивавшихся в решающие дни 8 и 9 термидора событий. Напротив, основные проблемы, объяснение причин, сделавших возможной «тиранию», возвышение Робеспьера и его господство над Конвентом, замалчивались, в изрядной степени растворенные в потоке более или менее нелепых фактов. Ограничились тем, что признали: та стратегия, которая была применена в термидоре, оказалась лучшей; была использована первая же возможность для «свержения тирана». «Если бы Робеспьер был атакован двумя неделями ранее, весь Конвент и

свобода были бы удушены» (Бурдон [из Уазы]). Так выжидание и молчание превратились в осторожность. «Следовало сражаться не столько с Робеспьером, сколько с угнетавшей народ тиранией, которая могла продолжаться и после его смерти» (Гупийо [из Фонтене]). Без сомнения, многие теперь похвалялись, что всегда были яростными антиробеспьеристами: даже сам Лекуантр утверждал, что на протяжении нескольких месяцев готовил обвинения против Робеспьера; но почему же он и все остальные предпочитали молчать? «После смерти Цезаря десять тысяч римлян могли сказать, что это им принадлежал план, который Брут воплотил в жизнь» (Гупийо [из Фонтене]). Устроить суд над 9 термидора означало принизить весь Конвент, обвинить его в том, что он не только терпел тирана, но и — поскольку боялся и молчал — оказался его сообщником. Чтобы избавиться от этих неприятных воспоминаний и снять с себя всякое обвинение в пособничестве «тирану», Конвент должен был создать героический образ самого себя. Невзрачная история 9 термидора для этого не подходила, нужна была славная легенда: «Когда вы начали битву с тираном, артиллерия мошенников была размещена по всем кварталам; но пусть никто не льстит себе тем, что его вклад в переворот был больше, чем ваш; победу одержали ваша смелость и ваша добродетель, Конвент и весь народ, и если кто-либо скажет, что его вклад больше, чем ваш, что вы могли это сделать гораздо раньше, он обманет историю и последующие поколения» (Колло д'Эрбуа).

То, что подобная дискуссия могла состояться, уже само по себе показывает, что выход из Террора реально начался. Конвент обрел свободу слова. В рамки этой же свободы вписывалось и углубление политических противоречий. Лекуантра не смогли остановить; Тальен и Фрерон были исключены из Якобинского клуба, но для них это уже не влекло за собой никакого риска. Напротив, исключение благоприятствовало смене курса и соответственно политической карьере. Тем не менее ход дебатов показал, какой властью еще обладало наследие прошлого. Начавшись с «обвинения», они потонули в подозрениях, выведивших на главный вопрос — об индивидуальной ответственности. Старые рефлексы были еще живы: Лекуантра обвинили в том, что он контрреволюционер и находится на службе у роялистов; требовали даже его ареста; ораторы обвиняли друг друга в том, что они «заносят меч над головами представителей народа», хотят воскресить «систему Робеспьера» и установить «новую тиранию». Конвент был уподоблен Тальеном *гладиаторской арене*. Дискуссия завершилась официальным постановлением, провозглашающим обвинения клеветническими; «решение было поставлено на голосование и принято *единогласно* под гром аплодисментов» (выступление Камбона). Мгновенно обретенное единство Конвента едва ли могло скрыть разногласия, которые

продолжали углубляться по мере того, как изменялось соотношение сил. Отметая обвинения Лекуантра, Конвент не только освобождал семерых обвиняемых от всякой ответственности за Террор; на самом деле, он отказывался открывать дискуссию из страха, что должен будет со временем признать ответственность всех членов Комитетов, представителей в миссии, Конвента в целом, так и не восставшего народа, узаконившей Террор Революции. Эта аргументация черпала силы не столько в логике, сколько в призыве к солидарности и в особенности в инстинкте самосохранения. Делая акцент на чувстве коллективной вины, она подчеркивала, что среди депутатов Конвента нет никого, кто мог бы, положа руку на сердце, объявить себя невиновным, кто не запятнан Террором — если не своими действиями, так своим молчанием. Ответственность за Террор была тем самым возложена на «отвратительного тирана» и на «события, неотделимые от великой революции». Иными словами, на анонимную и безликую систему подавления. Оправдание семерых депутатов в реальности показывало полную с ними солидарность. Возникшая альтернатива — или виноваты все, или никто, разве что анонимная система — была несостоятельна ни с моральной, ни с юридической точки зрения. Она не учитывала различной степени ответственности за действия, решения, распоряжения. Она полностью находилась в русле динамики политических событий. По всей стране началась охота на виновных, на «террористов» и «кровопийц». Должен ли был Конвент взять под защиту все политические кадры Террора, всех мелких «угнетателей» и «доносчиков», на которых обратилось отмщение на местном уровне? Должен ли он был прекратить расследование по делу Фукье-Тенвиля, который и из тюрьмы не переставал заявлять, что всегда действовал в рамках строгого уважения к законности, во исполнение решений Комитетов и Конвента? На смену времени коллективной ответственности пришло время разногласий. Логика политической борьбы требовала *одновременно* и осудить Террор как «систему власти», и покарать «охвостье Робеспьера», «виновных», названных поименно.

В ходе дебатов 12 и 13 фрюктидора Террор был назван *системой власти*; обсуждалась легитимность Комитетов и законов. А 22 фрюктидора в Революционном трибунале начался суд над 94 нантскими нотаблями, за которым последовал суд над Революционным комитетом Нанта. Вся Франция узнала о том, какими жестокостями *реально* сопровождался Террор в Нанте. Увидела, как после нескольких недель разоблачений 3 фримера III года Конвент проголосовал — и вновь *единогласно* (два голоса «за» были поданы с оговорками) — за отдачу под суд Каррье, непосредственно участвовавшего в Нантских событиях. 7 нивоza была создана комиссия для изучения возобновленных обвинений Лекуантра, которая должна была высказаться по поводу «поведения

представителей народа: Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера». В представленном Саладеном докладе этой комиссии был сделан вывод о прямой и косвенной ответственности обвиняемых за Террор, формирование его системы и его преступления.

«ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?»

«Поставить правосудие в порядок дня»

«Мудрость общества должна прибегнуть к помощи вашей энергичной добродетели, а вам предстоит преумножить ее, истребив все остатки узурпации национальной власти, [...] вернув патриотам свободу и доверие, которых их лишили возведенные в систему уловки; поставив непреклонное правосудие на место бессмысленного Террора; напомнив об истинной морали, должной заменить лицемерие, и отправив в могилу сообщников развращенных политиков и других живых мертвецов, обременяющих свободную землю»³⁴.

На следующий день после 9 термидора власти заявили, что стремятся к правосудию, и торжественно пообещали *«поставить его в порядок дня»*. Ни у кого не было сомнений: это означало разом отказаться от *поставленного в порядок дня Террора*, столь же торжественно провозглашенного 5 сентября 1793 года. Таким образом, «свержение тирана» приобретало характер кардинального поворота; оно должно было завершить эпоху, превратившую репрессии в систему власти.

Поставить правосудие в порядок дня... Это казалось более или менее расплывчатым обещанием на будущее, однако оно должно было безотлагательно пылиться в конкретные политические меры, отрицающие наследие Террора, которое можно было свести к трем проблемам:

- что делать с юридической и институциональной структурой, унаследованной от Террора?
- что делать с переполнявшими тюрьмы заключенными?
- что делать с политическими кадрами, скомпрометированными участием в репрессиях?

Без сомнения, такое деление схематично: на самом деле три проблемы составляли одну. Это наследие приходилось ликвидировать тем более деликатно, что, как мы видели, данная задача возлагалась на Конвент, который меньше года назад провозгласил, что «Террор будет поставлен в порядок дня», а затем

³⁴ Barère B. Rapport au nom des Comités de salut public et de sûreté générale // Moniteur, Vol, 21. P. 369

одобрял деятельность наиболее экстремистских представителей в миссиях. Так к сложнейшей проблеме моральной, политической и юридической ответственности за репрессии добавлялась еще более деликатная задача отделения «террористических» законов и институтов, которые должны быть осуждены и ликвидированы, от собственно революционных репрессивных механизмов, которые следовало сохранить, несмотря на то что «террористы» злоупотребляли их использованием. Как провести ту, нередко трудноразличимую линию, которая отделила бы Террор, «несправедливый и достойный осуждения», от революционного правосудия, чьи намерения были столь же чисты, сколь и патриотичны, невзирая на порожденные усердием перегибы? На эти политические вопросы приходилось давать исключительно политические ответы. Размах и быстрота демонтажа Террора как системы власти, неотделимой от повседневных репрессий, во многом зависели от той скорости, с которой смогло бы воплотиться в жизнь обещание «поставить правосудие в порядок дня». Сам лозунг был принят после 9 термидора с единодушным энтузиазмом, однако конкретные меры, шаг за шагом проводимые в жизнь, очень быстро стали предметом ожесточенных столкновений, в которых происходила поляризация политических сил. К концу II года для одних политика «постановки правосудия в порядок дня» зашла слишком далеко: ее поборники выпускали из тюрьм «аристократов» в чрезмерно большом количестве, и те начали подавлять «патриотов»; всех стали именовать не иначе как «новыми снисходительными», «умеренными», «новыми правыми». Для других — вскоре их начнут называть *реакционерами*, однако сами они все более полагали себя «истинными» наследниками 9 термидора — *правосудие никогда не может зайти слишком далеко*, и те, кто противостоит его укоренению, — не иначе как замаскировавшиеся *робеспьеристы*, «*террористы*» или даже *якобинцы*. Чем больший накал приобретала политическая борьба, тем агрессивнее, хотя и не всегда яснее, становилась и лексика. Участники политических баталий так и не смогли избавиться от амбивалентности и неопределенности, характерных для новой политической ситуации³⁵, которые особенно

³⁵ Впрочем, амбивалентность и терминологическая путаница характерны и для литературы, посвященной термидорианскому периоду. Так, очень часто разделяют «термидорианцев» и «монтаньяров», забывая о том, что последние, притом что их и без того не просто четко очертить как политическую группировку, в равной мере были и «термидорианцами» в том плане, что они отнюдь не оспаривали «революцию 9 термидора» и осуждали Робеспьера и «робеспьеризм». Термины «левые термидорианцы» и «правые термидорианцы» кажутся более адекватными; однако они страдают от общеизвестной амбивалентности противопоставления левых и правых, которое приходится постоянно уточнять по состоянию на то или иное конкретное время. Кроме того, оно крайне редко использовалось в ту эпоху. К концу II года политический водораздел проходил по линии противопоставления якобинцев и антиякобинцев (или

ярко проявились в организации новой, по большей части импровизированной, юридической системы.

В первую очередь Конвент единодушно и «под гром аплодисментов» отменил принятый им ранее декрет, разрешающий обоим Комитетам арестовывать представителей народа до того, как те будут выслушаны депутатами, — поскольку этот пагубный декрет *«был навязан Конвенту людьми, привыкшими обманывать правосудие»*. Отмена этого декрета, обеспечившая каждому депутату минимальный объем парламентского иммунитета, была элементарнейшей предосторожностью, выросшей из опыта Террора (это новое взятое на себя обязательство Конвент соблюдал в течение семи месяцев, вплоть до репрессий против ряда депутатов, последовавших за волнениями 12 жерминаля)³⁶.

14 термидора, и вновь «под гром аплодисментов», Конвент отменил закон от 22 прериала — и символ, и юридическую базу «великого Террора». Казалось, что аплодисментами депутаты хотят изгнать саму память об их же собственном голосовании, одоббившем этот «кровавый закон», рассматривавшийся отныне как самое яркое доказательство воцарившейся над Конвентом «тирании». Не снижая темпа, Конвент расправился еще с одним символом: было принято решение об аресте Фукье-Тенвиля и предании его суду Революционного трибунала. И это несмотря на то, что Фукье-Тенвиль проявил крайнее усердие и присущие ему деловые качества 10 и 11 термидора, взяв на себя юридические аспекты казни Робеспьера и его сообщников. «Весь Париж требует от вас казни, справедливо заслуженной Фукье-Тенвилем. Я требую, чтоб он отправился в преисподнюю искупать пролитую им кровь. Я требую принятия декрета о его аресте». Похоже, что высказавшийся таким образом Фрерон позабыл, что в этой «пролитой крови» была и кровь Робеспьера. За этим последовал суд над Фукье-Тенвилем, который не упустил эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он неизменно придерживался строжайшей законности.

И только 23 термидора после многих колебаний был реорганизован Революционный трибунал. Уже 11 термидора раздались первые голоса, требовавшие приостановления полномочий Трибунала, в котором было немало ставленников Робеспьера. «Когда его святейшество — как сторонники порой называли этого католического или, вернее, святотатственного короля, — указывал на кого-либо, присяжные выносили свой вердикт, и приговор исполнялся» (Тюрио). Решение о приостановлении полномочий было принято на волне

даже «террористов» и «антитеррористов»). Нам так и не удалось выработать единую и удовлетворительную терминологию; соответственно приходится использовать по большей части терминологию того времени, которая в конечном итоге лучше всего передает его переменчивость и полный страстей политический климат.

³⁶ Заседание 13 термидора. См.: Moniteur. Vol. 21. P. 367.

всеобщего энтузиазма — и через несколько часов отменено. Дело в том, что Бийо-Варенн, присланный крайне встревоженным Комитетом общественного спасения, смог убедить Конвент, что приостановление полномочий Трибунала, за которое тот только что проголосовал, поможет лишь спасти... «заговорщиков». Ведь Трибунал с той же покорностью, с которой он занимался своей работой до 9 термидора, ныне вершил суд над членами «мятежной Коммуны».

Полезность самого института никем под вопрос не ставилась. 11 термидора Барер от имени Комитета общественного спасения восхвалял «этот спасительный институт, уничтожающий врагов Республики и очищающий почву свободы... Тем самым этот институт заслуживает огромного уважения; однако на людей, которые его составляют, последовало много жалоб со стороны Национального Конвента. Среди ваших задач — пересмотр состава нынешнего Трибунала, однако нужно провести его с той мудростью, которая улучшает, не ослабляя, и уравнивает, не уничтожая». По сути дела, новая форма организации Трибунала была основана на законах, предшествовавших закону от 22 прериала. Однако было и существенное отличие: отныне Трибунал должен был высказываться в своих решениях по «вопросу о намерениях»; иными словами, он мог выносить приговор лишь тем обвиняемым, которые совершили свои преступления с *контрреволюционными намерениями*, тогда как все остальные преступления и правонарушения возвращались в сферу деятельности обычного уголовного правосудия. Состав Трибунала уменьшался до двенадцати судей и тридцати присяжных, которые выбирались по всей Франции по представлению депутатов и должны были обновляться каждые три месяца. Обвиняемым давались определенные гарантии со стороны закона: процесс проводился публично, предоставлялся защитник, давалась возможность заявить отвод одному или нескольким присяжным; во время слушания дела обеспечивалось право отвечать на показания каждого свидетеля. Из компетенции Революционного трибунала изымались преступления против безопасности государства и Национального Конвента, дела о халатности и растратах, по которым проходили члены исполнительных комиссий, а также судьи и общественные обвинители уголовных судов. Специальные «революционные» судебные органы в департаментах, особенно отличавшиеся своим рвением в эпоху Террора, были распущены; отправление правосудия переходило исключительно в руки уголовных судов, которые могли, однако, судить ряд преступлений «революционно».

Во время дискуссии по этому проекту реформы было тем не менее сделано немало оговорок и высказан ряд опасений. Не поощрит ли это «умеренность»? «К чему вам многотомный свод законов, который даст оружие в руки крючкотворам и предоставит виновным способы остаться безнаказанными? Вспомните, и этого будет достаточно,

Трибунал в его изначальной чистоте; одним словом, не забудем о благотворном воздействии, который он производил, и не будем подрывать его силы». Конвент пренебрег этими возражениями, предлагавшими, если так можно выразиться, вернуться к «чистым истокам» Террора. Этой реформой Конвент продемонстрировал глубочайшую двусмысленность: он осудил Трибунал как инструмент Террора и символ произвола, однако, по сути, ограничил это осуждение деятельностью и составом Трибунала после принятия закона от 22 прериаля. Сам институт, один из главных элементов террористической машины, сохранялся. Тем не менее введение статьи о намерениях и провозглашенное желание соблюдать основы юридической процедуры (в частности, права обвиняемого) обещали менее репрессивную практику³⁷.

Обновленный и преобразованный Трибунал начал свою работу 25 термидора. В речи по случаю его открытия Омон, поставленный после 9 термидора во главе гражданской, полицейской и судебной власти, подчеркнул, «что еще не пришло время ослаблять эту пружину Революции, без которой сверхъестественная храбрость защитников отечества принесла бы им одни лишь бесполезные победы». Между тем он жестко настаивал на том, что исчезновение «ставленников тирана открывает новую страницу... Вместе с ними должен исчезнуть и тот суд, который их кроваваждный дух превратил в инструмент смерти; под их кошмарным влиянием Трибунал стал внушать больший ужас невиновным, нежели преступникам». Обновленный Трибунал более не судил людей группами, однако до конца II года он все же вынес шестнадцать смертных приговоров: часть из них за контрреволюционные намерения, другие — за пособничество вандейцам и даже за преступления, восходящие к «федералистскому мятежу»*. И если можно сказать, что эти приговоры подчеркивают преемственность данного института, то другие вписываются в общее желание порвать с Террором и, несомненно, увеличивают объем свобод и уважение к закону. С введением публичного предварительного допроса и с предоставлением обвиняемому адвоката судебная процедура действительно изменилась. За то же время 92 человека было

³⁷ О реформе Революционного трибунала см. заседания Конвента от 11 и 23 термидора (Moniteur. Vol. 21. P. 335 et suiv., 448 et suiv.; *Walton H. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris. Paris, 1881. T. V. P. 260-274*). Возражения были сформулированы Дюэмом, яростно обрушившимся в Якобинском клубе на «умеренность» и выступавшим за усиление репрессий.

* «Федералистским мятежом» депутаты Конвента (а вслед за ними и часть историков) называли мятежи в Бретани, Нормандии, Франьи-Конте, части Прованса и Аквитании, последовавшие за парижским восстанием 31 мая — 2 июня 1793 г. и изгнанием из Конвента части депутатов. Хотя наделе «жирондисты» отнюдь не призывали к децентрализации власти, обвинение в «федерализме» высказывалось в их адрес по той причине, что они резко выступали против чрезмерного влияния Парижа.

оправдано (среди них 42 активиста секций, в большей или меньшей степени замешанных в восстании 9 термидора под руководством Коммуны). Чрезвычайно вольная и либеральная интерпретация «статьи о намерениях» особенно ясно показывает новую ориентацию этой «пружины революционного правосудия».

Приведем здесь лишь несколько примеров. Так, 24 фрюктидора публика присутствовала на процессе некой Катрин Врете, обвиняемой в том, что она говорила будто бы «те, кто погубил тирана, — это м... и ублюдки, сами заслуживающие смерти». После того как свидетели дали показания о том, что гражданка Врете выкрикнула эти слова «в приступе гнева» и обвиняемая принесла свои извинения, Трибунал оправдал ее за отсутствием «контрреволюционных намерений». 30 фрюктидора перед судом предстал офицер, который имел несчастье крикнуть на улице: «Да здравствует король, солдатский котел и горох!» В свое оправдание он смог привести только одно смягчающее вину обстоятельство: ведя эти «контрреволюционные речи», он был мертвецки пьян. Трибунал сделал ему суровое внушение, отметив, что «человек, в котором течет кровь патриота, даже будучи пьяным, не станет вести речи аристократа», однако в конце концов оправдал его, «принимая во внимание, что тот действовал без контрреволюционных намерений». Тем не менее все эти незначительные дела были отнесены на задний план важным процессом, ознаменовавшим окончание II года, — процессом девяноста четырех жителей Нанта, превратившимся в процесс Революционного комитета Нанта и Каррье. Кроме этих непосредственных обвиняемых Трибунал вынужден был судить и Террор как систему, и его сторонников. Несколько месяцев спустя придет очередь суда над Фукье-Тенвилем — еще одного прогремевшего процесса, обнажившего механизмы Террора³⁸.

Однако освобождение заключенных из переполненных тюрем — наиболее наглядное проявление стремления «поставить правосудие в порядок дня» — было доверено отнюдь не реформированному Революционному трибуналу. Начиная с 15 термидора, с первых заседаний секций после падения Робеспьера, родственники и друзья заключенных требовали их освобождения, обвиня наблюдательные комитеты в незаконных арестах. Конвент поддался их нажиму и проголосовал 18 термидора за ряд мер, ознаменовавших решительный поворот. Комитету общей безопасности было поручено «выпустить на свободу всех граждан, арестованных как

³⁸ См.: A.N. W 447; W 450; *Walton H.* Op. cit. T. V. P. 321; T. VI. P. 166. Валлон составил полный перечень обвинительных и оправдательных приговоров, вынесенных Революционным трибуналом с 1 фрюктидора II года по 8 нивоза III года (*Ibid.*, T. VI. P. 166). Трибунал был окончательно упразднен 12 прериала III года по окончании процесса Фукье-Тенвиля. После прериальского восстания репрессии проводились уже не Революционным трибуналом, а Военной комиссией или уголовными судами.

подозрительные по причинам, не предусмотренным в законе от 17 сентября 1793 года» (законе о подозрительных). Конвент поставил в известность представителей в миссиях, что «неограниченные полномочия, которыми [они] наделены», позволяют им «освобождать граждан, арестованных другими представителями народа по незначительным поводам». И наконец, он постановил, что причины ареста и ордера на арест должны быть предъявлены заключенным (или же их родственникам и друзьям) соответствующими властями (Комитетом общей безопасности, представителями в миссиях, наблюдательными комитетами). Последнее решение вызвало противодействие ряда якобинских депутатов. Фэйо посчитал его совершенно бесполезным: пусть сами заключенные приводят доказательства своих гражданских добродетелей, проявленных начиная с 1789 года, и смывают тем самым «подозрения», сделавшие их «подозрительными». Это возражение повлекло за собой тираду Тальена: «Надо дать патриотам, вплоть до сегодняшнего дня томящимся в тюрьмах, возможность громко заявить о своей невиновности; быть может, те, кто выступают против этой меры, не хотят, чтобы народ узнал, что многие его защитники были беспричинно арестованы». Тальен настаивал на сохранении «чрезвычайных революционных мер», но лишь затем, чтобы уничтожить «грязные остатки факции Робеспьера»³⁹.

Конвент принял решение открыть двери тюрем. Работа предстояла гигантская; при Терроре в более или менее импровизированных местах заключения содержалось около 500 000 человек; в июле 1794 года в Париже насчитывалось около 7000 заключенных. Тем не менее способы их освобождения после 9 термидора показывают те противоречия, которые возникали в ходе демонтажа системы Террора. Никакой амнистии провозглашено не было; закон о подозрительных — основная составляющая юридического механизма Террора — не был отменен, и соответственно сохранялась сама категория «подозрительный». В то же время статьи этого закона были настолько расплывчаты, что их можно было интерпретировать как угодно — «энергично» или «снисходительно». Причины ареста нередко оказывались столь же расплывчаты, сколь и вызвавшие их обвинения. Настаивать на соответствии этих причин закону означало открыть дорогу произволу. Таким образом, отныне Комитет общей безопасности располагал властью практически по личному усмотрению отпускать заключенных на волю, ссылаясь на тот же самый закон, благодаря которому они были арестованы. В

³⁹ См.: Aulard A. Recueil des actes du Comité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mission, Paris, 1904, T. XV. P. 678. Помимо этого, в том же декрете Конвент потребовал, чтобы Комитет общественного спасения был поставлен в известность о решениях представителей народа, находившихся или находящихся в миссиях; это было одно из предварительных условий отмены незаконных арестов.

департаментах же размах освобождения заключенных во многом зависел от степени «умеренности» представителя в миссии.

Первые освобождения из парижских тюрем сразу же вызвали волнения. Они положили начало цепной реакции, сходной с реакцией в стенах Конвента: они подпитывали политические конфликты и провоцировали как ожидания, так и страхи. Надеждам и энтузиазму тех, кто превозносил «правосудие, поставленное в порядок дня», противостояли страхи и недоверие тех, кто клеймил «снисходительность», игравшую на руку «аристократам» и другим врагам Республики.

«Насколько же по-другому выглядит нынче город Париж по сравнению с тем временем, которое предшествовало свержению нового Тиберия. Повсюду царило угрюмое молчание — предвестник смерти; друг не доверял другу, отец — своим детям; ныне же веселье и радость написаны на лицах всех граждан... *Да здравствует Конвент! Да здравствуют наши достойные представители!* Такие крики раздавались вчера на улице Турнон, когда Тальен в Люксембургском дворце заставил даровать свободу многим несправедливо арестованным патриотам. Туда стекались толпы народа, люди благословляли друг друга, обнимали друг друга, обнимали тех, кто только что вышел на свободу. «Не волнуйтесь, мои друзья, — сказал Тальен тем, кого он не смог пока что освободить из мест заключения, — вам не долго осталось тосковать по свободе; лишь виновные не смогут воспользоваться этим благодеянием. Я еще вернусь сегодня, я вернусь и завтра, [...] и мы будем работать день и ночь, пока последний несправедливо арестованный патриот не вернется к своей семье...» Слезы радости и чувствительности текли из всех глаз, и Конвент осыпали тысячами и тысячами благословений»⁴⁰.

Образы, без сомнения, умиленные; по большей части их распространяли те журналисты, которые не заглядывали дальше первых последствий новой политики. Но каков реальный масштаб этих освобождений? Кто эти «несправедливо арестованные патриоты» и по каким критериям их освобождать? Вопросы тем более насущные и непростые, что освобождение проходило в условиях, обрекавших его на неразбериху и лишавших прозрачности. Постоянно повторявшиеся обращения Комитетов общественного спасения и общей безопасности содержат немало признаков той лихорадочной атмосферы, которая воцарилась после декрета от 18 термидора: толпы людей осаждали приемные Комитетов, чтобы как можно

⁴⁰ Gazette historique et politique de la France et de l'Europe. 23 thermidor an II.

быстрее раздобыть ордер на освобождение родственника или друга. «Вскоре, — обещал Барер 24 термидора, — следы личной мести исчезнут с территории Республики. Но наплыв граждан обоих полов, приходящих к дверям Комитета общей безопасности, может лишь задержать столь полезную для граждан работу... Так что мы призываем соотечественников положиться на гражданское рвение представителей народа в вынесении решений о судьбах заключенных и их освобождении... Здесь нет речи ни об амнистии, ни о милосердии; речь идет о правосудии, равном для всех правосудии». «Комитет [общей безопасности], — заверял Вадье три дня спустя, — без усталости старается прийти на помощь угнетенным патриотам; однако работа задерживается осаждающими его аристократами; множество женщин преграждают в него путь; многие наши коллеги также ходатайствуют в пользу заключенных граждан. Невозможно, чтобы, совершая эту огромную работу, Комитет не допустил нескольких ошибок»⁴¹.

«Огромная работа», вне всякого сомнения. Сильное давление на Комитеты исходило из очень разных политических и общественных кругов. В самом деле, последствия Террора были таковы, что в одних и тех же тюрьмах в одно и то же время находились жертвы его нескольких сменявших друг друга волн, были перемешаны самые разнообразные подозрительные и контрреволюционеры: бывшие принцы и тайно вернувшиеся эмигранты сидели рядом с Келлерманом, победителем при Вальми и усмирителем лионского мятежа, и Гошем, победителем при Ландау; актеры Французского театра находились по соседству с активистами секций, обвиненными в пособничестве «заговору эбертистов»; девяносто четыре нотабля из Нанта ожидали суда вместе с членами Революционного комитета Нанта, арестовавшими и отправившими их в Париж и брошенными в тюрьму за злоупотребление властью. За пять дней, с 18 по 23 термидора, Комитет общей безопасности освободил 478 человек; однако ни эта цифра, ни список вышедших из тюрем заключенных не были преданы гласности; газеты упоминали лишь отдельные случаи, и широко ходили самые противоречивые слухи. Желание все сделать быстро, давление, оказываемое самими депутатами Конвента (они были первыми, кто потребовал освобождения членов своих семей, друзей или протеже, бывших родом из их департаментов), довольно поспешная процедура, сосредоточение права на освобождение в единственных руках — Комитета общей безопасности, вынужденного принимать по каждому случаю решение в соответствии с плохо определенными критериями, — вот причины беспорядочности этой «огромной работы». Отсюда злоупотребления и вызывавшие скандалы промахи — такие, как разоблаченное Вадье освобождение

⁴¹ Moniteur. Vol. 21. P. 439 et 489.

герцога д'Омона, который после декрета Конвента, даровавшего свободу всем земледельцам, выдал себя за Ги, хлебопашца из Омона⁴².

Но даже без этих более или менее неизбежных промахов политика освобождений, проводимая Комитетами, довольно скоро стала вызывать сомнения и противодействие. 23 термидора, в ходе дискуссии по проекту реорганизации Революционного трибунала, Конвент принял предложение якобинского депутата Малларме обязать Комитеты общественного спасения и общей безопасности «публиковать каждую полудекаду список освобожденных граждан». Голосование прошло без обсуждения в ряду множества других поправок — так, словно Конвент не предвидел последствий своего решения. Буря разразилась три дня спустя, 26 термидора. Атмосфера царила очень напряженная, поскольку накануне было беспокойно в собраниях секций: там снова обвиняли революционные комитеты, их «кровавую политику» до 9 термидора, требовали их обновления; с другой стороны, яростная критика обрушилась на «аристократию и умеренных», поднимавших головы. Дебаты в Конвенте довольно хаотичные, как это нередко бывало — проходили в два этапа. Вначале несколько депутатов-якобинцев (в частности, Малларме, Дюэм, Шаль, Левассер [из Сарты]) обрушились на «аристократию», поскольку только она могла выиграть от политики освобождений из тюрьем. Яростно обличались два показательных дела — герцога д'Омона и герцога де Валентинуа, которые, гордясь своим освобождением, стали появляться в общественных местах. Комитет общей безопасности признал, что это были очевидные промахи, «на которые не хватило бдительности», отдельные факты, важность которых не следует преувеличивать. Раздувая случаи ошибочных освобождений, якобинцы не ограничивались требованием тщательно соблюдать декрет о публикации списков освобожденных — они требовали немедленного ареста всех тех, кто был ответствен за подобные ошибочные освобождения. Среди других вновь называлось имя Келлермана, оказавшегося в первых рядах выпущенных на свободу. Однако в отличие от предыдущих отношение к этому делу не было единодушным. Помимо прочего, удивительно, что в ходе всей

⁴² Лоран Лекуантр в своей брошюре (*Les Crimes des sept membres des anciens Comités*, Paris, an III. P. 154 et suiv.) утверждает, что за месяц число заключенных в парижских тюрьмах уменьшилось с 8500 до 3500. Тем не менее в отчете о состоянии тюрем от 13 фрюктидора в них насчитывалось 5480 заключенных; месяцем позже, 14 вандемьера, это число уменьшилось немногим более чем на тысячу (4445). См.: *Saladin*. Rapport au nom de la Commission de vingt-et-un, Paris, an III. P. 105; AN AF II, 73; *Wallon H.* Op. cit. T, V. P. 450. Общие данные о количестве заключенных мы приводим по оценкам Д. Грира (*Greer D.* The Incidence of Terror. A Statistical Interpretation. Cambridge, Mass., 1935) и Ж. Лефевра (*Lefebvre G.* La Révolution française. Paris, 1968. P. 417 et suiv.). К числу заключенных следует добавить 300 000 подозрительных, находившихся под домашним арестом.

этой дискуссии (равно как и той, что вскоре за ней последовала) за отсутствием точных цифр освобожденных постоянно металась между двумя крайностями: проводили быстрые и огульные обобщения («освобождают аристократов») или же фиксировались на отдельных случаях, что, как правило, делало дебаты еще более страстными. Карно, встревоженный нападками на Келлермана, пришел из комнаты заседаний Комитета общественного спасения, чтобы объяснить по поводу этого освобождения. При поддержке многих депутатов он не остановился перед восхвалением Келлермана, назвав его добрым патриотом и республиканцем, прекрасным гражданином и солдатом, жертвой зависти Робеспьера, а отнюдь не «предателем». Дело было отправлено в Комитет общественного спасения, однако дискуссия сразу же перешла во вторую фазу: был поставлен под сомнение принятый три дня назад декрет о публикации списков освобожденных. Стали раздаваться голоса, утверждавшие, что депутатов застали врасплох и что провозглашение этого декрета «вселило ужас во все души» (Мерлен [из Тионвиля]). На декрет яростно напал Тальен, стремившийся в это время добиться освобождения

Кабаррюс (что увенчалось успехом неделей позже). Разумеется, не исключено, что «некоторые патриоты обманывались насчет ряда лиц» и требовали их освобождения. Однако это не главное; необходимо энергично продолжать освобождения: «Я предпочел бы сегодня увидеть на свободе двадцать аристократов, нежели одного патриота в окопах. Что же выходит, Республика, имея миллион двести тысяч граждан под ружьем, боится нескольких аристократов?!» В тюрьмах томятся невинные, оторванные от своих семей без какой бы то ни было законной причины, единственно на основании клеветнических обвинений. Не означает ли публикация списка освобожденных составления нового списка проскрипций для тех, кто мечтает лишь о том, чтобы занять ставшее свободным место Робеспьера? «Продолжатели дела Робеспьера, не надейтесь на успех, депутаты Конвента полны решимости погибнуть на месте или уничтожить всех тиранов, под какой бы маской они ни скрывались». Эта тирада была встречена с энтузиазмом («Да! Да!» — вскричали все депутаты, вставая»); тем не менее Конвент колебался и даже подтвердил поставленный под сомнение декрет. Тальен тут же выступил с контрпредложением: «Раз уж хотят опубликовать список тех, кому вернули свободу, я требую, чтобы также опубликовали имена тех, кто запер их в темницы; пусть народ знает имена своих истинных врагов, доносивших на патриотов и бросавших их в тюрьмы». Предложение было явно демагогичным, однако и оно оказалось тут же принятым, что только подлило масла в огонь. Во всеобщей неразберихе раздавались многочисленные голоса: *«Это гражданская война!»* В полном замешательстве Конвент, «для того чтобы выйти из политического кризиса, угрожавшего гибелью свободы

и равенства», в конце концов отменил оба только что принятых декрета. Эти дебаты и колебания представляются весьма показательными как в плане поляризации политических позиций, так и в плане вызванной ею нестабильности политической ситуации. Конвент оказался заложником своих собственных противоречий: попытка «сорвать вуаль, которая должна прикрывать некоторые действия правительства», влекла за собой риск скомпрометировать всех — и тех, кто только что вышел из тюрем, и тех, кто там еще оставался; тех, кто требовал освобождения заключенных, и тех, кто подписывал обвинения и ордера на арест (впрочем, нередко это были одни и те же люди). Требование обеспечить политике освобождения из тюрем максимальную прозрачность обернулось в конечном счете обоюдоострым оружием; настаивать на проведении этого требования в жизнь означало запустить процесс с неконтролируемыми последствиями, который мог привести к «гражданской войне». Списки освобожденных и тех, кто способствовал их освобождению (в частности, депутатов Конвента), так никогда и не были опубликованы; однако зимой III года эмигранты опубликовали в Лозанне список предназначенных для преследования и линчевания лионских «кровопийц»⁴³.

Поступавшие из департаментов новости могли лишь разжечь конфликты и страсти. Уже к концу термидора в Париж, в Конвент и в особенности в Якобинский клуб стали стекаться адреса и тревожные жалобы; поднимала голову аристократия, освобождали дворян и священников, на заседания народных обществ врывались мюскадены и контрреволюционеры; хуже того, притесняли и преследовали «самых чистых патриотов»: их отправляли в тюрьмы, тогда как подозрительные выходили из них. «Каждый день члены Конвента узнают прискорбные подробности о том, что происходит в крупных коммунах после 10 термидора... Всех патриотов обвиняют в пособничестве Робеспьеру и притесняют столь же несправедливым и столь же варварским образом, сколь и в 1791 и 1792 годах»⁴⁴. К середине прериала эти жалобы стали ежедневными; делегации народных обществ и революционных комитетов обращались в Конвент и Якобинский клуб; семьи и друзья «притесняемых патриотов» искали поддержки: одни — у депутатов от своих департаментов, другие — у бывших представителей в миссиях.

⁴³ Заседание Конвента 23 термидора (Moniteur. Op. cit. P. 448); заседание 26 термидора (Ibid. P. 484-487). Брошюра, в которой был опубликован «Liste générale des Dénonciateurs et des Dénoncés, de Lyon et de diverses autres communes», была издана эмигрантами в Лозанне в 1795 году. Это был настоящий перечень лиц, которых необходимо уничтожить. См.: *Fuoc R.* Op. cit. P. 83, В Париже опубликовали «Tableau des noms, âges, qualités et demeures des principaux membres des Jacobins (par Francastelle, an III)» — своеобразное подспорье для «охоты на якобинцев».

⁴⁴ Выступления Шаля и Реаля в Якобинском клубе 26 термидора. См.: *Aulard A.* La Société des Jacobins. Т. VI. P. 336-337.

Якобинцы не ограничивались тем, что выслушивали петиционеров; они принимали на свой счет требования освободить «притесняемых патриотов» и довольно часто назначали «официальных защитников», которые должны были выступать по конкретным делам в Комитете общей безопасности.

К последней декаде прериаля и к началу вандемьера к этим адресам и петициям стали добавляться встречные адреса, часто отправлявшиеся из тех же самых мест. В них содержались обращения в Конвент с протестами против клеветы и недвусмысленно утверждалось, что жалобы исходили лишь от нескольких «террористов» и сторонников Робеспьера или, попросту, от воров и расхитителей, с которых сорвали маски. Их арест был и актом справедливости, который порадовал всех добрых граждан, и защитной мерой по отношению к «революции 9 термидора», которая бы не потерпела, если бы эти «кровопийцы» продолжали и дальше оставаться на свободе, интриговать и плести заговоры. Таким образом, возникала опасность возвращения Террора. Происхождение жалоб и петиций (к которым мы еще вернемся) против «притеснения патриотов» показывает, что к середине фрюктидора новый курс (и в частности, чистка политических кадров) уже довольно широко проводился в стране, особенно в тех департаментах, которые сильнее пострадали от Террора и где его последствия были более серьезными и ликвидировались с большим трудом.

Откуда берет начало эта «война петиций»?

Первые жалобы на «притеснение патриотов» стали поступать в Конвент, когда еще не иссяк поток поздравлений по случаю его героического выступления против «тирана» и «мятежной Коммуны». Это были первые трещины, расколовшие бывшее прекрасное единение, парадоксальный символ того, что свержение «современного Катилины» действительно нашло отражение в местных политических реалиях. Единодушный энтузиазм, с которым политические кадры, пришедшие к власти во времена Террора, восприняли новость о свержении Робеспьера, не отражал, по крайней мере на первых порах, ничего, кроме оппортунизма, порожденного тем же самым Террором. И это создавало еще большую неразбериху. Как мы уже показали, на следующий день после 9 термидора страна проснулась ожесточенно антиробеспьеристской: никакого сопротивления, даже ни малейших сомнений в существовании «кошмарного заговора». Безусловно, после победы Конвента 10 термидора в Париже было уже не найти «робеспьеристов». Тем не менее в столице шесть десятков человек, принявших сторону Робеспьера и «мятежной Коммуны», были объявлены вне закона и разом казнены 10 и 11 термидора. В следующие дни десятки активистов, подозреваемых в том, что они поддерживали Коммуну, были арестованы и ожидали суда. Иными словами, в Париже после 9

термидора политические противники были четко обозначены, и их число не ограничивалось одними только «триумвирами».

Напротив, для департаментов (за несколькими исключениями; упомянем Па-де-Кале, где еще до 9 термидора был обвинен Лебон) «заговор» воплощался лишь в далекой фигуре Робеспьера. Его единодушное осуждение свидетельствовало также о желании тех, кто находился у власти (или, по крайней мере, части кадров Террора), опередить противников и тем самым отвести от себя возможные подозрения в сговоре с «тираном». Ни один представитель в миссии не продемонстрировал ни малейших колебаний, узнав о новостях из Парижа. Однако довольно быстро возникло чувство удивления: «Когда почта доставила неожиданные известия о заговоре обоих Робеспьеров и их сообщников, все были ошеломлены: "Так что, — говорили, — и эти тоже были предателями?! По какому же тогда признаку нам отныне распознавать патриотов, истинных друзей Республики?" [...] Гражданин председатель, никто и не раздумывал, не принять ли их сторону. Народное общество, установленные власти этой Коммуны тотчас же испустили по поводу этих лживых существ крик ужаса; они восхищались постоянством и энергией Национального Конвента... Так пусть же погибнут самозванцы, деспоты, стоящие над общественным мнением и над свободой»⁴⁵. Отныне каждый департамент, каждый город, чтобы выйти из Террора и «поставить правосудие в порядок дня», должен был совершить свое собственное 9 термидора, выступить против собственных агентов Террора, обвинить их как таких же «робеспьеристов». И тут же на местах стали не просто не отставать от Парижа, но и опережать столицу. Ибо, осудив как клеветнические обвинения Лекуантра против семи членов Комитетов, Конвент, казалось, продемонстрировал желание не преследовать ответственных за Террор за пределами «ядра», изначально очерченного 9 термидора. Тем не менее даже первые «чистки» в департаментах волей-неволей расширяли число ответственных, выводя их за пределы парижской группы; они были направлены не против *непосредственных* участников «заговора 9 термидора», которых вне Парижа не существовало, а против местных террористических кадров и соответственно против их парижских защитников, в особенности в стенах Якобинского клуба. И косвенным образом они давали новый импульс обвинениям против Террора как против глобальной системы власти, неотделимой от тех, кто был ее агентами, извлекал из нее пользу и не мог отныне избежать правосудия.

Нередко Конвент и Комитеты сами давали изначальный толчок этой волне чисток и арестов (так, например, Комитет общественного

⁴⁵ Forestier, représentant en mission dans l'Allier, a la Convention nationale, Cusset, le 16 thermidor; A.N. C 311; см: *Aulard A. Recueil des actes...* T. XV. P. 644 et suiv.

спасения потребовал арестовать членов Оранжской комиссии⁴⁶), однако особенно часто они действовали через представителей в миссиях. Начиная с 18 термидора, когда Конвент постановил, что командировки в департаменты не должны превышать трех месяцев, началась систематическая замена прежних представителей народа теми умеренными депутатами, которым Комитеты доверяли освобождение заключенных, а также чистки местных властей, народных обществ и революционных комитетов. Приняв 7 фрюктидора решение приступить к их радикальной реформе, Конвент сам подал пример начавшимся чисткам. Предшествовавшая одобрению этого декрета дискуссия показательна как в плане желаний Конвента как можно быстрее избавиться от наиболее скомпрометировавшей себя части агентов Террора, так и в плане колебаний и противоречий, характерных для политической обстановки конца II года.

Революционные комитеты (или наблюдательные комитеты), спонтанно возникавшие после 10 августа 1792 года по инициативе народных обществ и муниципалитетов, приобретали все большее влияние на протяжении 1793 года, пока не стали самым опасным инструментом Террора. Закон о подозрительных наделял революционные комитеты правом составлять (каждый в своем округе) список подозрительных, выписывать ордера на их арест и печатывать их бумаги. Зимой 1793 года (14 фримера II года) компетенция этих комитетов была расширена. Им было поручено совместно с муниципалитетами воплощать в жизнь революционные законы и меры общей безопасности (в частности, выдавать свидетельства о благонадежности), все их члены отныне назначались распоряжениями представителей в миссиях. Непомерная власть этих

⁴⁶ «Вы знаете, что многие члены [Оранжской комиссии] были обвинены в личных связях с бесчестным триумvirатом, который Конвент недавно сверг и уничтожил, а также получали от него частные инструкции. К тому же вы уже должны были составить себе определенное представление о поведении ее членов, и, без сомнения, уже приняли все меры, которые требовали общая безопасность и интересы отечества» (Комитет общественного спасения — Перену и Гулийо. представителям в департаментах Гар, Эро и Воклюз, 8 фрюктидора II года (le Comité de salut public à Perrin et Goupilleau. représentants dans le Gard, l'Hérault et le Vaucluse, 8 fructidor, an II) — AN., AF II, 37; ср.: *Aulard A. Recueil des actes... T. XVI. P. 344*). Тем не менее народное общество Оранжа поздравило Конвент с победой над «Катилиной-Робеспьером» («Пусть этот кошмарный урок поразит страхом и ужасом сердца смельчаков, которые захотят последовать его [Робеспьера] примеру»), высказав ему благодарность за... учреждение Революционного трибунала: «Мы уже выражали вам, Граждане представители, нашу благодарность за учреждение в наших стенах народной комиссии... Уничтожать любую опору тирании, преследовать и карать преступление везде, где оно обнаружится, исправлять подвергшуюся соблазну слабость, защищать заблудших виновных, возвращать отечеству преследуемых республиканцев, — вот основы всякого вынесенного ею приговора» (A.N., C 316; СП 1269). Как известно, Оранжская комиссия служила образцом для проведения террористических репрессий; процедура, которой она следовала, легла в основу закона от 22 прерияля.

комитетов, их злоупотребления и частые конфликты с представителями в миссиях привели к их реорганизации после 9 термидора. Однако Конвент не отказался полностью от их услуг и не уничтожил сам институт. Он удовольствовался ограничением их сферы деятельности, поставил их в более жесткие юридические рамки для того, чтобы положить конец произволу, и, наконец, обновил их состав. Самые важные меры содержались в законе от 7 фрюктидора: упразднение революционных комитетов в коммунах, которые, не будучи центрами дистриктов, насчитывали менее 8000 жителей; комитеты сохраняли право выписывать ордера на арест, однако должны были проводить допрос обвиняемого не позднее чем через двадцать четыре часа и обязаны были в течение трех дней сообщить ему причины ареста; комитеты, состоявшие из двенадцати членов и назначавшиеся представителями в миссиях, должны были обновляться наполовину каждые три месяца. В ходе трехдневных дебатов к этому закону было предложено множество поправок. Они являются ярким свидетельством накопившегося недоверия и раздражения в адрес комитетов, тем более что эти поправки были предложены бывшими представителями в миссиях и стали плодом их опыта сотрудничества, порой весьма конфликтного, с этими комитетами. Среди поправок были и следующие: не стоило более вводить в состав комитетов граждан, которые не умеют ни читать, ни писать, поскольку им необходимо составлять отчеты и проводить допросы; несостоятельным должникам запрещено было становиться их членами, поскольку слишком часто «аморальные типы арестовывали своих кредиторов»; было запрещено «становиться членами одного и того же комитета отцам и сыновьям, а также двум родственникам вплоть до четвертого колена», чтобы в комитете не мог главенствовать какой-то один клан; комитеты должны были в обязательном порядке вести записи своих действий, поскольку многие из них не могли «назвать причины ареста граждан, которых они заключили в тюрьмы»; им было запрещено освобождать из тюрем, поскольку «бывало так, что они проводили аресты граждан, а затем сговаривались с ними о цене, за которую готовы были их освободить». Быть может, наиболее показательным было предложение (хотя оно и оказалось отвергнуто) предоставить юридическую защиту тем членам комитетов, которые прекращали исполнять свои обязанности:

«Решением о новой организации революционных комитетов вы лишили работы более пятисот тысяч человек. Без сомнения, среди этих чиновников были и те, кого есть в чем упрекнуть. Однако надо отдавать себе отчет в том, что основная масса внесла свой вклад в спасение Республики. И потому, граждане, те, кто перестают быть членами

революционных комитетов, должны подпадать под особую защиту нации. Если вы не одобрите данную меру, эти граждане станут объектом *личных пристрастий, мести и ненависти*. Надо очень уж плохо знать человеческое сердце, чтобы поверить, что тот, чей отец, родственник, друг был брошен в тюрьму или препровожден на эшафот по обвинению революционного комитета, не затаит ненависти к членам этого комитета и не постарается отомстить самым явным образом, если вы не обуздаете эту злопамятность. Граждане, страсти все еще сильны в маленьких городках и могут разжечь там пламя гражданской войны. Чтобы избежать этого бедствия, я предлагаю принять декрет, дабы новые революционные комитеты не имели права выносить решения об аресте прежних членов комитетов за действия, которые были совершены теми при исполнении своих обязанностей».

Эти слова Рюэля были весьма уместны и прозорливы, он предвидел ближайшие последствия реорганизации революционных комитетов, чисток местных властей и народных обществ. Конвент избавился от значительной части этих кадров без особых сожалений, более или менее отдавая себе отчет в том, что открывает тем самым новый этап, на котором политические конфликты и личная месть (индивидуальная или семейная) неотвратимо смешивались вплоть до слияния в единое целое⁴⁷.

Как мы видели, в департаментах чистки были доверены представителям в миссиях и оказались в сфере их ответственности. Таким образом, можно сказать, что им было поручено приглядывать за взрывчатым веществом с тем, чтобы в наиболее подходящий с их

⁴⁷ О реорганизации революционных комитетов см.: *Moniteur*. Vol. 21. P. 547-549, 581-583; заседания 3 и 17 фрюктидора. Мы назвали лишь некоторые аспекты этой реформы; следует отметить и другие меры: реорганизацию комитетов парижских секций (стало 12 комитетов вместо 48, т.е. один комитет на округ из 4 секций), ослабившую власть секций; отклонение предложения Шаля приступить к выборам новых комитетов (это было бы противно «принципам революционного правительства» и привело бы к завуалированному «обращению к народу», за которое некогда выступали жирондисты). Приведенные данные о том, что реформа коснулась 500 000 человек, были преувеличены. На самом деле существовало немало коммун, где революционные комитеты никогда не функционировали или же имелись в неполном составе. Барер оценивал общее число комитетов в стране приблизительно в 21 500 (см.: *Валесе В. Memoires*. Т. II. P. 324). Во время дискуссии цифра в «500 000 чиновников» оспорена не была. Как мы уже отмечали, в ходе дебатов о Терроре Конвенту часто не хватало точных данных; он ограничивался либо отдельными случаями, либо уходил в более или менее категоричные и скороспелые обобщения. Революционные комитеты — реформированные и «очищенные» (т.е. сохранявшие часть кадров эпохи Террора), — довольно верно и эффективно служили «антитеррористическим» и «антижакобинским» мерам властей. См.: *Bouloiseau M. Les comités de surveillance de Paris sous la réaction thermidorienne // Annales historiques de la Révolution française*. 1973. Vol. X.

точки зрения момент использовать детонатор. Ведь если чистки поощрялись центральной властью, то эта инициатива соответствовала ожиданиям умеренных местных элит — нередко отстраненных от власти, а то и подвергавшихся преследованиям во времена Террора; отныне эти элиты в большей или меньшей степени осознавали те шансы, которые им предоставляла новая политическая конъюнктура. Без сомнения, Террор обострял политическую напряженность и черпал силы в этой напряженности; однако он утвердился в качестве системы власти лишь в той мере, в которой смог *политизировать традиционное* социальное и культурное расслоение, антагонизмы и местные конфликты, питая тем самым *политическое насилие*. Отсюда два аспекта Террора: с одной стороны, при помощи насилия он приглушал и нивелировал различия и расхождения, унаследованные от прошлого, во имя своего политического проекта — *единого*, объединяющего и централизующего; с другой стороны, он при помощи проводимой им политики присущих ему языка, институтов и насилия консервировал региональные и местные конфликты (вплоть до уровня крошечной коммуны или городка), которые тем самым сопрягал с весьма давними происками и интригами. Эта специфическая структура, эти оба плана Террора позволяют проанализировать сложные взаимоотношения между политическим революционным полем, модернизирующим и объединяющим, и традиционными ментальностями, обусловленными региональными и местными особенностями⁴⁸.

Деятельность представителей в миссиях могла лишь дополнять эту структуру Террора. Без сомнения, неограниченная власть, которой они располагали, была выражением стремления революционного правительства к централизации. Тем не менее депутаты приезжали в департаменты, которые они плохо знали, и это обрекало их на то, чтобы окружить себя местными политическими активистами и соответственно подпасть под их влияние; для того чтобы реализовать национальный проект, необходимо было весьма решительно, а порой даже очень жестоко и вопреки закону подавлять местные конфликты и антагонизмы. Тем самым депутаты оказывались в большей или меньшей степени втянуты не только в конфликты, которые раздирали местные власти и народные общества, но также в происки и интриги, которые они нередко обнаруживали лишь задним числом. Поскольку их власть не была ограничена, ее применение неизбежно зависело от

⁴⁸ Колин Лукас провел великолепный анализ соотношения преемственности и разрыва в насилии и конфликтах при Старом порядке и во время Революции. См.: Lucas C. Themes in Southern Violence after 9 thermidor // Beyond the Terror / Lewis G. and Lucas C, ed. Cambridge, 1983. P. 152-194. См, также: Lewis G. The Second Vendee. The continuity of the Counter-revolution in the Departement of the Gard. 1789-1815. Oxford, 1978.

политических и идеологических взглядов того или иного депутата, а часто и от особенностей его личности, пристрастий, фантазий и фобий (впрочем, Комитеты общественного спасения и общей безопасности порой вмешивались — в случаях наиболее очевидных злоупотреблений властью или политического экстремизма). Таким образом, для «царствования» каждого представителя народа была характерна своя специфическая разновидность Террора, и оно порождало свою охочую до «мест» клиентелу.

Выход из Террора, в свою очередь, происходил в департаментах различными путями. Он зависел, с одной стороны, от размаха, который принял Террор (и соответственно от созданной им ситуации), а с другой — от политики, проводимой представителями в миссиях, которым поручили «поставить справедливость в порядок дня». Поскольку институты оставались практически неизменными, новая политика проявлялась в освобождении ряда заключенных, отстранении от дел, а чаще всего и аресте тех, кто продемонстрировал особое рвение при отправлении террористической власти, — то есть тех, кто вызывал особую ненависть и враждебность. Эти меры неизбежно получали резонанс в Париже: при посредничестве семей и политических соратников арестованные спешили обратиться к своим прежним защитникам — соответствующим депутатам от их департамента или же якобинцам. Именно этими путями из департаментов в столицу стекались делегации и петиции, приносившие с собой тревожные, хотя и невнятные вести: одни говорили, что патриотов притесняют, а аристократия и умеренность поднимают головы; другие отвечали, что эти так называемые патриоты — не более чем интриганы, казнокрады, кровопийцы, робеспьеристы, желающие избежать справедливого возмездия. Таким образом, как мы это видели и ранее, разнообразными путями — основанными не только на политических симпатиях, но также и на дружбе, влиянии и клиентеле — происходившие в департаментах события вносили свой вклад в поляризацию политических позиций в Париже, в особенности в Конвенте и Якобинском клубе.

Только специальные исследования ситуации на местах, далеко выходящие за рамки наших задач, позволят оценить истинный размах этой первой волны арестов «террористов» и выявить их распределение по департаментам. Откровенно говоря, в ту эпоху сбор точных данных на этот счет никого не заботил. Это было время четких стереотипов, а не четких цифр или нюансов. Самое большее — эти стереотипы соответствовали крайним случаям; к тому же непростая реальность ежедневного Террора, если ее рассматривать на уровне города или местечка, состояла из множества сложных ситуаций, что делало трудным, если не невозможным, выявление задним числом различий между чрезмерным усердием и

злоупотреблением властью, между «энергичным» применением революционного правосудия и незаконным насилием, схожим с преступлениями, подпадающими под общее право.

Кто же находился в тюрьмах к концу II года? В то время данный вопрос оживленно обсуждался в Конвенте и в Якобинском клубе, в прессе и среди единомышленников, в Париже и в департаментах. Ни один общий ответ не был способен учесть множество конкретных случаев. Даже сами термины, в которых формулировался вопрос, — «притесняемые добрые патриоты», «кровопийцы», «интриганы», «грабители» — уже требовали пояснений. Эти термины показывают один из аспектов политического противостояния того времени: стремление навязать общественному мнению и коллективной системе образов то или иное клише и соответственно свести сложные реалии к простой материализации идей-образов. В конце II года начинается триумф идеи-образа «террориста» и «кровопийцы». Эта тенденция резко усиливается в первые месяцы III года под влиянием множества факторов: якобинского восстания в Марселе в начале вандемьера, обличения «вандалов» и «вандализма» и в особенности разоблачения Террора в Нанте в ходе процесса Революционного комитета Нанта и Каррье. Требование поставить «правосудие в порядок дня» все больше и больше сливалось с весьма определенным политическим выбором: политические кадры Террора *воспринимались как виновные* в силу того, что они были *вовлечены во власть* — *саму по себе виновную* и «преступную». Тем самым образ «кровопийцы» легитимировал *политику реванша* в качестве единственного эффективного способа демонтировать Террор. Без сомнения, реванша политического, но также культурного и социального, направленного против всех этих невежественных людей, вышедших из «черни», которых ход событий в определенный момент вовлек в политику или, если сказать иными словами, привел к власти.

То, что Мишле пишет о волне ненависти, потопившей якобинцев, может с полным на то основанием быть отнесено и к чувствам в адрес любых кадров Террора: «Они были подотчетными людьми, которые не могли дать отчет... Ужасная возможность арестовывать тех, кого они хотели, заставляла верить (даже самых чистых) в вещи бесчестные и одиозные. Видя трусость, боязливую покорность тех, кого они не арестовали, люди предполагали постыдные союзы... Тех, кто всё мог, ненависть и воображение без малейших доказательств обвиняли во всем... На их былые жестокости, на их спесь, на их ярость отвечали оскорблениями; им говорили: "Выверните ваши карманы"»⁴⁹.

⁴⁹ *Michelet J. Histoire du dix-neuvième siècle // Michelet J. Œuvres complètes, éd. par P. Viallaneix. Paris, 1982. T. XXI. P. 97.*

«Свобода печати или смерть»

«Чем же занят сейчас Конвент? [...] День 9 термидора спас Францию лишь от обретения властелина под хорошо известным титулом, а ведь фактически он уже более года был ее властелином; однако этот день не совершил истинной революции. С тех пор вы могли — вернее — вы должны были бы придать ей завершенность; однако где те законы, которые вернули бы нации ее узурпированные права? Где те декреты, которые уничтожили бы постыдные институты — более чем монархические институты, основанные тираном? Что толку в уничтожении человека, если все созданное им осталось? *Пресса отвоєвана, но это мы взяли ее штурмом с оружием разума в руках.* Мы вынуждены были нанести оскорбление здравому смыслу общества, поскольку нам пришлось доказывать, что свобода выражать свои мысли — законное право. Это ведь в ваших стенах оно было поставлено под сомнение. Вы с большим трудом подали молчаливый сигнал, одобряющий эту свободу. Однако при первых же признаках вашего сопротивления этому вечному и неотъемлемому праву многие стали спрашивать себя, не была ли вызвана ваша терпимость в данном вопросе давлением общественного мнения, заставившего вас против воли принять декрет о гарантиях свободным писателям»⁵⁰.

Публикация этих «сильных истин, адресованных Конвенту», в газете, одно название которой уже требовало свободы печати, само по себе является демонстрацией ее эффективного восстановления к концу II года. Нет сомнений, рассказ Бабефа об этом завоевании чрезмерно патетичен, однако бесспорно, что изменения, произошедшие после 9 термидора в этой области, наиболее очевидны. Существовал яркий контраст с положением прессы, которой заткнули рот во времена Тррора, столь же угрюмой, сколь и единодушной в проявлениях энтузиазма, довольствовавшейся воспроизведением в различных вариациях официального дискурса. Издания множились, газеты и брошюры становились политически все более разнообразными и полемичными. Былая тирания обличалась, и, по примеру правосудия, была «поставлена в порядок дня» свобода слова. Требование свободы печати и мнений было предметом ожесточенных дискуссий, показывающих внутренние трудности и противоречия процесса выхода из Тррора. Дебаты, которые

⁵⁰ *Babeuf G.* Journal de la liberté de la presse, n° 10, de la fête des Vertus, premier jour des sans-culottides, an II. (Русский перевод см. в: *Бабеф Г.* Сочинения. М., 1977. Т. 3. С. 77.)

проходили в Конвенте, в Якобинском клубе и в самой прессе, внесли свой вклад в ускорение этого процесса, а пресса, в свою очередь, утвердилась в качестве важного фактора этого ускорения.

Не прошло и двух недель после 9 термидора, как в Конвенте стали раздаваться требования восстановить в полной мере свободу печати; с начала фрюктидора этот вопрос беспрестанно обсуждался у якобинцев. Прежде всего этой свободы требовали для невинных жертв Террора. Именно на их долю выпало публично рассказать о постигших их несчастьях и ужасах, которым они стали свидетелями. Сказать правду о недавнем прошлом было лучшим способом предотвратить его возвращение.

«Достаточно бросить взгляд на то, что происходит вот уже более года, чтобы увидеть, что свобода печати уничтожена. Недостаточно иметь существующие законы, поскольку очевидно, что они нарушаются; необходимо, чтобы была прочная и нерушимая гарантия и никто не боялся быть гильотинированным за то, что написал ту или иную вещь в то или иное время. Чтобы воистину испытать отвращение к режиму, который недавно пал, мне кажется необходимым показать его омерзительные последствия; и именно изображение того зла, которое причиняли в тюрьмах, должно подстегивать отвращение добрых граждан»⁵¹.

Свобода слова была уничтожена по всей стране, и лишь при этом условии «тирания» Робеспьера могла установиться и существовать. «Тиран» был выше любой критики; критиковать его означало рисковать жизнью, равно как и критиковать его приверженцев и бесчисленные нарушения законов. Восстановление свободы слова и, в частности, свободы прессы — основная гарантия республиканских институтов. Таким образом, единодушное осуждение тирании Робеспьера получило свое логическое продолжение в требовании свободы печати и слова; в равной мере ее восстановление и полноценное использование было залогом восстановления правосудия, которое Конвент хотел «поставить в порядок дня». Освободить тюрьмы от жертв Террора, поименно назвать в прессе виновных, этих «рыцарей гильотины», защитить граждан при помощи свободы слова от злоупотреблений и произвола — таковы были три составные части единого и благородного дела.

«Без принятия лозунга: "Свобода печати или смерть", без полноценного его воплощения в жизнь мы останемся презренными рабами капризов и тиранических намерений

⁵¹ Реаль, выступление в Якобинском клубе 28 термидора II года (*Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 342*)

первого же облеченного властью человека, который сможет обернуть их против нас и воспользоваться ими, чтобы нас уничтожить. Никогда, никогда доселе истинной свободы не было в стране, где можно заткнуть любой рот, разломать любое перо, поработить вплоть до мыслей. Естественной возможности каждого человека свободно выражать свои мысли уже не существует во Франции... О, без сомнения настало время, когда кошмарный режим насилия, принуждения, тирании должен пасть и быть навеки уничтожен; настало время, когда человек, равный любому другому человеку, мог бы без помех, без страха и упрека пользоваться правом выражать свои взгляды, высказывать свое мнение, отвечать на клевету и откровенно говорить, что он думает о различных людях и вещах. И только гарантировав эту бесценную свободу, вы сможете обрести защиту от произвола властей»⁵².

Без сомнения, лозунг «Свобода печати или смерти!» был не нов. Тальен лишь повторил слова, произнесенные Дантоном, когда тот защищал Марата от нападок жирондистов в феврале 1793 года... Впрочем, риторические преувеличения обычно сопровождалась весьма туманными и абстрактными декларациями. Да, конечно, «Свобода печати или смерть», однако никто не угрожал ни смертью, ни тюрьмой тем, кто *после* 9 термидора обличал «современного Каталину» и его «тиранию»; ни один голос не раздался в защиту Робеспьера. Предполагаемые противники свободы печати были названы весьма уклончиво; еще в конце термидора Тальен выступал в Якобинском клубе с призывом сделать обретение этой свободы его основной целью и сплотить тем самым всех врагов тирании.

Однако очень скоро, во второй и третьей декадах фрюктидора, свобода печати оказалась в центре дебатов и конфликтов. Патетический лозунг «Свобода печати или смерть» все больше и больше раскалывал общественное мнение. В действительности, споры шли о том, какая роль должна принадлежать общественному мнению, и в частности прессе, в сформировавшемся после Террора политическом пространстве, а также о том, как пресса начинает, после ослабления контроля со стороны правительства, использовать вновь обретенную свободу. Как мы видели, взрыв негодования вызвал памфлет «Охвостье Робеспьера», опубликованный 9 фрюктидора — в тот самый день, когда Фрерон произнес свою нескончаемую речь о свободе печати. Что говорилось в «Охвостье Робеспьера»?

⁵² Тальен, выступление в Якобинском клубе 1 фрюктидора II года (Ibid, P. 354-355).

«Пусть наступит свобода печати, и тогда публично и громко будут поставлены вопросы, которые повсюду задают шепотом; «Возможно ли, чтобы Робеспьер в одиночку причинил все это зло?» Ничего удивительного, что *Охвостье Робеспьера*, бареры, бийо и колло начинают суетиться, как только раздается требование свободы печати; «О, граждане, воздержитесь от стремления рассуждать, в Республике и без того уже слишком много рассуждают». По примеру всех тиранов прошлого они призывают принять срочные меры против «болтовни прессы» и ее опасных последствий. Так, «больше уже не рассуждают» о невинных жертвах, расстрелянных в Лионе по приказу Колло; ни один сплетник не оспаривает «доброту и милосердие» Бийо-Варенна; и никто не вспоминает, что Барер был — поочередно и в зависимости от конъюнктуры — аристократом, вождем фейянов, якобинцем и союзником Робеспьера, а ныне сделался его смертельным врагом»⁵³.

Памфлет тут же стал известен, ведь он и в самом деле связывал защиту свободы печати с борьбой против «хвоста», оставленного Робеспьером, против «продолжателей дела последнего тирана»; использование этой свободы состояло прежде всего в обличении вчерашних преступлений и сегодняшнего желания их скрыть; прямые и ярые нападки на конкретных личностей лучше всего отвечали коллективным ожиданиям, чувствам реванша и мести. Таким образом, автор памфлета мог легко найти и своего читателя, и политических защитников. За «Охвостьем Робеспьера» последовало немало пасквилей, написанных в том же духе: «Защищай свой хвост», «Отдайте мне мой хвост, раз уж у вас есть моя голова», «Отрежем ему хвост». Все эти выкрикиваемые разносчиками названия «великолепно продавались» и пользовались «успехом у публики». Их все возрастающее число и свободное распространение свидетельствовали о новом политическом климате и новом соотношении сил. Показателен анекдот, бывший отрадой для прессы: разносчица, кричавшая во все горло «Кому "Разоблаченных якобинцев"!» в саду Тюильри, была арестована одним якобинцем и препровождена в Комитет общей безопасности; по этому случаю Комитет *торжественно поклялся соблюдать свободу печати*, возместил убытки несправедливо арестованной женщине и задержал того, кто ее привел»⁵⁴.

⁵³ *Felhèmesi*. La Queue de Robespierre ou les dangers de la liberté de la presse, 9 fructidor an II.

⁵⁴ Gazette française. 30 fructidor an II; несколько иная версия того же анекдота: Courrier républicain. 30 fructidor an II.

К концу фрюктидора эта политическая эволюция была еще более подчеркнута выходом трех новых газет, захвативших, если можно так выразиться, тот участок свободной земли, который был возвращен прессе. Одна за другой начали выходить (или возобновили свой выход) *Le Journal de la liberté de la presse* Бабёфа (17 фрюктидора), *L'Ami du citoyen* Тальена (публикация возобновлена 23 фрюктидора), но первым появился *L'Orateur du peuple* Фрерона (25 термидора). Если отбросить частности, хорошо видны близость и родство этих листков, их общая политическая ориентация. Они активно вмешивались в политические дискуссии, быстро и четко высказывали свою позицию по актуальным сюжетам. Любимые темы и основные направления здесь были те же, что и в речах Тальена и Фрерона в Конвенте: обличение ужасов Террора и превознесение благотворности «революции 9 термидора»; ее дело должно быть продолжено «энергичными мерами», которые поставят, в частности, «правосудие в порядок дня»; свергнуть «тирана» недостаточно, необходимо уничтожить «робеспьеризм», его систему и его кадры. Эти политические нападки весьма схожи, но главное в том, что их новый, изобиловавший словесными нападками тон, в основе которого лежали старые страхи и дух мести, разжигал страсти⁵⁵.

Перемены, которые чувствовались практически во всех газетах, во многом объяснялись публикацией оживленных и противоречивых дебатов, проходивших в то время в Конвенте. Даже *Bulletin de la Convention* и официальный *Moniteur* начинали напоминать подстрекательские издания, когда публиковали, к примеру, отчеты о

⁵⁵ Эти несколько весьма общих рассуждений вовсе не претендуют на анализ данных листков, их содержания, эволюции или роли в политической жизни. Такой анализ еще предстоит провести, равно как в принципе предстоит провести углубленное исследование термидорианской прессы. В особенности следует обратить внимание на отличия каждого из трех листков, и в частности газеты Бабёфа. Как известно, после 23-го номера (14 вандемьера III года) она поменяла название и стала именоваться «Трибун народа, или Защитник прав человека, преемник Газеты свободы печати» (*Le Tribun du peuple, ou le défenseur des droits de l'homme en continuation du Journal de la liberté de la presse*). Читая *Le Journal de la liberté de la presse* в свете будущей эволюции ее редактора, историки бабувизма прежде всего интересовались первыми признаками этой эволюции. Однако в конце II года ее сходство с газетами Тальена и Фрерона в значительной степени превалирует над различиями. Помимо всего прочего, Бабёф высказывает свое восхищение Тальеном и фрероном, «борцами за дело революции», «лидерами фракции защитников прав человека»; Тальен в свою очередь восхваляет Бабёфа — «одного из тех авторов, кто после 10 термидора проявил больше всего энергии» (*L'Ami des citoyens*. №4. 14 brumaire, an III). В конце II года мысли Бабёфа были тревожными; в них сквозила ненависть к «королю Максимилиану», «робеспьеризму» и «робеспьеристам»; он питал надежду на возможное продолжение «революции 9 термидора». Это были те элементы, которые, разумеется, сближали Бабёфа с другими «поборниками» этой революции. В отличие от Фрерона и Тальена, наемников на службе революционной политики, умело покинувших лагерь «рыцарей гильотины», Бабёф отличался весьма значительной политической наивностью. То, что он писал об убийствах в Нанте и о деле Каррье, служит ярким свидетельством тех навязчивых образов и противоречий, через которые пролегал путь его политической эволюции.

дискуссии вокруг обвинений Лекуантра. Кроме того, в конце II года в прессе развернулось контрнаступление якобинцев: так, 29 фрюктидора депутат-монтаньяр Шаль и издатель Лебуа начали выпускать *L'Ami du peuple*, названный в честь листка Марата. С самого начала новая газета ввязалась в крайне беспомощную полемику, которая длилась несколько недель и стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее. Она не только служила признаком слабости, но также стала свидетельством идейного разброда, вызванного изменением общественного мнения. То, что антитеррористические памфлеты и газеты, выступавшие за свободу печати и нападавшие на «кровопийц» и «робеспьеристов», пользовались благосклонностью публики, заставило *L'Ami du peuple* провести тонкую и парадоксальную разграничительную линию, при помощи которой автор статьи пытался рационалистически объяснить эволюцию, смысл которой от него ускользал.

«Миром правит общественное мнение. Истина эта затаскана и банальна, однако сегодня она может послужить основой для полезных размышлений. Люди слишком долго путали *общественное мнение и мнение народа. Общество — это не народ*; и крайне редко народ думает также, как общество. Сейчас это кажется парадоксом, однако вскоре станет признанной истиной. *Начиная с 10 термидора, общественное мнение контрреволюционно*. Почему же тогда контрреволюция еще не совершена? Потому что существует мнение народа, и оно сдерживает общественное мнение. В то время как аристократия мечется и производит много шума, народ, спокойный и бездеятельный, наблюдает, размышляет и молчит. Однако, как известно, молчание и бездействие народа весьма красноречивы»⁵⁶.

Это лишь один из множества парадоксальных эффектов 9 термидора, «принесшего с собой контрасты и имевшего весьма странные результаты». С одной стороны, «возвратив свободу, оно спасло Республику, вернуло достоинство национальному представительству, энергию — общественному мнению»; однако, с другой стороны, «оно заразило Республику грязными миазмами аристократии, вырвавшимися из клоаки тюрем; оно спровоцировало клевету и месть, к адрес патриотов; оно ослабило дух и действия революционеров». Тем самым эта газета позиционировала себя как представителя и глашатая «молчания народа» и делала это в весьма угрожающем тоне. «Народ выражает свое мнение, — продолжала газета в тот же день, — не посредством лицемерной лжи и лести, не посредством поздравлений и адресов. Его истинный язык — это язык,

⁵⁶ *Ami du peuple*. № 5. 12 vendemiaire an III; № 19. 6 brumaire an III.

которым он говорил 31 мая, после завершения Конституции 1793 года и в великие моменты революции». Тальен прекрасно опроверг «подобные софизмы» и «выступил против проведения границы» между *общественным мнением и мнением народа*: «Вы утверждаете, что начиная с 10 термидора общественное мнение контрреволюционно. Неужели вы называете контрреволюцией тот глубинный страх перед тиранией, который поселился во всех душах, тот единодушный вопль против всех запятнанных в крови людей, против мошенников и расхитителей. Если вам кажется контрреволюцией жажда правосудия и стремление сплотиться вокруг Национального Конвента, тогда во Франции действительно 24 миллиона контрреволюционеров». Не признавать *общественное мнение*, придумывая *мнение народа*, — не что иное, как «иезуитство» (Шаль был каноником-расстригой), к которому прибегают те, кто не может больше скрываться и против кого высказался сам народ. «Народ стремится к правосудию, а не к произволу. Народ стремится покарать преступление везде, где его видит. Народ с ужасом отвергает варварство, несправедливость и аморальность. Пройдите по мастерским, предместьям, общественным местам — повсюду, где собирается народ, спросите его, что он думает о Каррье и Лебоне, и его единодушные слова убедят вас: *общественное мнение* — это и есть *мнение народа*»⁵⁷. А необоснованно выдвигать себя в качестве выразителя мнения *народа*, противопоставляя его *обществу*, означает создавать, опираясь на это ложное различие, «новую аристократию», желающую оставить только за собой право говорить от имени общественного мнения.

Полемика и нападки в прессе были чрезвычайно характерны для пронизанной страстями политической атмосферы, установившейся на выходе из Террора. Абсолютно вписываясь в эту атмосферу, пресса только способствовала разжиганию страстей. Воспроизводя и подстегивая политические конфликты, раздиравшие Конвент и общественное мнение, она превратилась в чрезвычайно опасное политическое оружие. Каковы бы ни были интеллектуальные качества политической прессы, слишком легко впадавшей в инвективы, доносительство и сведение счетов, то, что по сравнению с эпохой Террора она стала более свободной, остается несомненным.

⁵⁷ L'Ami des citoyens. № 14. 14 brumaire an III (статья подписана Тальеном). С 1 брюмера III года газета стала ежедневной и вместо подзаголовка «Патриотическая газета» («Journal patriotique») приобрела иной: «Газета торговли и ремесел, издаваемая Тальеном и обществом патриотов» («Journal du commerce et des arts par Tallien et une société des patriotes»). Ее редактирование практически взял на себя Mee. См.: *Hatin E. Histoire politique et littéraire de la presse en France*. Genève, Slatkine reprints, 1967. Т. VI. P. 237 et suiv.

В результате изменения политической конъюнктуры ситуация стала новой *de facto*, однако она не была таковой с *точки зрения закона*⁵⁸. Как мы уже отмечали, за недели, последовавшие за 9 термидора, Конвент принял ряд мер, внесших изменения в сложившуюся во времена Трора политическую систему. Однако ничего подобного не было сделано в области печати и регулирующих ее законов. Иными словами, ситуация была чрезвычайно двусмысленной, ведь Трор представлял собой особенно мрачный период в бурной истории свободы прессы времен Революции. Конституция 1793 года торжественно подтверждала свободу прессы как нечто само собой разумеющееся: «Право выражать свои мысли и мнения будь то в печати, будь то любым другим способом, право устраивать мирные собрания, свободное отправление культов не могут быть запрещены. Необходимость изложения этих прав предполагает либо наличие деспотизма, либо память о том, что он недавно существовал»⁵⁹. Тем не менее сразу же после своего провозглашения Конституция 1793 года была заключена в «ковчег», а ее применение отложено до конца войны. Таким образом, она ничего не меняла в реальной ситуации, которая продолжала ухудшаться по мере утверждения якобинской диктатуры. Уже 9 марта 1793 года Конвент под давлением монтаньяров принял закон, требовавший от депутатов-журналистов выбирать между мандатом и газетой. Это была дискриминационная по отношению к жирондистам мера, направленная прежде всего против Бриссо и Горса, чьи газеты Пользовались огромной популярностью. «Прав человека более не существует; все естественные законы попораны; ночь пришла на смену достижениям четырех лет: личной свободе, свободе печати... Фракция, желающая править во мраке, запретила депутатам-философам просвещать своих граждан», — заявил на следующий день Бриссо в *Le Patriote français* (№ 1306), объявляя о вынужденном самоустранении от дальнейшего руководства газетой. 29 марта 1793 года Конвент принял декрет о том, что призывы к возвращению монархии и нападки на частную собственность будут караться смертной казнью. После переворота 31 мая жирондистская пресса исчезла; закон о подозрительных устанавливал, что «будут считаться подозрительными все те, [...] кто либо своим поведением, либо своими связями, либо *своими предложениями или писаниями* выкажет себя сторонником тирании или федерализма, врагом свободы». 17

⁵⁸ Помимо прочего, весьма характерным показателем состояния общественного мнения стало возобновление начиная с флореаля III года издания *L'Accusateur public* Рише-Серизи — газеты, которая практически не давала себе труда скрывать свою роялистскую направленность. И тем не менее ни одна газета не осмелилась выступить в защиту «нового Катилины» или его «системы».

⁵⁹ *Constitutions de la France depuis 1789, présentation par J. Godechot. Paris, 1979. P. 80 (статья 7).*

октября другой закон устанавливал личную ответственность издателей за все тексты, содержащие критику Конвента и Комитетов. Смертный приговор многих жирондистов был основан на том, что они писали в свою бытность журналистами. То немногое, что еще оставалось от свободы печати, исчезло вместе с репрессиями, обрушившимися на *Le Vieux Cordelier*, газету, которая отважно защищала именно свободу слова, и на эбертистов, вместе с которыми погиб *Le Pure Duchesne*. От прессы остались только те издания, которые якобинская власть тщательно контролировала, а часть из них и субсидировала. Эта пресса писала одно и то же и ограничивалась повторением основных речей, произносимых в Конвенте и Якобинском клубе. Несмотря на такое усердие, недоверие к журналистам и прессе не становилось меньше и регулярно выражалось с трибуны Якобинского клуба и Конвента⁶⁰.

И хотя после 9 термидора Комитеты не выступили с инициативой отмены законов за преступления в области печати и не предложили новых гарантий свободы слова, власть тем не менее ослабила свою хватку. Помимо прочего, она была просто не в состоянии ее сохранять. Как показывают оживленные и противоречивые дискуссии в Конвенте и в Якобинском клубе, «свержение тирана» привело к падению целого ряда препонов; а пресса, став более энергичной и свободной, в свою очередь пробила несколько новых брешей. Свобода была вновь завоевана, однако оставалась хрупкой; именно по этой причине и было высказано предложение укрепить ее и защитить от всякого влияния со стороны властей, придав ей законные институциональные гарантии.

Речь Фрерона от 9 фрюктидора о неограниченной свободе прессы примечательна и теми идеями, которые в ней были высказаны, и содержащимися в ней умолчаниями. В то же время последние в значительной степени объясняют сопротивление, этой речью вызванное. Как и большинство документов того времени, она интересна прежде всего как попытка анализа, по горячим следам, механизмов Террора и тех уроков, которые необходимо извлечь, дабы предотвратить его возвращение. И, как многие другие речи, это выступление было частью тщательно подготовленного политического натиска. Простое сопоставление дат уже наводит на мысли об определенной тактике — том самом политическом маневре, о котором уже говорилось: выступление Фрерона датируется 9 фрюктидора, тем же днем, когда было опубликовано «Охвостье Робеспьера»; 11 фрюктидора Тальен произносит речь о «системе Террора» и необходимости поставить правосудие в порядок дня; 12

⁶⁰ См. недавнее исследование по истории прессы во времена Террора и, в частности, о репрессиях против журналистов: *Gough H. The Newspaper Press in the French Revolution*. London, 1987.

фрюктидора Лекуантр произносит обвинительную речь против семи членов Комитетов.

Фрерон начинает свои размышления с рассуждений о месте, которое занимает 9 термидора в «нескончаемой череде произошедших во Франции событий». На его взгляд, в «показавшиеся веками короткие пять лет, известные под общим именем *французской революции*», 9 термидора вписывается как четвертая революция, последовавшая за теми, которые в свой черед были направлены против дворянства и духовенства, против монархии и, наконец, против федерализма. Эту четвертую революцию было, пожалуй, труднее всего совершить, поскольку враг оказался наиболее коварным и лучше всего замаскированным. Сравнение с Английской революцией (Фрерон здесь воспроизводит парадигму ее французского восприятия, укоренившуюся в 1789 году) показывает и то общее, что характерно для каждой революции, и превосходство революции Французской. Более счастливая, чем Англия, ибо более просвещенная и более достойная, Франция должна была преподнести важнейший урок: «в ней должен был появиться Кромвель, однако она не должна была иметь властелина».

Без сомнения, Робеспьер и был этим новым Кромвелем, еще более опасным и амбициозным. Истории только предстоит воссоздать «жизнь тирана Робеспьера, его полноценный портрет», однако механизмы, лежавшие в основе его тиранической системы, уже разоблачены. В этой системе, «весьма искусно выстроенной под предлогом революционного порядка управления, Конвент был поставлен над принципами, оба Комитета над Конвентом, Комитет общественного спасения над Комитетом общей безопасности, и он одни [Робеспьер] над Комитетом общественного спасения». Так и была подавлена свобода слова — вплоть до стен самого Конвента, «где свобода мнений должна была найти пристанище, даже если бы была изгнана со всей земли», где «требовалось пожертвовать жизнью, чтобы высказать мнение, противоречившее мнению Робеспьера». Вся машина Террора: система «самого бесчестного шпионажа»; тюрьмы, где задыхались невинные узники; сфабрикованные «заговоры» и, наконец, «трибунал убийц» — все это навязывало и Конвенту, и всей стране гробовое молчание.

Но не влечет ли за собой описание этой «системы террора и кровопролития» «опасение, что Национальный Конвент будет обвинен перед лицом Франции, а сама Франция — перед лицом Европы и человечества? [...] Не должны ли мы краснеть и страдать от стольких пережитых нами злоупотреблений и бедствий?» Однако только вероломные люди, сообщники и продолжатели дела «тирана», возводят хулу на Конвент под предлогом коллективной ответственности. В речи Фрерона слышен лейтмотив термидорианского дискурса: снять с Конвента всякую ответственность

за Террор, вернуть ему доверие и повысить его престиж. «Тиран, притеснявший своих коллег еще больше, чем всю нацию, был с ног до головы окутан видимостью самых популярных добродетелей; уважение и доверие народа, присвоенные им за пять лет неустанного лицемерия, окружали его подобно некой священной стене, так что мы поставили бы нацию и саму свободу под угрозу, если бы поддались нетерпеливому желанию свергнуть тирана раньше». (Конвент встретил эти слова моральной поддержки, в которой он так нуждался, продолжительными аплодисментами...)

По поводу смерти Капета мнения в Конвенте разделились, и это тяжелейшим грузом легло на последующие события; однако Конвент проявил единство, высказавшись за смертный приговор новому тирану. Это единодушие перед лицом гибели уже вдохновило первые «величественные деяния», которые «остановили тиранию и исправили некоторые из ее ужасных последствий... Так поспешим же воспользоваться этим обновлением наших чувств и наших душ, чтобы закончить ту законодательную работу, которую Республика поручила Конвенту».

Восстановить свободу печати означало внести вклад в реализацию двух главных целей: не теряя времени исправить причиненное Террором зло и, в более длительной перспективе, силами Конвента *завершить Революцию*. Ушедшая в прошлое кровавая эпоха оставила после себя в наследство главный урок:

«Тиран одновременно задушил и свободу дискуссии, посредством которой Конвент мог бы изобличить его перед лицом нации, и свободу печати, посредством которой нация могла бы изобличить его перед лицом Конвента. Этот кошмарный пример показывает нам, сколь необходима свобода печати для того, чтобы внушать страх честолюбцам, разоблачать и предотвращать их заговоры».

Однако даже сам Робеспьер не осмеливался открыто заявить, что свободы печати более не существует. Тем самым у Конвента так и не был вырван закон, отменяющий свободу печати и лишаящий народ возможности «пользоваться первым правом человека» — «неограниченной свободой думать, говорить, писать и публиковать все, что угодно». Конвент никогда не забывал, что Революция началась «со знаний, которые пресса распространяла прямо под носом у деспотов». Но «последний тиран... столь же искусный, сколь и жестокий», действовал так, что «над головами всех, кто использовал эту свободу, оказывался занесен топор... И сколь же он был прав, полагая, что это злодеяние необходимо, чтобы совершить все остальные; чтобы заставить отступить свободу, требовалось заставить отступить знания, лежавшие в ее основе». Так что, хотя

формально ничего отменено не было, свободы печати более не существовало. Отсюда и необходимость как можно скорее ее торжественно провозгласить и эффективно восстановить.

Тем самым Фрерон перешел к роли свободной прессы в улучшении будущих республиканских институтов. Начиная с 1789 года одна из основных проблем, лежавших в основе конституционных дебатов, заключалась в том, какими средствами обеспечить преимущества прямой демократии *современному* народу, который в силу своей многочисленности и большого числа граждан не мог прибегнуть к практике представительной демократии⁶¹. Таким образом, Фрерон возвращался к почти классическому сюжету установления взаимосвязей между демократическими институтами и свободой печати. С одной стороны, демократия подразумевала, что закон есть выражение общей воли, при этом неизбежное следствие представительной системы заключалось в том, что на деле закон становился выражением мыслей и взглядов нескольких сотен членов Национального собрания. Однако благодаря свободе печати «этот недостаток представительства исчезает или, по меньшей мере, исправляется». Если Нация и не участвует непосредственно в голосовании в собрании, то при помощи печати она может эффективно участвовать в предваряющих голосование обсуждениях.

«Благодаря ей представители и представляемые постепенно сливаются воедино, и у нации в двадцать пять миллионов человек существует демократия, несмотря на то что у нее лишь восемь сотен законодателей».

Таким образом, Революция воплощала в жизнь невиданную в истории вещь, рассматривавшуюся как «химерическая» даже самыми талантливыми людьми, — она «придавала представительному правлению характер самой чистой демократии».

Лишь вернувшись к этим основным и неизменным принципам, Конвент мог и усвоить уроки, продиктованные злосчастным опытом Террора, и создать новое политическое пространство для будущего. Иными словами, в области свободы печати этот основной принцип не вызывает никаких сомнений и не допускает никакого временного состояния:

«Если свобода печати ограничена, то ее не существует; любая преграда на ее пути означает ее гибель. Пусть же сегодня вновь забьет тот источник просвещения, который

⁶¹ О важности этой проблематики в конституционных дебатах и, в частности, об определении политического поля демократии см.: *Baczko B. Le contrat social des Français: Siey[...]s et Rousseau // The Political Culture of the Old Regime / Baker K. M. (ed.). Oxford, 1987. P. 493-512.*

непрестанно питала свобода печати, пусть на алтаре законов и по всей Республике при свете, который он нам дает, будут обсуждаться все важнейшие организационные вопросы, которые пока еще не решены или которые пока были решены так, что это не удовлетворило патриотов — самых просвещенных во Франции и самых мудрых во вселенной».

Без сомнения, неограниченная свобода печати влечет за собой определенный риск; этот «факел рода человеческого» может стать вредным инструментом «в руках поджигателей». Однако по сравнению с преимуществами, которые предоставляет свобода печати, этот риск невелик. Декрет, который предложил Фрерон в завершение всех этих рассуждений, был весьма расплывчат; он представлял собой торжественную декларацию, подтверждающую принцип неограниченной свободы печати и осуждающую всякую попытку вернуться к практике Террора.

«Пресса свободна; никогда, ни по какой причине, ни под каким предлогом на нее не будет совершено посягательство, и этот закон не будет отменен. Любой законодательный корпус, любой правящий комитет, любая исполнительная власть, которая своими действиями посягнет на свободу печати либо будет ей мешать или же примет соответствующий декрет, одним только этим обозначит и подтвердит, что она участвует в заговоре против прав человека, против народа и против Республики»⁶².

Подтекст речи Фрерона был шире, чем ее формулировки, и именно так она и была воспринята. Помимо прославления великих принципов, размышлений о будущем демократии, риторических пассажей население увидело в ней вполне конкретные политические предложения. Через месяц после 9 термидора настало *время всеобщей подозрительности*; везде мерещились интриги, подвохи, сомнительные маневры. Речь Фрерона с полным основанием воспринималась в контексте этой ситуации. Фрерон восхвалял свободу печати и рисовал привлекательную картину улучшения республиканских институтов; тем не менее он ничего не говорил о революционном правительстве, установленном «до заключения мира», и соответственно о чрезвычайном режиме, приостанавливавшем пользование конституционными правами. В этом плане подтверждение свободы печати и объявление ее неограниченной, не поднадзорной «какому бы то ни было Комитету», не означало ли, что ставится под вопрос сам принцип этого

⁶² Все цитаты взяты из речи Фрерона о неограниченной свободе печати. См.: *Moniteur*. Vol. 21. P. 601-605.

правительства? Фрерон говорил о важности свободы печати для Правильного функционирования представительного правления; тем не менее он даже не упомянул о народных обществах. Если пресса должна была стать в некотором роде заменой прямой демократии, то не теряли ли тем самым народные общества смысл своего существования? Не было ли придание печати исключительной роли в функционировании республиканских институтов хитростью для того, чтобы превратить ее в противовес власти Конвента и соответственно сделать из журналистов, этих «газетных писаек», творцов общественного мнения, равных или даже превосходящих по важности представителей народа? Фрерон восхвалял величественный принцип свободы мнений и слова; но никто не забыл, как он сам использовал его в своем *Orateur du peuple*, — его ядовитое перо, бесстыдную демагогию, подлый переход на личности, что как раз и оправдывалось требованиями свободы печати. Фрерон восхвалял единство Конвента, обретенное и укрепившееся 9 термидора, однако в кулуарах Конвента ходил слух о том, что Тальен с Фрероном готовят новый «переворот» — 9 фрюктидора, которое должно было прийти на смену 9 термидора. Не было ли прославление единства наилучшим и многократно опробованным способом замаскировать политические интриги? Кроме того, в своей речи Фрерон намекал на необходимость наказания виновных. Не означало ли требование неограниченной свободы печати в тот момент, когда разносчики продавали на улицах Парижа «Охвостье Робеспьера», попытку превратить принцип, подаваемый как священный и неприкосновенный, в простой предлог для того, чтобы лучше подготовить политический реванш?

Конвент не пожалел поскупился на «бурные и продолжительные» аплодисменты в течение речи Фрерона, однако отказался проголосовать за предложенный проект закона и постановил отправить его в Комитет по законодательству, что было наилучшим способом его похоронить. Возражения и оговорки, проявившиеся в ходе дискуссии, были весьма многочисленны. Разумеется, никто не ставил под сомнение сам принцип свободы печати. Напротив, те, кто особенно возражал против принятия данного законопроекта, без устали подчеркивали «священный» характер этого принципа. Депутаты (по большей части монтаньяры) высказали немало возражений. Прежде всего, формальных: поскольку сам принцип был торжественно провозглашен в «кодексе прав человека», от которого Конвент не отрекался никогда, даже в самые тяжелые моменты «тирании», то подтверждение этого принципа абсолютно излишне. Высказывались возражения и против чрезмерно абстрактного характера законопроекта: мало было провозгласить свободу печати, весь опыт Революции показывал, что подобное провозглашение должно сопровождаться рядом ограничений, касающихся, в частности, злоупотреблений и клеветы, которые необходимо карать.

А как можно вводить подобные ограничения, не ставя под сомнение *неограниченную* свободу печати? С другой стороны, разве эта свобода, сопровождаемая правом на полемику, не была сама по себе лучшей защитой от любых злоупотреблений? Если так можно выразиться, аргументы и возражения были классическими; и в самом деле, они возникали всякий раз, когда сменявшие друг друга собрания обсуждали законопроекты о печати. Таким образом, Конвент должен был одновременно и признать свободу печати (он уже сделал это в Конституции), и ограничить ее, приняв решение, *для кого* она существует, а также *на практике* определить ее рамки, совершенно не предусмотренные Конституцией. К этому добавлялись аргументы, теснейшим образом связанные с политической ситуацией: страна не находилась в «обычном состоянии». Следуя букве Декларации прав человека, Конвент не должен был декретировать создание наблюдательных комитетов, однако они единодушно были признаны необходимыми (Камбон). С другой стороны, означало ли определение *свободы* как *безграничной*, что роялисты и вандейцы могут провозглашать и публиковать свои политические идеи и, в частности, нападать на «чистых и неподкупных людей, пребывающих при исполнении обязанностей»⁶³ (Амар)?

После дискуссии вокруг обвинений Лекуантра и появления массы новых антиякобинских пасквилей подтвердились подозрения и страхи, возникшие у якобинцев во время дебатов по проекту Фрерона. Фрерон и Тальен *желали* свободы печати для того, чтобы замаскировать свои интриги и предоставить слово аристократам, роялистам и вандейцам. Неограниченная свобода печати могла лишь погубить Республику, поскольку она была несовместима с революционным порядком управления. Исключив из своих рядов Фрерона, Тальена и Лекуантра, Якобинский клуб разоблачил клеветников; революционные законы устанавливали для свободы рамки, вызванные необходимостью защиты этой самой свободы: «Я вполне допускаю, что народ заставят поверить, будто якобинцы не хотят свободы печати; это не так. Якобинцы отвергают лишь безграничную свободу, несовместимую с революционным порядком управления»⁶⁴.

Однако в конце II года на прессу так и не было наложено каких бы то ни было ограничений, и нападки на «террористов» лишь множилось. В связи с процессом Революционного комитета Нанта и Каррье атаки против якобинцев достигли своего пика; ожесточенные газетами и яростно нападавшими на них бесчисленными брошюрами, обвинявшими *монтаньяров* и *якобинцев* в желании спасти

⁶³ Moniteur. Vol. 21. P. 605-606.

⁶⁴ Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 407 et suiv. (заседание 17 фрюктидора); p. 417 et suiv. (заседание 19 фрюктидора); p. 517 et suiv. (заседание 5 вандемьера III года).

«топителей», те решили перейти в контратаку. Приведем здесь один эпизод, сам по себе незначительный и не имевший существенных последствий, который тем не менее свидетельствует не только о разгуле страстей, связанном со свободой печати, но и выявляет некоторые черты политической культуры эпохи Революции,

18 брюмера III года Камбон дошел до того, что назвал Тальена «убийцей», ответственным за сентябрьские убийства, и вором, бесстыдно расхищавшим казну, а теперь строящим из себя в своей газете строгого моралиста. В ходе этого обмена любезностями Гупийо из Фонтене предложил, чтобы Комитеты рассмотрели *«уже неоднократно обсуждавшийся вопрос о том, может ли представитель народа быть в то же время и журналистом»*. Он аргументировал свое предложение следующим образом:

«По какому праву некто выдает здесь себя за судью всего и вся? Что, можно клеветать, но человека оставят в покое, после того как он скажет: «Я был не прав»? Я заявляю, что любой пасквильянт, любой журналист, который является в то же время представителем народа, — это человек, в моих глазах заслуживающий наибольшего презрения. Представитель народа должен находиться в Комитете или в Конвенте, а в то время, когда он не может быть в одном из этих двух мест, он должен обдумывать проблемы, которые будут обсуждаться в Конвенте. А не заниматься отвратительной торговлей клеветой или прикидывать, что если он скажет плохое о том или ином человеке, можно будет продать на шесть тысяч экземпляров его листка больше, чем если он этого не скажет».

Разумеется, в первую очередь здесь имелись в виду Фрерон и Тальен. Это предложение, нашедшее поддержку на скамьях Горы, любопытным образом повторяет закон от 9 марта 1793 года, который мы уже упоминали и который как раз и устанавливал невозможность совмещения этих двух функций: журналиста и представителя народа. Естественно, всем было очевидно, что образ депутата, посвящающего все свое время и мысли политической деятельности, являлся демагогическим. Однако эта демагогия эксплуатировала комплекс общепринятых идей и представлений, разграничивающих два пространства: деятельности преимущественно политической и публичной, сосредоточенной в представительном Собрании, где высказывается всеобщая воля, и пространство частных мнений и интересов, к которому принадлежит пресса и в котором, по определению, формируются интриги и клики. Именно такой была аргументация, выдвинутая якобинцами против жирондистов, когда тех в марте 1793 года обвиняли в том, что они нападают в своих газетах

на Конвент, рассматривая его извне и формируя тем самым «факцию». Любопытным образом в брюмере III года та же самая аргументация обернулась против якобинцев. Отвечая Гупийю, ему не только напомнили, что Конвент был вынужден отменить этот мартовский декрет, поскольку почувствовал, что тот несправедлив и опасен; его также спросили, должен ли представитель народа и в самом деле посвящать все свое время и все свои мысли Конвенту, чтобы наилучшим образом выражать всеобщую волю, если этот представитель принадлежит к *частному, то есть постороннему*, обществу: как можно одновременно и быть депутатом, и критиковать Конвент *извне?* Иными словами, как можно *одновременно считать Конвент единственным центром объединения и быть якобинцем*⁶⁵!

Как можно быть якобинцем?

9 термидора Конвент совершил свою революцию и сделал это *единодушно*. Данное единодушие выражалось как в криках: «Долой тирана!», так и в провозглашении вне закона Робеспьера, его сторонников и Коммуны, обвиненных в бунте против национального представительства, единственной законной власти. Таким образом, победа и новая эпоха, начатая «славной революцией», проходили под эгидой Конвента как единственного «центра объединения». Однако это предполагало, что и сам Конвент будет един, что как только исключат «заговорщиков», в нем не останется ни распрей, ни разногласий. Также это предполагало, что отныне будет существовать *единственный центр власти*.

В дни и недели, последовавшие за 9 термидора, Конвент принял целый ряд мер, направленных на утверждение его реальной роли в отправлении власти. Конвент обеспечил своим членам минимум безопасности, одобряя решения, запрещавшие их незаконный арест (они были дополнены в брюмере III года во время процесса Каррье). Конвент также принял меры предосторожности против возможного возникновения другой власти, ограничивающей его собственную, — против появления новой Парижской коммуны. Тем самым он извлек уроки как из 9 термидора, так и из предшествовавших ему народных выступлений, в частности из восстания 31 мая, когда он оказался под дулами угрожавших ему пушек. Лишившись избранного или созданного секциями муниципалитета, Париж отныне напрямую стал управляться центральной властью или назначенными ею органами. Другой декрет уменьшил число парижских революционных комитетов с 48 до 12, по одному на округ из четырех секций, и тем самым облегчил контроль над ними. И наконец, Конвент принял решение,

⁶⁵ См.: Moniteur. Vol. 22. P. 459-460. Заседание окончилось среди хаоса, выкриков и оскорблений. Гупийю сам отозвал свое предложение.

обеспечивающее реальную власть над его собственными комитетами, в частности над Комитетами общественного спасения и общей безопасности. С самого начала, 11 термидора, было принято положение о том, что каждый месяц Комитеты будут обновляться на четверть, а выбывшие из них члены не смогут вернуться к власти раньше чем через месяц. Коренное преобразование структуры Комитетов и сфер их компетенции происходило позднее, на фоне более широких дискуссий. Пожалуй, лучше всего суть этого процесса выразил Камбасерес. Конвент лавирует между двумя рифами: злоупотреблением властью и ее ослаблением. Необходимо предотвратить «возврат к тому угнетенному состоянию, из которого мы только что вышли», сохранив при этом принципы революционного порядка управления, этой «гарантии Республики, [...] от которой зависят и благо отечества, и наше собственное существование». Таким образом, реорганизовать Комитеты означало дать самому Конвенту «революционную конституцию». Ее непоколебимой основой, гарантией против возвращения тирании должно было стать подтверждение принципа представительной системы: *«Только Конвент — центр правительства; [...] только он заслуживает доверия народа... Только Конвент должен обладать законодательной властью; это право, которое суверенный народ доверил лишь ему и которое он не волен делегировать»*. Соответственно Комитеты не будут иметь возможности толковать законы, а их постановления начнут относиться сугубо к сфере исполнительной власти. Действия правительства должны быть быстрыми и согласованными, отсюда проистекает необходимость доверить управление нескольким избранным депутатам и облечь их всей необходимой для достижения их целей властью, заключив, однако, эту власть в четкие рамки. Новая организация Комитетов по существу представляла собой и преемственность, и разрыв по сравнению с тем, что было до 9 термидора. Комитет общественного спасения сохранился, однако его полномочия были ограничены. «Исполнительные комиссии», своего рода министерства, стали независимы от него и были подчинены соответствующим Комитетам, избранным Конвентом; Комитет общественного спасения потерял право предлагать Конвенту, каких депутатов назначить в другие Комитеты. Кроме того, Комитет общественного спасения оказался лишен значительной части своих полномочий в отношении административных органов и правосудия, передав их Комитету общей безопасности и Комитету по законодательству. Таким образом, власть правительства была децентрализована в пользу Конвента и различных его Комитетов. Тем не менее Комитет общественного спасения сохранил в своих руках руководство военными действиями, дипломатией, право на мобилизацию лиц и реквизицию имущества, право арестовывать чиновников. Эта децентрализация была относительной: с одной

стороны, Комитет общественного спасения часто превышал свою власть; с другой стороны, чрезвычайно усилился Комитет общей безопасности — в основном именно на его долю выпала задача «поставить правосудие в порядок дня», освободить из тюрем арестованных до 9 термидора и довести до конца репрессии против бывших террористических кадров. В отправлении центральной власти увеличился и вес Комитета по законодательству⁶⁶.

Изменив соотношение объемов власти между Конвентом и его Комитетами, депутаты даже на секунду не предполагали поставить под вопрос неограниченный характер их собственной власти. В равной мере ни один человек в Конвенте не думал, что «революция 9 термидора» даст возможность ввести в действие Конституцию, которая еще в августе 1793 года была торжественно заключена в «ковчег» в ожидании лучших времен. Когда через четыре недели спустя после 9 термидора клуб Епископства^{*}, где действовал Бабёф, потребовал «укрепить и продолжить» революцию против «тирана» путем провозглашения неограниченной свободы печати и избрания революционных комитетов на ближайших ежедекадных собраниях, это предложение было с негодованием отвергнуто Конвентом. Отклонение и осуждение самой идеи «обращения к народу» было единодушным и получило полную и «энергичную» поддержку якобинцев. Они даже решили отправить делегатов к собраниям секций, склонным одобрить это предложение (а оно уже было одобрено секцией Музея). Это предложение было осуждено как замаскированная атака против Конвента и революционного правительства, проводимая под демагогическим и контрреволюционным предлогом восстановления избирательных прав народа⁶⁷. И, напротив, правильный пример подавали

⁶⁶ См.: Moniteur. Vol. 21. P. 473-474 (речь Камбасереса 24 термидора), 458 et suiv.; Aulard A. Recueil des actes du Comité de salut public.. Т. XVI. P. 310-320 (текст декрета по поводу Комитета общественного спасения и других Комитетов Национального Конвента от 7 фрюктидора II года). См. также комментарии в: *Godechot J. Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire.* Paris, 1951. P. 279-281.

* Имеется в виду Электоральный клуб, получивший такое название, поскольку заседал в здании Епископства, в том зале, где собирались выборщики (*électeurs*) от Парижа.

⁶⁷ См.: Moniteur. Vol. 21. P. 694 (заседание 20 фрюктидора). Конвент *единодушно* перешел к порядку дня, выслушав петицию Клуба с требованием «неограниченной свободы печати и избрания чиновников народными собраниями». Бийо-Варенн, который после выдвинутых Лекуантром обвинений очень редко брал слово в Конвенте, счел полезным выступить против Клуба и предложил передать это дело Комитету общей безопасности: «Электоральный клуб всегда был очагом контрреволюции. Он принимал участие в заговоре Эбера; сегодня, когда, по всей видимости, складывается новый заговор, он опять в первых его рядах; кроме того, необходимо отметить, что *оратор не умеет читать*» (*sic*). Тем самым для Бийо Бабёф был не более чем сообщником нового заговора, замысленного Фрероном и Тальеном; предложение Клуба было направлено лишь на ослабление революционного правительства. При этом якобинцы призвали членов общества отправиться в собрания секций для борьбы с

многочисленные адреса, поздравлявшие Конвент с «его революцией», призывавшие «мудрых законодателей», «отцов Нации», оставаться на местах и продолжать прежний курс, подтверждая тем самым неоспоримую и несомненную законность как самого национального представительства, так и его нерушимого единства с народом.

Соответственно казалось, что 9 термидора укрепило и усилило образ *единого и объединенного* народа, знающего лишь один *центр*, его «место объединения» — Конвент. Весь этот образный ряд тщательно культивировался и эксплуатировался властью. Однако к концу II года он неизбежно оказался размыт. «Центр объединения», Конвент, раздирали все большие противоречия, и тем не менее он был не способен ни признать раскол, ни преодолеть его. Так представлял ли он собой «единственный центр»? Едва ли. Выход из Террора неизбежно влек за собой необходимость разрешить сугубо политическую проблему, вызванную той ролью, которая принадлежала якобинцам в структуре власти, доставшейся по наследству от Террора, а также в жизни общества в целом.

«Мы все должны быть одной семьей. Тот, кто не хочет быть свободным, должен быть изгнан из нее, поскольку все мы братья.

Якобинцы — это Конвент! Конвент — это народ! И Клуб столь же вечен, сколь и Свобода!»⁶⁸ Обращаясь таким образом 11 термидора к якобинцам, Колло д'Эрбуа даже не потрудился скрыть стоящее за этим заклинанием весьма серьезное предупреждение. На деле же после 9 термидора якобинцы оказались в весьма неблагоприятном положении: как мы уже отмечали, в ночь с 9 на 10 термидора Клуб занял весьма двусмысленную позицию. Вначале он поддержал Коммуну, однако по мере того, как дело шло к ее поражению, участники заседания Клуба колебались все более и более, а оставалось их все меньше и меньше. В конце концов, на рассвете Лежандр во главе небольшого подразделения национальной гвардии очистил зал, запер двери и торжественно передал ключи председателю Конвента. Жест более чем символический, в некотором роде дополнявший объявление вне закона Робеспьера и его сторонников. И в самом деле, исключительная власть, принадлежавшая Робеспьеру в системе диктатуры монтаньяров (в особенности в эпоху Террора), в значительной степени зависела от стратегического положения, которое он занимал: его непререкаемый авторитет, политический и моральный, действовал *одновременно* и на Конвент, и на Якобинский клуб. Однако позиция эта была весьма шаткой, и, занимая ее, Робеспьер, по сути, воплощал и соединял в

петицией Электорального клуба (см.: *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 386-387*). Клуб был окончательно закрыт в брюмере III года по обвинению в подстрекательской деятельности.

⁶⁸ *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 305; 335 et suiv.*

себе самом два принципа легитимности, на которых основывался революционный порядок управления, — систему представительства и прямую демократию. Политический талант Робеспьера состоял, помимо прочего, в поразительном искусстве одновременно использовать два рычага власти, которыми он располагал благодаря своей ключевой позиции в Комитете общественного спасения и в руководстве Якобинского клуба. Робеспьер обеспечивал подчинение якобинцев — главного Клуба и аффилированных клубов* — решениям Комитета общественного спасения, однако именно у якобинцев он предварительно устраивал обсуждение и получал одобрение решений и законопроектов, которые Конвенту оставалось впоследствии лишь ратифицировать. И те депутаты, которых обвиняли в Якобинском клубе, не испытывали никаких иллюзий в отношении своего политического будущего, а точнее — своего будущего как такового. 8 термидора Робеспьер еще полагал, что он сможет эффективно сыграть, в них двух тональностях, повторив вечером в Якобинском клубе обвинительную речь, которая утром была произнесена им в Конвенте. Энергичная поддержка Клуба должна была послужить ему на следующий день, 9 термидора, мощным инструментом давления на Конвент. Однако в первый и последний раз механизм власти дал сбой, а затем и сломался.

Таким образом, у победивших 9 термидора было множество причин не доверять якобинцам. А вот причины, заставившие их вернуть ключи и вновь открыть зал заседаний, никогда не были названы, однако о них можно догадаться. Они сводятся к авторитету и престижу Клуба, равно как к исполнявшимся им функциям необходимого колесика в механизме власти. После 9 термидора сохранение революционного порядка управления трудно было представить без поддержки якобинцев и их аффилированных клубов. С другой стороны, накопленный во время Террора политический и технический опыт (в частности, опыт представителей в миссиях) показывал, что управлять народными обществами необходимо было порой довольно деликатно, однако, в конце концов, они привыкли, во многом благодаря чисткам, покорно следовать за политикой центральной власти, как бы резко ни менялся ее курс.

«Пусть этот пример [Робеспьера], — говорил Бийо-Варенн во время первого заседания Якобинского клуба после 9 термидора, — научит вас никогда больше не творить себе кумира. Вы были жертвами Лафайета, Бриссо, бесчисленного множества других заговорщиков... Сплотитесь же вокруг

* Аффилированными (*affiliées*) называли клубы на местах, которые, при сохранении независимости, тесно примыкали к Якобинскому клубу в Париже, поддерживали с ним постоянный обмен мнениями, следовали общей с ним политической линии. В годы диктатуры монтаньяров таких клубов было более пяти тысяч

Конвента, который в эти мгновения бури проявил самый возвышенный характер. Он не пощадит ни одного заговорщика, в основе его действий всегда будет добродетель»⁶⁹.

Этот политический проект присоединения «обновленных» якобинцев к Конвенту был тем не менее очень скоро скомпрометирован эволюцией, которую никто из действующих лиц не мог предвидеть.

После 9 термидора казалось, что все складывается как нельзя лучше. Конечно же, якобинцы, собравшиеся во вновь открытом зале заседаний 11 термидора, были немногочисленны и потрясены недавними событиями. Однако члены Комитета общей безопасности, непосредственные творцы «свержения тирана», сами призывали их «обновиться» и поощряли восстановление их деятельности. В ответ Клуб не скупился на заверения в преданности победоносному Конвенту и на осуждения потерпевших поражение — в частности, тех своих членов, которые оказались на стороне «тирана» и «мятежной Коммуны». Клуб дошел до того, что задним числом аннулировал их членство. «Истинными» якобинцами стали сугубо те, кого *не было* той примечательной ночью в зале заседаний на улице Сент-Оноре (или те, добавим, кто вовремя догадался его покинуть). Собравшись 11 термидора, якобинцы единодушно постановили «прийти в большом количестве» в Конвент, где их делегация вручила следующий адрес:

«Граждане, вы видите истинных якобинцев, заслуживающих уважение французской нации и ненависть тиранов; вы видите людей, которые взяли в руки оружие, чтобы сразиться с вероломными магистратами, узурпаторами власти нации. Истинные якобинцы в тот тревожный момент не собирались на специальное заседание; они были повсюду, где нужны были силы и бдительность, чтобы сражаться с заговорщиками. Кошмарное скопление заговорщиков, запятнавшее нашу землю, состояло из людей, у которых не было членских билетов и которые были безгранично преданы своим бесчестным главарям; а мы — мы шли вместе с нашими секциями, чтобы сразиться с новым тираном»⁷⁰.

⁶⁹ *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 300. О двойной легитимности системы представительства и прямой демократии см.: Furet F. Penser la Révolution française. Paris, 1978. P. 85 et suiv.*

⁷⁰ *Moniteur. Vol. 21. P. 358; Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 361.* Тальен, председательствовавший на этом заседании, сделал вид, что принимает это разделение на «истинных» и «ложных» якобинцев. Он произнес хвалебную речь «знаменитому Клубу, [...] чьи услуги, оказанные Революции, прослеживаются на каждой странице нашей истории». Однако он не удержался от колкости, напомнив, что этот же самый Клуб «не раз был введен в заблуждение негодаями».

Клуб приступил к восстановлению в правах тех своих членов, которые были исключены при «тирании» Робеспьера, а затем сыграли важную роль в «революции 9 термидора»: Фуше, Тальена, Дюбуа-Крансе. Клуб без устали клеймил Робеспьера: «Так Робеспьер, этот тигр, жаждавший крови, — особенно той крови, которая питает свободу, — *так он в мновение ока исчез* с того места, на котором упивался ею. [...] И республиканцам более не придется с горечью слышать, как в своих макиавеллиевских речах он среди достойнейших людей находит заговорщиков, интриганов, предателей. О, возблагодарим же тех, кто действительно замышлял и интриговал против него и окружавших его преступных заговорщиков». «Истинные якобинцы» были такими же жертвами тирании. Молчание тех, кто не произнес ни слова на протяжении «шести месяцев, когда тиран открыто попирает права человека» прямо в Якобинском клубе, преподносилось не как конформизм, а, напротив, как героический поступок: «С этой трибуны нас называли негодьями и предателями, поскольку у нас хватило смелости оставаться спокойными и не поддаваться порывам того невежественного сброда, который встречал возмутительными воплями лицемерные и напыщенные речи тирана... Как только момент оказался благоприятным, мы заговорили; более того — мы начали действовать»⁷¹. Для проверки деятельности членов Клуба и продления членских билетов тем, кто мог подтвердить свое безукоризненное поведение в ночь с 9 на 10 термидора, была создана специальная комиссия. Месяц спустя, когда чистки, судя по всему, были уже закончены, в одном из обращений Клуб гордился тем, что в него входят шестьсот человек, которые «не запятнаны никакой грязью: все были на своих гражданских постах в ночь с 9 на 10 термидора... Те же, кто в ту навеки памятную ночь обесчестили нас в зале заседаний, были ложными якобинцами, которых деспот внедрил в наши ряды, грязными рабами, чьими жертвами нередко становились мы сами — но мы никогда не становились их сообщниками»⁷². Тем не менее Якобинский клуб так никогда и не предал гласности ни число исключенных из него «ложных членов», ни число тех, кто остался в его рядах. Известно, однако, что в пору своего расцвета, до 9 термидора а, Клуб объединял более 1200 человек. Несмотря на постепенно таявшее число членов, Клуб мало-помалу возобновил свою деятельность: регулярные заседания, переписку с афилированными обществами, обращения к Конвенту. Отчеты о заседаниях Якобинского клуба вновь стали публиковаться в *Moniteur* и других газетах *параллельно* с отчетами о заседаниях Конвента. Все выглядело так, словно отчеты дополняли друг друга и

⁷¹ *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 305 et suiv.; 335.*

⁷² *Adresse de la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, séante aux Jacobins, à Paris, à toutes les Sociétés qui lui sont affiliées. Paris, s.d. (fructidor, an II); BN L^b 40 / 786.*

словно после 9 термидора место, занимаемое Якобинским клубом в политическом пространстве (в частности, по отношению к Конвенту), ничуть не изменилось. По крайней мере, такое создавалось впечатление. Однако трудно было скрыть конфликт, который проявился уже через четыре недели после «той навеки памятной ночи» и дальше лишь углублялся.

Именно к якобинцам стали стекаться жалобы на «преследования патриотов» от тех, кто проводил Террор в жизнь. Как мы видели, в главный Клуб приходили многочисленные петиции из афилированных обществ, и делегации выступали у его решетки. Как правило, выслушав жалобу, Клуб назначал «официальных защитников», которые должны были отстаивать правое дело перед Комитетом общей безопасности. После 13 фрюктидора, когда Конвент отверг обвинения Лекуантра, Клуб стал более энергичным и воинственным. Ряд его членов, которые были обвинены, а затем реабилитированы (в частности, Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа), продолжали играть важную роль в деятельности Якобинского клуба; прилежно посещая заседания, они часто брали на них слово и участвовали в работе комиссий. С другой стороны, памфлеты, сопровождавшие всю эту кампанию обвинений (в том числе «Охвостье Робеспьера»), яростно нападали на якобинцев, называя их подстрекателями Террора. 17 фрюктидора под конец особенно бурного заседания Клуб решил исключить из своих рядов Лекуантра, Тальена и Фрерона. Каррье, разворачивавший все более бурную деятельность, утверждал, что Клуб хотел тем самым придать больше энергии уже высказанной им критике тех «бед, которые постигли Республику после свержения тирана». И в самом деле, как в ходе заседаний, так и в специальном обращении, направленном Конвенту 8 фрюктидора, якобинцы призывали бороться с «умеренностью, которая поднимала голову» под предлогом восстановления справедливости; они поддержали предложение опубликовать с этой целью список освобожденных из тюрем; они критиковали всех, кто, следуя за Тальеном и Фрероном, требовал неограниченной свободы печати, поощряя тем самым дискредитацию «энергичных патриотов». 14 фрюктидора произошел случайный взрыв Гренельского порохового погреба, повлекший за собой множество жертв. Клуб не постеснялся указать на связь между этой катастрофой, «преследованием патриотов», освобождением «подозрительных» и антиякобинскими пасквилями; во всем этом видели нити единого широкого заговора против революционного правительства. Те депутаты Конвента, которые были членами клуба и продолжали сидеть на скамьях Горы (хотя день ото дня там оставалось все меньше народа), защищали в дискуссиях позиции якобинцев и самого Клуба. Однако по большей части это были персонажи второго плана, дюэмы и шали. Виднейшие

ораторы Клуба, в частности члены Комитетов, нередко предпочитали хранить молчание.

Однако все эти выражения Клубом своей позиции — каждое ещё более «энергичное», чем предыдущее, а все вместе свидетельствовавшие о решительности Клуба и его силе, — обернулись против него и превратились в свидетельство его бессилия. Лучшим доказательством этого стало исключение Фрерона и Тальена. Воистину после 9 термидора времена изменились: оба исключенных, веселясь, вышли из зала, Тальен обнял Фрерона под аплодисменты части трибун, откуда кричали: «Им на это плевать!» Обвинение в стенах Клуба или исключение из него не влекли более за собой никакого риска, не означали ни устранения из политической жизни, ни репрессий. Напротив, это лишь стимулировало новые нападки на якобинцев и дальнейшее дезертирство из их лагеря. Список депутатов Конвента, которые после 9 термидора довольно часто посещали Клуб, а потом стали выступать против него, удлинялся день ото дня: Лежандр, Дюбуа-Крансе, Лекиньо, Тирион, Бен-табль, Мерлен (из Тионвиля)...

Представляемые Конвенту обращения якобинцев отнюдь не получали, как в былые времена, мгновенного одобрения — нередко значительная часть депутатов и трибуны воспринимали их с недоверием или враждебностью. По случаю одного из таких «энергичных» адресов сам председатель, Мерлен (из Тионвиля), бывший якобинец, не преминул напомнить делегации Клуба, что 9 термидора именно Конвент сверг «тирана», тогда как «порочные люди» продолжали защищать его с трибуны Якобинского клуба. Некогда вмешательства назначенных Клубом «официальных защитников» было достаточно для того, чтобы вывести того, кто пользовался защитой якобинцев, из затруднительного положения и даже освободить из тюрьмы. Отныне эти «защитники» могли оставить свои доводы при себе, поскольку члены Комитета общей безопасности не находили даже времени их выслушать. На разоблачение «заговоров аристократов» ныне вся пресса отвечала разоблачениями «заговоров якобинцев»; так, на их счет был записан даже Гренельский взрыв, антиякобинская пресса представляла его как результат их злокозненных ухищрений, направленных на возрождение Террора. Когда было совершено «покушение» на Тальена (21 фрюктидора неизвестный слегка ранил его в руку ножом; на протяжении нескольких дней в Конvente оглашались бюллетени о состоянии его здоровья), и в прессе, и в Конvente открыто высказывались подозрения в том, что якобинцы были вдохновителями и даже организаторами этого покушения. Кроме того, они стали постоянной мишенью газет и памфлетов, обвинявших их в том, что во времена Террора якобинцы были «кровопийцами» и доносчиками, которые теперь стремятся избегнуть карающего меча

закона, прикрываясь «направленной на обновление политикой» Конвента.

Новую расстановку сил можно проиллюстрировать одним эпизодом, выбранным из многих других. В четвертый дополнительный день II года в Пале-Эгалите (бывший Пале-Руаяль) разгорелась потасовка между двумя «группировками». Одни кричали: «Да здравствуют якобинцы!», другие набрасывались на них с криком: «Да здравствует Конвент! Долой якобинцев!» Надлежащим образом извещенный Комитет общей безопасности тем не менее не вмешался и не защитил якобинцев от оскорблений; один из его членов сказал, что все это дело не представляет никакого интереса⁷³...

Так с каждым днем якобинцы приобретали горький опыт: они осознали, что *власть их слов быт* лишь побочным эффектом того, что во времена Террора *они озвучивали слова власти*. Как только они утратили эту монополию, как только власть перестала нуждаться в их поддержке, они оказались обречены на всё возраставшее бессилие. Бессилие тем более явное, что Клуб так и не смог его осознать и пытался компенсировать его массой все более и более «энергичных» заявлений и протестов, угрожающей риторикой, в которой все чаще звучали отсылки к героическому прошлому якобинцев, их достоинствам и оказанным Революции услугам, их неколебимой верности великим революционным принципам. Накладывавшиеся друг на друга эффекты этого бессилия и этих угроз оборачивались против Клуба. Яростные речи, приходя во все больший контраст с политическим выбором власти, делали Якобинский клуб «центром объединения» всех недовольных этим выбором.

Довольно быстро якобинцы взяли на себя функцию единственного *идеологического органа*, способного на законное сопротивление демонтажу доставшихся от Террора институтов и защиту террористических кадров от обрушившихся на них репрессий. Однако на сей раз якобинский дискурс мог лишь поощрять страхи и вражду, унаследованные от Террора, тогда как явные признаки ослабления Клуба заставляли его противников стремиться к реваншу. Против якобинцев выступали как против символа Террора, как против ответственных за бесчинства прошлого и сторонников его возвращения. В свою очередь, они напрямую ввязались в «войну петиций», открыто требуя дать бой «умеренности» и «аристократии», преследовавшим «патриотов»⁷⁴. Тем самым конфликт между Якобинским клубом и большинством Конвента становился неизбежен.

⁷³ См.: *Courrier républicain*, 30 fructidor et troisième sans-culottide, an II; *Messenger du soir*, troisième sans-culottide, an II; *Moniteur*. Vol. 22. P. 4; *Aulard A. La Société des Jacobins*. T. VI. P. 489-491. Выше мы приводили другой аналогичный эпизод.

⁷⁴ В частности, Клуб распространял обращение народного общества Дижона, содержавшее прямые призывы к возобновлению Террора; к этому обращению мы еще вернемся.

Накаленная атмосфера в Конвенте ни в чем не уступала той атмосфере, в которой разворачивались столкновения в Тюильри и в Пале-Эгалите. «Народ больше не хочет иметь *две власти*, — восклицал Мерлен (из Тионвиля), — он желает, чтобы царствование *убийц* закончилось. Я обвиняю убийц моей страны, тех, кто в Законодательном собрании голосовал рядом со мной за принципы, а сегодня голосует рядом со мной ровно наоборот. Я обвиняю перед вами тех людей, которые имеют наглость выступать в Клубе, немало поспособствовавшем свержению трона, однако когда не осталось трона, который можно свергнуть, он пожелал свергнуть Конвент... ("Да, да!". Аплодисменты.) [...] Народ, если ты хочешь сохранить свободу, если ты хочешь сохранить Конвент — *единственный центр, вокруг которого ты можешь объединиться [...]*, — вооружись своим могуществом и, с законом в руках, ополчись на это *логово разбойников*». «Народное общество, — утверждал Бентаболь, — не имеет права ничего посылать в армии, пока Конвент не выскажет свое мнение... Следует выяснить, не совершает ли этот Клуб, в некотором роде главенствующий над общественным мнением, опасное для Отечества действие, когда он пытается развязать репрессии против представителей народа. И я спрашиваю: хотел ли отправивший меня сюда народ, чтобы меня критиковало *частное общество* за мнение, высказанное в Собрании представителей нации?» «Во времена Робеспьера, — бушевал Лежандр, — представителей народа исключали из Якобинского клуба за мнения, высказанные в Конвенте; так и сегодня депутатов изгоняли из Якобинского клуба за мнения, высказанные в стенах Конвента... (У якобинцев) фигляры пляшут на подмостках, а Робеспьер сидит в будке суфлера...»⁷⁵.

Как это нередко бывало в революционных дебатах, за пределами разбушевавшихся страстей и животрепещущих вопросов возникали мысли о том, что на самом деле представляли собой революционные институты и революционная власть. В конце II года дискуссии свидетельствовали, что то политическое пространство, которое 9 термидора было модифицировано, однако в основе своей оставалось сформировано Террором, было лишь временным и неизбежно приходило в противоречие с принципами, на которых основывались Революция и система представительства. Нападки на якобинцев неминуемо вписывались в более широкий контекст: как осмыслить и как обустроить политическое пространство, которое должно прийти на смену Террору? Должен ли выход из Террора совершаться *вместе* с Якобинским клубом (или, если брать шире, с народными обществами), или он должен происходить *вопреки* им? Эти вопросы влекли за собой другие, одновременно и более общие и более старые: какая роль должна принадлежать народным обществам в

⁷⁵ Moniteur. Vol. 21. P. 724-725, 727; Vol 22 P. 58-59

функционировании власти? Представляют ли эти общества простое объединение своих членов или имеют самостоятельный смысл, свободу действий и политический авторитет? Отправляет ли народ свой суверенитет, источник всякой законной власти, только через представительные институты, или же он может делать это и в форме прямой демократии, например, при посредстве многочисленных народных обществ?

Новые вопросы, старые вопросы. Новые в том смысле, что они были вызваны опасениями, выросшими из недавней политической практики Террора, когда народные общества, в частности афилированные с Якобинским клубом, стали поистине частью государства, ускользавшей из-под контроля Конвента. Старые — в той мере, в какой Конвент, войдя в состояние конфликта с якобинцами, вновь вынужден был прибегать к аргументам, которые Учредительное собрание уже высказывало в 1791 году в адрес Общества Друзей Конституции: Общество злоупотребляет свободой собраний, формируя «политическую корпорацию», что противоречит самим принципам представительного правления. Его члены присваивают себе «привилегию быть патриотами» и тем самым превращаются в конкурирующий орган власти; они стремятся к настоящей диктатуре, скрывая ее под различными формами прямой демократии. Неизменность всей этой политической и институциональной проблематики (и даже лексики) отлично показывает выступление 24 фрюктидора II года Дюран-Майяна — глашатая «Равнины» и одного из основателей в 1789 году «прежних якобинцев», Общества Друзей Конституции. Он без колебаний оспаривал законность самого существования Якобинского клуба, сводя его к тому типу корпораций, которые противоречат духу республиканских институтов.

«Вы упразднили все корпорации, поскольку они по природе своей противоречили республиканским институтам; вы не пощадили даже гильдию аптекарей и прочие ей подобные... Я требую выяснить, не представляет ли опасность для свободы существование *народного общества Парижа с 44 тысячами афилированных с ним и ведущих с ним переписку обществ*».

Нет сомнений, что уподобление Якобинского клуба гильдии аптекарей являлось стилистическим приемом, который должен был вызывать смех. Однако, нападая на *Якобинский клуб* как на *политическую корпорацию*, против него обращали принципы 1789 года или, если говорить шире, эти основополагающие принципы противопоставляли политической практике II года. И наконец, здесь содержался весьма прозрачный намек на закон Ле Шателье, принятый в сентябре 1791 года, под конец работы Учредительного

собрания, в некотором роде предусматривавший жесткую регламентацию прав и деятельности народных обществ как раз во имя тех самых принципов, которые лежали в основе отмены корпораций⁷⁶.

Этот датированный сентябрем документ часто недооценивается историками, которые ради того, чтобы продемонстрировать «буржуазный» характер Французской революции, обращают больше внимания на другой закон Ле Шапелье от 14 июня 1791 года, запрещающий «ассоциации рабочих». Тем не менее оба текста теснейшим образом связаны: по мысли Ле Шапелье, и тот и другой применяли к жизни ассоциаций те либеральные принципы, которые лежали в основе новой Конституции.

Аллюзия Дюран-Майяна была не просто риторическим приемом. И в самом деле, существовала *структурная аналогия* между теми вопросами, которые ставило Учредительное собрание в конце своей работы, и теми, что начал поднимать Конвент на исходе II года. В общем виде проблему можно определить следующим образом: народные общества сыграли важную роль в эпоху нестабильности и революционного насилия, однако принципы их функционирования должны быть по-иному определены после *завершения* Революции, в новом политическом пространстве, для которого характерны стабильные институты. После 9 термидора, перефразируя приведенные выше слова Тальена, необходимо было провести различие между *правительством, совершившим революцию*, и правительством, *которое хочет завершить революцию*.

Иными словами, доклад Ле Шапелье оставался документом чрезвычайной важности; в частности, в нем предпринималась одна из первых попыток анализа феномена якобинизма и его связей с представительным правлением (так, как это видели в 1791 году).

Ле Шапелье представил свой доклад от имени Конституционного Комитета 29 и 30 сентября 1791 года, накануне завершения работы Учредительного собрания. По всей видимости, это имело вполне конкретную политическую цель: исключить из политической жизни народные общества (в частности, Якобинский клуб) — этих экстремистов, стремящихся продолжить и радикализировать Революцию. Казалось, что принятие Конституции и «фейянский кризис», через который прошел Якобинский клуб, создают особенно благоприятные условия для реализации этого проекта. Однако Ле Шапелье преследовал и более отдаленные цели: он стремился *закрыть* наконец тему Революции, введя в действие новые

⁷⁶ Moniteur. Vol. 21. P. 728; Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 441 et suiv. Цифра в «сорок четыре тысячи афилированных обществ», приведенная Дюран-Майяном, без сомнения преувеличенная и демагогическая; это был лишь способ показать, что якобинцы хотели протянуть свои щупальца в каждую коммуну, учредив там народные общества.

институты и заставив функционировать *систему представительства* в форме конституционной монархии. Тем не менее установление этой системы и соответственно реализация принципов 1789 года требовали законодательства, регулирующего деятельность народных обществ, о которых Конституция упоминала весьма расплывчато. Ле Шапелье не скрывал сложности этой задачи, особенно настаивая на двух пунктах. С одной стороны, уникальность революционных изменений во Франции объяснялась тем, что разработка и победа принципов 1789 года не могли быть обеспечены иначе как внепарламентскими (если не нелегальными) средствами, и в частности путем растущей активности многочисленных патриотических обществ. С другой стороны, деятельность и методы функционирования этих обществ (и в особенности Якобинского клуба) приобрели такой размах, что развитие событий в таком ключе начало представлять собой серьезнейшую опасность для системы представительства. Как *политическая*, так и *внепарламентская* деятельность патриотических и народных обществ были в глазах Ле Шапелье несовместимы с признанием избранного Собрания в качестве единственного воплощения суверенитета Нации. Продолжение этой деятельности могло вылиться лишь в анархию под предлогом желанья продолжить Революцию. *Либерал и консерватор* в одном лице, Ле Шапелье формулировал политическую и институциональную дилемму следующим образом: либо Собрание представительной суверенной Нации отправляет власть в строгих и четко очерченных рамках представительных институтов, либо деятельность различных внепарламентских ассоциаций, которые, по сути, представляют собой факции, подрывает систему представительства, заменяя ее своего рода прямой демократией, и, используя демагогию, погружает страну в бесконечную революцию.

Ле Шапелье подчеркивал, что народные и патриотические общества были «стихийными институтами, [...] порожденными опьянением свободой; в бурные времена они производили благотворный эффект, объединяя умы, формируя центры пересечения мнений и показывая оппозиционному меньшинству, что подавляющее большинство мечтает и об уничтожении зла, и о том, чтобы покончить с предрассудками, и об установлении прав человека... Когда нация меняет форму правления, каждый гражданин — магистрат; все обсуждают и должны обсуждать проблемы общего блага, и необходимо использовать то, что торопит революцию, способствует ей, ускоряет ее; чтобы революция, которая становится уже несомненной, встречала на своем пути минимум препятствий и завершилась наилучшим образом, это временное брожение необходимо поддерживать и даже усиливать, однако, когда

революция завершена, когда у государства появилась конституция, когда с ее помощью установлена власть в обществе, назначены все чиновники, тогда для блага этой же самой конституции необходимо, чтобы все вернулось к порядку и ничто не мешало действиям созданных конституцией властей».

Разумеется, Декларация прав человека и гражданина и Конституция торжественно провозглашали как свободу обмена мыслями и мнениями, так и свободу граждан мирно собираться вместе и обращаться к конституированным властям с индивидуально подписанными петициями. Однако свободное использование этих прав могло осуществляться лишь в соответствии с *принципами представительного правления*, также установленного Конституцией. Эти принципы были категоричны: «сама природа установленной нами формы правления» исключает существование, пусть даже временное, любой корпорации, выступающей в роли посредника между гражданами и представителями (а также любой делегированной властью), поскольку члены такой корпорации неизбежно присвоят себе привилегии и исключительные права, противоречащие принципам свободы и равенства. Эти тезисы в равной мере относились ко всем сферам социальной жизни, в частности к торговле и к промышленности; но тем более строго они должны были соблюдаться в политике:

«Нет других властей, кроме созданных волей народа, выраженной его представителями; нет другой власти, кроме делегированной, никто не может претендовать на нее, кроме уполномоченных исполнять общественные функции. И именно для того, чтобы сохранить этот принцип во всей его чистоте, Конституция упразднила на всей территории государства все корпорации и признает лишь общество и индивидуумов».

Если же сопоставить эти принципы с практическими действиями Общества Друзей Конституции (то есть якобинцев), станет очевидно, что они восстают против Конституции и разрушают ее вместо того, чтобы защищать, что они *«превращаются в корпорацию, [...] гораздо более опасную, чем прежние»*. Это относится и к их программе, и к их действиям. «Существовать публично», принимать в свои ряды одних граждан и отказывать в этом другим, хвалить и порицать граждан, выдавать дипломы и сертификаты (и все это во имя патриотизма и общей воли) — означает приписывать себе «своего рода *исключительную привилегию патриотизма*, влекущую за собой обвинение против тех, кто не входит в секту, и ненависть в отношении обществ, которые к ней не присоединились». Это тот раскол, с

которым каждый хороший гражданин должен бороться и который «каждую секунду возрождается вновь при помощи *причудливых корпоративных объединений*». На этом «исключительном патриотизме» основана *сеть объединений*, которые «тянут свои ветви по *всей стране*», используя систему аффилированных организаций, политической переписки и «своего рода столицы» — систему, имеющую пагубные последствия и идущую вразрез с Конституцией. И в самом деле, по своей природе эти общества «стремятся приобрести определенное внешнее влияние», приписывая себе монополию на патриотизм со ссылкой на Nation и ее интересы; и сразу же они начинают тяготеть к тому, чтобы пользоваться «определенным влиянием на деятельность администрации и судов». Все видели, как они выдавали инструкции чиновникам, «чтобы те потом пришли и отчитались в своем поведении», отправляли посланцев, чтобы те вмешивались в ход расследований, посылали комиссаров «с заданиями, которые нельзя было доверить конституированным властям». Иными словами, якобинские клубы присвоили себе право подменять представительные и законные институты своими собственными политическими навыками, требовавшими в некотором роде *прямой демократии*. Однако люди, собирающиеся вместе, всегда имеют больше силы, нежели люди, существующие по отдельности, и эти собрания угрожают порабощением нации. «Если общества приобретают определенную власть, если они могут повлиять на репутацию человека, если, создав корпорации, они непрестанно обзаводятся ответвлениями и агентами своего влияния, *члены этих обществ становятся единственными свободными людьми*». Таким образом, необходимо запретить аффилиацию одних обществ с другими; необходимо помешать им «узурпировать часть власти», оказывать «какое бы то ни было *влияние* или *инспектировать* действия конституированных и законных властей». Это, в частности, предполагает, что общества не должны иметь права подачи *коллективных петиций*. Право на подачу петиций — это «естественное право», и соответственно оно не может быть передано. Практика передачи этого права председателям, секретарям и другим членам обществ — это зло, которое в конечном счете идет на пользу лишь нескольким главарям. Таким образом, общества могут существовать только в виде

«дружеских собраний, [...] имеющих своей целью учиться друг у друга, обсуждать что-либо, делиться своими знаниями, [...] однако их встречи, их внутренние решения никогда не должны выходить за стены этих собраний; никакие публичные действия, никакие коллективные обращения не должны привлекать к ним внимание... Все хотят, чтобы *революция*

была окончена. Время разрушения прошло; не нужно более сражаться со злом, бороться с предрассудками; отныне требуется украсить то здание, краеугольными камнями которого стали свобода и равенство»⁷⁷.

Критика якобинизма со стороны Ле Шапелье выявляет отличие его взглядов (равно как и взглядов других более или менее консервативных либералов) от взглядов якобинцев, однако она не дает возможности вычлнить те политические представления, которые были у них общими. Позиция Ле Шапелье жестко либеральна: общество состоит из индивидуумов, свободных и равных в правах; задача правительства — защищать и заставлять соблюдать их естественные и гражданские права. Система представительства обеспечивает эффективную связь и единство различных частей общества в той мере, в которой она обеспечивает суверенитет Нации и позволяет выражать общий интерес, не препятствуя свободному взаимодействию личных интересов. Таким образом, претензия на «исключительный патриотизм» делает из якобинцев «политическую корпорацию» и извращает систему представительства, поскольку служит ширмой для партикуляризма и укрепляет его; она оправдывает использование внепарламентских методов, несовместимых с законом; она способствует расчленению общества, приумножая раздоры и конфликты. Тем самым любое разделение общества на группы по интересам или на особые ассоциации в основе своей, по Ле Шапелье, порочно, поскольку оно воссоздает, на ином витке, старые сословия, привилегии и корпорации. И уж тем более оно противоречит принципам 1789 года, свободе и равенству граждан, равно как и суверенитету Нации, чье единство обеспечивается и выражается системой представительства. Будучи либералом и индивидуалистом, осуждая извращение системы

⁷⁷ Все цитаты взяты из доклада Ле Шапелье от 29-30 сентября 1791 года (Moniteur. Vol. 10. P. 7-11). Принятый Учредительным собранием декрет не распускал народные общества, однако запрещал им любое «политическое существование», аффилиации, публикацию протоколов дебатов, коллективные петиции, осуществление какого бы то ни было контроля или влияния на действия конституированных властей. Говорили, что закон стремился вернуть патриотические общества к их истокам, заключить их в рамки «интеллектуальных кружков» (sociétés de pensée). Выступая против этого закона, Робеспьер настаивал на соблюдении признаваемого Конституцией права на собрания; таким образом, он не видел ничего антиконституционного в аффилиации нескольких законных обществ. Для Робеспьера *революция отнюдь не была завершена*, и патриотические общества находились на службе *продолжающейся революции*. Они объединяли самых чистых и достойных уважения патриотов, осуществлявших *выявление* коррупционеров и интриганов, часть которых заседала и в стенах Собрания (Ibid.). В отношении исследования генезиса якобинизма немало можно найти в: Kennedy M. L. The Jacobins Clubs in the French Revolution. The First Years. Princeton, 1982. Изначальный толчок для размышлений о докладе Ле Шапелье и революционном политическом пространстве дала статья: Manin B. Montesquieu et la politique moderne // Cahiers de philosophie politique. № 2-3.1985.

представительства путем обращения к прямой демократии, Ле Шапелье по тем же самым причинам отказывается от какого бы то ни было *политического плюрализма*. Отсюда и его недоверие к *политическим ассоциациям*: *единственная* политическая ассоциация стремится в силу своей «исключительности» монополизировать власть; если же существует *несколько ассоциаций*, они обречены на то, чтобы бороться друг с другом, а это выливается в анархию.

Без сомнения, вся его аргументация направлена против Якобинского клуба, его организации, его методов и претензий. Однако он смыкается с якобинизмом, с его доктриной и политической практикой в своей сильнейшей враждебности к *любому политическому плюрализму* и в своих восхвалениях *единого политического поля*. Когда в 1791 году якобинцы благодаря своей идеологии и организации выдвинулись в качестве наиболее эффективной политической силы, они в борьбе за власть активно использовали *концепцию единого политического пространства*. В противовес Ле Шапелье и другим консервативным либералам якобинцы отстаивали свободу слова, право на собрания и на формирование национальной сети аффилированных обществ. Они требовали этого права только для «настоящих патриотов», для тех, кто *объединяет* Nation, а не *разделяет* ее. В конечном счете это право должно было стать *их эксклюзивным правом*, поскольку именно они объединяли всех «безупречных» патриотов. Идея политической и моральной «безупречности», будучи основополагающей для концепции якобинизма, стала критерием, исключаящим любую идею плюрализма. И в самом деле, «безупречный патриотизм» не предполагал никаких различий; он априорно отвергал существование *разных патриотизмов*. «Безупречный патриотизм» — это *множество патриотов*, а не патриотизмов; он отвергал существование нескольких программ или разнообразных политических и социальных групп, поскольку те были в его глазах лишь источником конфликтов и деления на факции, которые угрожали уничтожить единство Nation и соответственно ее суверенитет. Стремление к тому, чтобы единство Nation и «безупречный патриотизм» восторжествовали одновременно, делало *устранение* регулирующим механизмом общественной жизни и политической деятельности. Эта враждебность плюрализму особенно усилилась во время борьбы против жирондистов и в эпоху Террора. Якобинцы защищали право на собрания, но при условии, что оно будет использоваться в политическом пространстве, откуда будут изгнаны разногласия и где соответственно сможет существовать лишь одна-единственная ассоциация, чья легитимность как раз и будет основываться на ее патриотической «безупречности» и на добродетельности ее членов. Таким образом, Якобинский клуб превращался в *орган* политической и моральной *цензуры*, в

хранителя безупречности, верности исконным принципам Революции. Его связи с представительной властью неизбежно оказывались двусмысленными, и в этой двусмысленности заключалась как его политическая сила, так и его слабость. Якобинизм признавал лишь один источник легитимности: суверенную и ничем не ограниченную волю народа, а этим суверенитетом обладало национальное представительство. Отсюда стремление якобинизма оставаться в рамках закона и его уважение к системе представительства, на котором особенно настаивал Робеспьер. Тем не менее народ, единый и неделимый, придавал народным обществам легитимность и *напрямую*, в обход представительных форм общественной жизни. Однако при этом они не превращались в органы управления, а становились своего рода политическими и моральными авторитетами, призванными *давать советы и наблюдать за деятельностью* органов власти. Принятое по предложению Ле Шапелье законодательство 1791 года о народных обществах так никогда и не применялось. Динамика Революции оказалась на стороне Якобинского клуба, который, в конце концов, стал эффективно контролировать власть (в особенности Конвент), не смешиваясь при этом с ее органами.

9 термидора изменило соотношение сил между Конвентом и Якобинским клубом. В конце II года возникший между Клубом и Конвентом конфликт выявил *структурную политическую проблему*, отягощенную чрезвычайно неблагоприятной для якобинцев конъюнктурой. Поскольку якобинцы были скомпрометированы участием в системе Террора, то есть ассоциировались с террористической властью, им становилось все сложнее претендовать на моральную безупречность и на то, что их патриотизм выше всяческих подозрений. Кроме того, против них легко обращался их собственный идеал единого политического пространства. На сей раз антиякобински настроенные депутаты Конвента осуждали Якобинский клуб за раскол и претензии на то, чтобы быть особой «политической корпорацией», и требовали, чтобы национальное представительство пользовалось суверенитетом в полном объеме. Разумеется, якобинцы в конце II года были уже не те, что в 1791 году; и обстановка, и политические деятели радикальным образом изменились. И то, что, несмотря на эти изменения, происходило новое обращение к аргументам Ле Шапелье (гильотинированного в апреле 1794 года), показывает, что некоторые характерные черты политической культуры Революции и революционного политического менталитета сохранялись независимо от всех внешних перемен. И в самом деле, появление в 1789 году демократического политического пространства отнюдь не повлекло за собой — в течение всей Революции — *выработки плюралистической политической системы*; в этом плане якобинизм представлял собой одновременно

и воплощение, и извращение представлений о политическом пространстве как о пространстве едином.

Революция изобрела демократию, которая парадоксальным образом соединяла индивидуализм с настоящим культом единства; представительное правление — с отказом в праве быть представленными любым интересам, отличным от «общего интереса»; признание свободы мнений — с недоверием к разногласиям, разделяющим общественное мнение; стремление к прозрачной политической жизни — с одновременными постоянными поисками «заговоров»; одним словом, она то и дело смешивала в политике современные и архаичные черты. Это, по сути, довольно рудиментарное представление о демократии весьма часто разделяли и политические деятели, не изменяя ему даже тогда, когда они оказывались втянуты в конфликты. Ни на одном этапе Революции они не пришли к тому, чтобы *согласиться быть несогласными*, чтобы признать, что имеющиеся в обществе конфликты лежат в его основе, а не представляют собой порок, который необходимо искоренить. В этом и заключается потрясающий случай *смешения традиционного и современного* в представлениях, институтах и политических механизмах Революции; этой печатью отмечен весь ее опыт. Соответственно довольно быстро регулирующим механизмом политической жизни становится *устранение*: противник устраняется во имя все того же базового единства Нации, Народа или Республики. Помимо всего прочего, этот принцип характерен для функционирования и сохранения традиционных сообществ, где единство и солидарность имеют тенденцию смешиваться с единодушием. Доминирующие в революционной системе образы представления, в частности представления о заговоре и скрытом враге, могли лишь усиливать (пробуждая ненависть и подозрения) идею *благотворного устранения*. К тому же выход из Террора явно был не той эпохой, которая благоприятствовала эволюции в сторону политического плюрализма. Желание возродить принципы системы представительства шло рука об руку не только с идеей об устранении политических противников: оно сопрягалось со *страхом перед реваншем*. Так что якобинцам пришлось с изумлением наблюдать, как политические механизмы, хозяевами которых они себя считали, активно обращаются против них самих.

Самые яростные обвинения против якобинцев прозвучали во время дебатов в Конвенте и в Якобинском клубе, вызванных декретом от 25 вандемьера III года, целью которого было уничтожить якобинскую сеть и сделать главный Клуб беспомощным. (Впрочем, Лежён, депутат-якобинец, не преминул провести параллели между проектом нового декрета и преградами, которые «Ле Шапелье и его сторонники в дни унижений и позора» желали поставить перед народными обществами.) В ходе этой дискуссии речи были особенно

агрессивными и неистовыми, в значительной степени основанными на знании реалий и на опыте, полученном во времена существования якобинизма и как образа мыслей, и как способа политических действий. Помимо этого, основные ораторы были политическими перебежчиками, бывшими якобинцами, которые, обратившись против Клуба, знали, о чем говорят.

В чем же они упрекали якобинцев? Если оставить в стороне пристрастность, то постоянно повторяющееся обвинение было следующим: главный Клуб и сеть его афилированных народных обществ превратились по отношению к Конвенту и другим властям в *параллельную власть*, то есть в *конкурирующую власть*. Якобинский клуб внес свой вклад в свержение монархии, однако впоследствии стал противником свободного правления. Террор был бы невозможен без господства якобинцев, и опыт 9 термидора ярко это показывает. «Во время благословенной революции 9 термидора, когда народ увидел, что вы [Конвент] вновь взяли всё в свои руки, что вы хотите восстановить справедливость, он повернулся к вам, он протянул вам руку и почувствовал, что без помощи якобинцев Робеспьер и его сообщники никогда не смогли бы господствовать над вами. Однако, поскольку общества сумели вырвать у вас власть и передать ее человеку, которого они поставили над Конвентом и над народом, поверьте, что нельзя перестараться, присматривая за ними. Вы должны тщательно наблюдать за институтом, который с одинаковым успехом свергает и деспотизм, и свободу» (не названный в протоколе оратор). Наблюдение за народными обществами, в частности запрет на афiliation, должно было положить конец ситуации, когда рядом с Конвентом существует *иной центр*, вводящий в заблуждение общественное мнение, отнимающий у представительства доверие и уважение, которые должны ему принадлежать» (Бентаболь). Система переписки, объединившая народные общества вокруг Якобинского клуба, извратила сами принципы представительного правления. Так, перестало быть понятно, где «центр объединения», а где суверенный народ. «Я вижу народ только в первичных собраниях; однако я вижу суверена, воздвигшегося рядом с представительным правлением, суверена, чей трон здесь, в Якобинском клубе; когда я вижу многих единомышленников, переписывающихся между собой, [...] я говорю народу: сделай выбор между людьми, которых ты назначил тебя представлять, и теми людьми, которые возникли рядом с ними» (Бурдон [из Узаты]). Якобинцы преподносили народные общества как само выражение воли народа и соответственно как гарант республиканских институтов. Однако это означало подмену системы представительства прямой псевдodemократией, а значит, и подмену суверенитета Нации в целом узурпированной властью, отправляемой факцией *во имя народа*. «Народ — это не общество, источник суверенитета — вся нация; общество отнюдь не базируется, как это

пытаются представить, на народных обществах; гарантия свободы — это благородство и сила существующего у французов чувства общности» (Тюрио). Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 года содержали в себе как право на собрания, так и право на подачу петиций. Якобинцы, видя в новом законодательстве сплошной обман, выступили против нарушения им этих прав. Тот, кто знал внутренние механизмы функционирования обществ (в частности, депутаты, посещавшие с миссиями департаменты), прекрасно видел, что требование соблюдения права на переписку и на подачу коллективных адресов — это лишь предлог для защиты доминирующей позиции и политических привилегий, приобретенных малой частью граждан в ущерб большинству. «Вот уже пять лет мы стремимся создать представительную Республику. А что такое народные общества? Собрания людей, которые подобно монахам выбирают из своих... Там, где собрания людей путем переписки с другими собраниями добиваются победы иного мнения, нежели мнение национального представительства, появляется аристократия» (Бурдон [из Узы]).

Слова «аристократия» и «корпорация» подчеркивали фактическое неравенство, установленное якобинцами. «Народ, как ты можешь смотреть на людей, которые хотят поставить себя над законом, людей, которые, общаясь друг с другом как граждане, хотят быть чем-то большим, нежели другие граждане, хотят еще и сноситься друг с другом как корпорация?» (Ребель). Коллективные петиции лишь призваны скрыть то, что в реальности происходит в обществах. Говорят, что посредством этих петиций высказывается народ; однако «пять или шесть граждан не представляют собой народ», а в скольких еще обществах от имени их членов в целом и соответственно от имени народа принимают решения и подписывают петиции комитеты — председатель и несколько членов (Бентаболь). Представители в миссиях множество раз сталкивались с этими заправилами, и им приходилось производить чистку народных обществ. Настал час навести порядок повсюду. Это необходимо сделать тем более срочно, что никто не заблуждается: во многих народных обществах преобладают агенты Террора, мечтающие, чтобы он вернулся, и они избегли правосудия. «Граждане, ваши враги наводнили народные общества и секции людьми, неизвестными тем, кто начинал революцию в 1789 году, людьми, которые хотят лишь грабежей, беспорядка, преступлений, убийств: это люди, которых необходимо вернуть в грязь, и именно это от вас и требуется» (Бурдон [из Узы])⁷⁸.

Чем больше цитат, тем ясней становится роль, которая принадлежала раскаявшимся экс-якобинцам и «террористам» в атаке

⁷⁸ Все цитаты в этом абзаце взяты из отчетов о дебатах по декрету от 25 вандемера. См.: Moniteur. Vol. 21. P. 255 et suiv.; Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 571 et suiv.

против Клуба, в «разоблачении» механизмов его функционирования и приобретенной им власти. Обвинение якобинцев во всех бедах, представление их как основной опоры Робеспьера вчера и как логова разбойников сегодня в равной мере приводили к тому, чтобы снять с Конвента всякую ответственность за его собственные действия во времена Террора. Он, в свою очередь, был лишь жертвой «тирана», с которым впоследствии сразился, и якобинцев, с которыми необходимо сразиться в будущем. Перед лицом этой кампании, оспаривавшей легитимность их действий и подрывавшей сами основы их существования, якобинцы стали заложниками определенной дилеммы.

Как и всякий политический дискурс после 9 термидора, якобинский дискурс по необходимости говорил о «свержении тирана» и о «счастливой революции». Тем самым якобинцы не могли в полной мере отстаивать свое право на ту роль, которую они играли в прошлом, в частности в отправлении власти в течение II года. По сути дела, это означало бы принять на себя ответственность за Террор и предоставить лишние аргументы противникам. Однако якобинцы не могли и отвергнуть свое прошлое; они беспрестанно восхваляли свою безусловную преданность Революции, свою бдительность, свои битвы и жертвы. Именно эта верность традиции обуславливала их коллективную самобытность и придавала своеобразную легитимность их претензии говорить от имени народа и соответственно играть по отношению к Конвенту автономную политическую роль. Якобинцы не могли позиционировать себя в качестве оппозиционной силы, идущей вразрез с новой политикой Конвента, поскольку их собственная система представлений исключала возможность превращения в оппозиционную *партию*. Вся их централизаторская риторика, столь эффективно проявлявшая себя в прошлом, была направлена на обвинение *других* — их политических противников — в том, что те формируют ассоциации, *фракции*, виновные в разрушении единства народа и его неделимой воли. Утвердиться в качестве оппозиционной силы означало бы немедленно предоставить мотивы для любой антиякобинской кампании, которая как раз и обвинила бы Клуб в том, что еще при Терроре он сделался «политической корпорацией», вторым и незаконным «центром объединения».

Чтобы не подставлять фланги под такую атаку, якобинцы должны были усиленно подчеркивать свою республиканскую правоверность, свое безусловное уважение к Конвенту и к закону. Они защищались, говоря, что не имели ни малейшего намерения «воздвигнуть новый политический трон», присвоить себе какую бы то ни было частицу власти, по праву принадлежащую Конвенту и представителям суверенного народа. Они заверяли, что собирались лишь *просвещать* и образовывать народ, время от времени делиться своими знаниями с Конвентом и революционным правительством,

обсуждая крупные политические проблемы и предстоящие решения. Такова была священная обязанность, которую они выполняли во имя законных прав всех граждан — прав на свободу собраний, слова и петиций, гарантированных Конституцией. На деле же это оборачивалось желанием постоянно *присматривать* за Конвентом, многочисленными попытками давления и даже угрозами в направляемых Конвенту петициях и в распространяемых по стране при помощи сети аффилированных народных обществ адресах. Все выглядело так, словно якобинцы мечтали вернуться к политической тактике, обеспечившей им победу над жирондистами весной 1793 года. Однако в вандемьере III года это лишь подчеркивало слабость якобинцев: соотношение сил было отнюдь не в их пользу, и они даже не пытались обеспечить своим прокламациям эффективное продолжение, призвав к народному восстанию. У них не было ни идей, ни средств для проведения политики, которая могла бы повлечь за собой открытое восстание против Конвента и революционного правительства. В конце II года якобинцам более не принадлежала монополия на их собственные методы политической деятельности. Так, Конвент, чтобы обуздать местные народные общества, связанные с Якобинским клубом, приступил к их «очищению» силами представителей в миссиях по прекрасно отработанной во времена диктатуры монтаньяров методике. В Конвенте самыми непримиримыми врагами якобинцев были люди, только-только покинувшие их лагерь, которые знали, какой великолепный политический инструмент представляют собой притязания на выражение воли «народа»; отныне они старательно сохраняли это право за Конвентом и яростно клеймили все якобинские попытки продвинуться в данном направлении, называя их «террористическим» самозванством.

Пожалуй, ярче всего о том тупике, в котором оказался Якобинский клуб, свидетельствует его отношение к памяти и наследию Робеспьера. Как мы видели, в основе власти Робеспьера лежало то промежуточное положение, которое он занимал между Конвентом и Якобинским клубом. В Клубе Робеспьер пользовался воистину непререкаемым моральным, политическим и интеллектуальным авторитетом — в особенности весной II года, когда практически все заседания превращались им в постоянную школу республиканской добродетели и революционного духа, выразителем и воплощением которых был он сам. Этот авторитет позволил Якобинскому клубу утвердиться в качестве высшей инстанции в моральной и политической сфере. Однако после свержения Робеспьера Клуб без колебаний начал его ненавидеть, представлять себя в качестве жертвы его «тирании», с негодованием отвергать обвинения в том, что якобинцы — его «охвостье». И тем не менее в конце II года, в те трудные моменты, которые последовали за 9 термидора, Якобинский

клуб как никогда нуждался в авторитетном «руководителе». Место, которое занимал Робеспьер, оказалось вакантным; никто не хотел, да и не мог его занять, поскольку это как раз и был «трон» тирана.

Это хорошо показывает следующий эпизод. Когда декрет от 25 вандемьера о народных обществах был прочитан во время очередного заседания Клуба, «в зале воцарилось траурное молчание и полились слезы». Лежён, один из депутатов, отважно критиковавших декрет и защищавших Клуб, театрально воззвал к Бийо-

Варенну и Колло д'Эрбуа — тем лидерам, которые исторически символизировали величие и энергию Клуба до 9 термидора и которые, кроме того, сыграли решающую роль во время «последней революции». Он упрекал этих «талантливых людей», коих природа от мстила «даром слона», в том, что они хранили виноватое молчание во время дискуссии в Конвенте: «Я удивлен молчанием, которое хранят вот уже два месяца те же самые люди, что некоторое время назад всякий день появлялись на трибуне Конвента и Якобинского клуба. Вы всё говорили о правах народа, Бийо и Колло; почему же вы замолчали, как только зашла речь о том, чтобы их защищать?» Пребывая в немалом замешательстве, те ответили, что «ввиду состояния Конвента» их выступления могли лишь помешать делу народа и Клуба. Их молчание — отнюдь не признак слабости; они напомнили, что молчали и на протяжении трех декад, предшествовавших их выступлению против Робеспьера и свержению «тирана»⁷⁹. Это молчание особенно сильно контрастировало с усердием и многословностью того, кто начиная с 9 термидора и вплоть до процесса Революционного комитета Нанта постоянно выступал на авансцене Якобинского клуба, клеймя «умеренность» и «преследования патриотов», — Жана-Батиста Каррье.

«КУДА МЫ ИДЕМ?»

«Мы отчитываемся перед Нацией. Мы напоминаем себе, чем мы были и что мы есть сейчас; мы высказываемся по поводу того, чем мы должны быть. Франция слушает и судит нас». В своем докладе, представленном от имени Комитета общественного спасения в четвертый дополнительный день II года, Ленде сформулировал ответы на те три вопроса, которые Конвент высокопарно поставил в конце II года: «Откуда мы пришли? Где мы сейчас? Куда мы идем?»

Ленде ставил перед собой цель торжественно завершить своим докладом II год, подвести его итог и сформулировать политику на будущее. Выступление было одобрено Конвентом единогласно и с

⁷⁹ См. отчеты о заседаниях 25 и 27 вандемьера (*Aulard A. La Société des Jacobins*. Т. VI. P. 588).

максимальным энтузиазмом. Это единодушие свидетельствовало о временном прекращении политических раздоров в особенно символический момент: во время празднования окончания республиканского года. Через пять декад после 9 термидора Ленде стремился к тому, чтобы политический проект, представленный в его докладе, получил как можно более широкое одобрение Конвента и соответственно Нации. Ленде перечислил большой список проблем, стоящих перед страной; он проанализировал опыт политики, начатой 9 термидора, наметил круг ожиданий и надежд, связанных с этим опытом, и, наконец, обрисовал представления о будущем, своего рода утопию, в которую должна была превратиться новая эпоха Революции. Поскольку этот текст был рожден в определенных условиях, он представляет собой не более чем своеобразную мгновенную фотографию; тем не менее благодаря широте затронутых проблем, своей четкости, а также связанных с ними иллюзий, этот доклад проясняет термидорианскую политику в целом. Мы же ограничимся тем, что остановимся на ряде его основных положений.

«Дух разрушения реял над Францией»: самая неотложная, но и самая сложная проблема, которая вставала и в масштабе страны, и в каждом городке и деревушке, — *ликвидация наследия Террора*, управление его последствий. Это было особенно тяжелое наследие, тяготевшее над всеми сферами жизни общества. Требовалось, чтобы Конвент продолжил начатое 9 термидора, когда было принято решение «поставить правосудие в порядок дня»: освободил невиновных, возродил в обществе уверенность и чувство безопасности, потушил «факелы ненависти и раздоров», положил конец столь долго тревожившим умы опасениям, восстановил права человека и гражданина, в особенности свободу мнений и свободу печати. Ленде усиленно подчеркивал ущерб, нанесенный искусству, литературе и наукам. Он вновь вернулся к осуждению вандализма и, в частности, как мы увидим, к нападкам на *Робеспьера-вандала*, начатым аббатом Грегуаром. Несмотря на чинимые ему препятствия, искусство внесло огромный вклад в победы на фронтах и экономический подъем страны. «Если искусства развивались столь быстро, даже несмотря на Робеспьера, каково же будет их развитие, когда они воспользуются преимуществами, предоставляемыми свободой и равенством! Они первыми провозгласили права человека, так разве могут они об этом не напоминать?» Ленде надолго останавливается на экономических вопросах, за которые во многом именно он отвечал в робеспьеристском Комитете общественного спасения до 9 термидора. Торговля в упадке; в сельском хозяйстве, без сомнения, наблюдается «невероятный прогресс: никогда еще не возделывали и не засеивали столько земли», однако и оно в кризисе. И объясняется это не только небрежением и невежеством, но и опять

же деятельностью Робеспьера, его духом разрушения, выношенным им планом поработить Францию посредством Террора. («Торговля представляет собой сегодня руины и развалины... Робеспьер хотел уничтожить ее... Необходимо было уничтожить шелкоткацкие фабрики, и он заставил отказаться от выращивания шелковиц, одного из основных ресурсов средиземноморских департаментов; он принуждал отправлять жир за границу, чтобы уничтожить ваши мыловарни».) Большие торговые и портовые города пришли в запустение; они стали жертвами одновременно и кошмарной политики, желавшей все регламентировать, и репрессий — столь же жестоких, сколь и регулярных. Был разработан варварский план разрушения Лиона; под предлогом контрреволюции бросали в тюрьмы негоциантов, закрывали мануфактуры, изгоняли ремесленников. («Обратите ваши взоры на Освобожденный Город; заставьте прекратить разрушение строений и зданий; поспособствуйте возвращению граждан в их мастерские — они сотворены для созидания, а не для разрушения. Не инструкций требуют они от вас; обеспечьте свободу экспортной торговли [...], и Лион поднимется из руин. Пусть Марсель вспомнит, что лежало в основе его славы и процветания; разгоревшиеся страсти заставили забыть о преимуществах его положения, о его интересах и нуждах. Эта коммуна, в которой торговля была столь блестящей и столь полезной, [...] ныне может прокормить себя лишь при помощи правительства. В Сете рассматривали как контрреволюционеров тех торговцев, которые жертвовали своим состоянием, стремясь выполнить постановление Комитета общественного спасения, предписывавшее им заниматься экспортом — для того чтобы Республика могла покрыть часть своих обязательств ... Все здесь слышали о бедах, постигших коммуну Нанта. Что могла торговля среди стольких катастроф и преследований... Верность, беды [Нанта] заслуживают компенсации».) Чтобы окончательно перевернуть страницу Террора — системы, идущей вразрез с принципами, лежащими в основе Республики, — необходимо «торжественно провозгласить, что всякий гражданин, проводящий свои дни с пользой и занятый сельским хозяйством, наукой, искусством, торговлей, возводящий или поддерживающий фабрики, мануфактуры, *не может быть призван к ответу и назван подозрительным*». Наконец, необходимо завершить войну в Вандее, восстановить мир и порядок в департаментах Запада. Без сомнения, если это будет необходимо, придется использовать вооруженные силы. И все же одних только военных методов будет недостаточно для того, чтобы завершить эту кошмарную войну. В итоге окончательная победа Республики будет одержана в Париже путем проведения новой политики — разрыва с Террором. «Пример отваги, порядочности, единства, который вы подадите здесь, должен будет оказать решающее влияние на

департаменты Запада. Будут забыты роскошества и преступления некоторых генералов; армия оправдает ваши ожидания, и народ перестанет видеть в солдатах свободы исключительно мстителей. Спокойствие, которое вы там восстановите, великие принципы, которые вы увековечите и которыми станут открыто руководствоваться представители и генералы, положат конец ужасным бедам, разоряющим столь прекрасный край, который вам предстоит вновь отвоевать при помощи знаний, силы принципов, разума, армии, внушающей ужас мятежникам и защищающей добрых граждан; только так вы завершите это завоевание».

Поскольку восстановление свободы, доверия и правосудия было преимущественно политической проблемой, решение ее лежало также в политической сфере. Помимо этого, и экономические проблемы ожидали, прежде всего и преимущественно, политических решений: необходимо было, чтобы Республика вновь завоевала доверие и поддержку всех тех, кто занимался торговлей и производством. При Терроре их слишком часто считали подозрительными в силу того единственного факта, что они были богаты. Таким образом, будущее рассматривалось исключительно в ракурсе продолжения и усиления мер, принятых после 9 термидора. В этом смысле доклад Ленде — это «термидорианский» текст; в нем 9 термидора рассматривается как переломный момент, как точка в истории II года (и соответственно Революции), за которую уже нет возврата. Ленде не только внес свой вклад в разработку этих мер; в своем докладе он затрагивает практически все вопросы, по которым в Конвенте и его Комитетах начиная с 9 термидора возникали разногласия. Он делает это, словно побившись об заклад: удастся ли ему представить крайне изменчивую и нерешительную политику Конвента на протяжении пяти последних декад как реализацию логичного и последовательного политического проекта. Новые меры, о которых он объявляет в своем докладе, лежат в том же русле демонтажа Террора во всех областях жизни общества и тем самым ведут к ее либерализации: облегчение процедуры получения свидетельства о благонадежности; исключение произвола в этой области — муниципалитетам и комитетам секций должно быть предписано сообщать о причинах отказа и организовать процедуру апелляции; рассмотрение в кратчайшие сроки всех жалоб относительно незаконных арестов и, при возможности, немедленное освобождение невиновных; поощрение торговли, особенно экспорта; и, наконец, ряд мер, касающихся народного образования, к которым мы еще вернемся.

Не скрывая трудностей, которые повлечет за собой такое еще неизведанное дело, как выход из Террора, Ленде постарался успокоить аудиторию. Успех придет, если Республика не попадет под влияние экстремистов и тем самым избегнет наибольшей опасности,

которая только и может скомпрометировать выход из Террора. Прежде всего, необходимо избежать *реванша*. Нет сомнений, существовали «ошибки, просчеты, злоупотребления властью, акты произвола», однако не являются ли они «бедами, неотделимыми от великой революции»? К тому же их не следует смешивать с преступлениями. Так, необходимо заверить членов распущенных революционных комитетов и чиновников, которые вернутся на свои места, что, даже если они и совершили в порыве искреннего патриотизма ряд ошибок, Нация защитит их от любой попытки мести: «Они отстаивали священное дело свободы, и во времена бурь использовали ту огромную власть, которую вручила им необходимость. Нация не желает, чтобы те, кто метал молнии в ее врагов, сами же оказались поражены и уничтожены ими». Напротив, те, кто совершил преступления, должны быть жесточайшим образом наказаны, как того требуют закон и справедливость. В равной мере Ленде обличает экстремизм тех, кто «присоединился к революции лишь ради злодеяний, которые мог совершить», этих «чудовищ [...], присвоивших себе высокое звание и репутацию патриотов». Теперь же, когда они наконец разоблачены, эти люди стараются представить себя в качестве «преследуемых патриотов», взбудоражить народные общества, возбудить страсти и подозрения. В страхе перед справедливой карой они стремятся изобразить ее как угрозу для всех патриотов. Ленде намекает на опасения, существовавшие в народных обществах и среди политических кадров Террора. Его позиция по этому вопросу довольно жесткая: «Если речь идет о преступлениях, если речь идет о злодеяниях, требующих должного искупления, вы не заставите суды замолчать... Не следует ли тем гражданам, которые разделяют тревоги виновных, размежеваться с ними? Не отступить ли им от этих преступных лжецов? Франция скоро увидит, как преступление и ложь окажутся в изоляции, как они будут молить о поддержке и не найдут ее». Нация сумеет «использовать свое могущество, чтобы обуздать и сдержать» всех тех, кто силится породить в стране новые беды.

Особенно важно было предотвратить возрождение старых факций и создание новых. Для этого необходимо похоронить прошлое, болезненные воспоминания, давние междоусобицы: «Заставим же наших сограждан забыть все беды, неотделимые от великой революции; скажем им, что прошлое более не с нами, оно принадлежит потомкам». Выход из Террора ни в коем случае не должен вылиться в сведение счетов, в поиски виновных; намек на недавнее обвинение Лекуантра против членов старых Комитетов весьма прозрачен.

Единственная пригодная для будущего стратегия состоит в самом широком *объединении* французов. В особенности Ленде настаивает на тех элементах, которые служат символами *национального*

единства. Прежде всего, это победоносная армия. «Миллион двести тысяч граждан под ружьем, этот авангард защитников свободы, заставил отодвинуться наши границы с Испанией, Палатинатом и Бельгией. Все уступает их отваге; пораженные ужасом, наши враги бегут, кляня своих главарей, своих тиранов, и втайне клянутся в верности к победившим их. Принесенные в жертву надменности королей народы, на которые падает весь груз бедствий войны, видят во французах лишь борцов за права человека». Второй символ — это народ; суверенный и свободный народ, который, разумеется, принимает участие в делах общества; но прежде всего это *народ за работой*, готовый на любые жертвы ради обеспечения победы армии воюющего отечества. «Французы черпают силы в деятельности. Непрерывный труд хранил нас от бед, коих было столько причин опасаться... Перед потомками предстанет картина народа, который постоянно приносил в жертву отечеству жалованье, одежду и продовольствие, который забывал о своей выгоде и начинал каждый день с жертв, превышающих человеческие силы». Народ под ружьем и народ за работой — вот две составные части *национального величия*: «Ваши враги более не в силах ни затмить, ни скрыть вашей славы. Они более не в силах лишить вас доверия и уважения наций... Вы заставили людей вспомнить, что все они равны, что все они братья. Что одни приходят на помощь другим, что все они отныне одна семья и что *Франция, тесно сплоченная, стала первой и самой могущественной из наций*». Это единство не является чем-то исключительным; напротив, Республика должна распахнуть объятия всем, кто ошибался и заблуждался, проходя извилистыми путями Революции: «Вы основали Республику не только для вас одних, а для всех французов, желающих стать свободными; вам позволено исключить из нее лишь плохих граждан... Вы слишком хорошо осведомлены о том, что происходит, чтобы не знать, сколько граждан сбилось с пути революции... Разве не та же самая кровь течет в жилах этой юной и доблестной молодежи, которая ожидает, что в награду за ее труды и ее победы вы принесете свободу ее родителям?» Так образ национального величия, «деятельной и трудолюбивой Франции», обеспечивает единство на II году Республики, несмотря на превратности Террора, борьбу и раздоры⁸⁰.

⁸⁰ Ленде стремится использовать в своем докладе риторику и лексику национального единства. Так, он избегает таких терминов, как «Гора», «якобинцы», «санкюлоты» и т.д. Тем самым оказываются осуждены и даже изгнаны система образов и лексика, использовавшиеся во II году для отражения и превознесения «революционной энергии». Это изменение языка многое говорит о том пути, который был пройден после 9 термидора. В своем докладе Ленде пытается очертить круг основных проблем, возникавших в ходе прошедших за это время дискуссий в Конвенте. Похоже на то, что, прибегая к риторике единства, Ленде вдохновлялся мыслями Эдма Пети об извращении революционного языка в эпоху Террора. Эдм Пети, хирург по образованию, депутат от департамента Эна, был близок жирондистам, однако избежал

Призывы к национальному и в то же время республиканскому единству были развиты и в некотором роде получили окончательное завершение в *педагогической утопии*, обрисованной в конце доклада Ленде. Самый эффективный способ добиться «привязанности народа к Революции» — *просветить* его. К сожалению, этим способом слишком часто пренебрегали, и ответственность за это вновь ложится на Робеспьера: как и всякий тиран, он рассматривал невежество и предрассудки в качестве своих естественных союзников. А как еще объяснить тот факт, что «сумерки невежества» так до сих пор и не рассеяны «просвещением и образованием»? Почему у французов до сих пор нет в каждой хижине «столь желанных ими изданий, из которых они могли бы узнать о своих правах и обязанностях»?

репрессий, последовавших за народным выступлением 31 мая. 28 фрюктидора II года Эдм Пети произнес в Конвенте большую речь, в которой проанализировал факторы, благоприятствовавшие «тирании Робеспьера» и соответственно режиму Террора. «Как же это произошло? Каковы же были причины этого страшного для свободы феномена? Да, граждане, таковы вопросы, которые должны мы разрешить перед лицом народа во имя интересов самого народа». Оригинальность анализа Эдма Пети состояла прежде всего в той важности, которую он приписывал извращению революционных принципов посредством языка, который сам по себе был извращен. «Без сомнения, Робеспьер говорил о свободе, о равенстве; однако это делалось так, что все оказывались подчинены Робеспьеру, так, что Робеспьер не имел себе равных; без сомнения, он говорил о патриотизме, однако по его словам выходило, что патриотизм заключался в обязанности любить его и уважать его людей; без сомнения, Робеспьер говорил о Республике, однако этой Республикой был сам Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст. Он говорил об истине; однако практически беспрестанно лгал, чтобы причинить вред, и никогда не говорил правды, если она могла ему помешать... Не забудем же, что, начиная со слова «революция», *они лишили все слова французского языка их истинного смысла*. Не забудем же, что, посеяв повсюду беды, неуверенность и невежество, *они включили в язык множество новых слов*, терминов, при помощи которых они описывали к своей выгоде людей и понятия, вызывая ненависть или любовь обманутого народа... Не забудем, что эти речи вновь и вновь напыщенно читались и повторялись всеми афилированными народными обществами, то есть подчиненными тому слишком хорошо известному Клубу, который подчинялся Робеспьеру; и мы отлично представляем себе тот способ, которым распространялась кошмарная мораль Робеспьера и ему подобных». Отсюда вытекало предложение Эдма Пети запретить всем членам Конвента под угрозой тюремного заключения до наступления мира употребление в докладах и речах «слов, изобретенных для того, чтобы сеять в Конвенте и в Республике беды и раздоры», начиная со слов «Гора», «Равнина», «Болото», «Умеренные», «Фейяны» и т.д. Отсюда и другое предложение, дополнявшее предыдущее — поручить Комитету общественного образования придать составляющим французский язык словам их истинный смысл и тем самым «вернуть республиканской морали ее истинную энергию». Речь Эдма Пети не только содержала обзор роли языка в механизме Террора, но и парадоксальным образом свидетельствовала об иллюзорной вере в практически неограниченные возможности революционной власти управлять языком и изменять его, возвращать словам и объединяющим символам «истинный смысл». Не сбавляя темпа, Пети также предложил принять декрет, обязывающий всех депутатов опубликовать отчет о своем состоянии и доходах, начиная с 1789 года. Конвент не поддержал Эдма Пети ни в его надеждах, ни в его подозрениях и вернулся к повестке дня (см.: *Moniteur*. Vol. 21. P. 750-759; заседание 15 фрюктидора). Текст Пети положил начало размышлениям о специфическом языке Террора (продолженным среди прочих Лагарпом) и служит любопытным свидетельством политической культуры конца II года Республики.

Республике до сих пор не хватает достойного ее «плана образования», и Комитету общественного образования следует безотлагательно разработать его. Необходимо принять эти меры как можно скорее. По примеру Марсовой школы необходимо создать специальную Школу, предназначенную для подготовки ускоренными темпами и на основе новых методик армии преподавателей, в которой столь нуждается страна. Таким образом, грядущее создание Нормальной школы стало бы своеобразным и эффективным решением главной проблемы всякой реформы общественного образования: как в сжатые сроки подготовить тех, кто будет формировать новый народ? Помимо этого, необходимо «заполнить пробелы в декадных праздниках», составив для последнего дня каждой декады специальные тексты, содержащие «перечень трудов [Конвента] и основных событий... Пусть там можно будет найти советы, правила поведения; пусть в них проявится любовь к труду, добрые нравы и порядочность; пусть искренний и легкий рассказ привлекает и заинтересовывает». Тем самым революционная власть сможет выполнить свою педагогическую миссию, будет в постоянном контакте с гражданами, вдохнет жизнь в праздники не «помпезностью фривольных зрелищ, а посредством воспитания». Тогда во Франции появятся «новые люди»; она станет близка к образцу, представленному Вале и прославленному Руссо; там народ обретает гармоничное единство в мирной жизни, любви к свободе, труде и знаниях. «В Вале каждый житель занимается земледелием, искусством и наукой; в каждом доме можно найти собрания лучших книг, хитроумнейшие инструменты различных наук и ремесел и сельскохозяйственные орудия, которые не лежат без дела».

В стране, которая едва-едва начала выходить из Террора и все еще пребывала в состоянии войны, какой гражданин не испытывал тяги к этому образу новой Франции, примиренной с самой собой, просвещенной и мирной, трудолюбивой и свободной? Обращение к утопии (или, если угодно, бегство в утопию) позволяло мгновенно представить настоящее, — политический кризис и конфликты, отмечавшие конец II года Республики, — как проходной момент. Усиление педагогической миссии Революции означало обращение к ее истокам и тем самым возможность при помощи образования заполнить разрыв, возникший между изначальными принципами Революции и ее историей, которая должна была стать их реализацией⁸¹.

⁸¹ Тем самым Ленде вновь активно обращается к педагогическим заботам и надеждам, которыми были отмечены любые политические дебаты после 9 термидора. Сведение Террора к «вандализму» заставлял о усиливать педагогическую работу революционной власти. Для революционной риторики было крайне характерно превознесение благ, ожидавшихся от образования, в качестве единственного эффективного лекарства от возможного возвращения Террора. Позволим себе

С точки зрения Ленде, к 9 термидора «французская нация прошла все этапы революции», она совершила, если так можно выразиться, полный цикл своей истории. Исправление причиненного Террором зла представляет собой «возврат к образцам и принципам», к ее изначальным ценностям. Однако этот путь не был бесполезен: народ обогатился опытом, который был, без сомнения, болезненным, но закалил его, сделал более воинственным и энергичным, научил отличать истинные добродетели от обманчивой видимости. Ленде был абсолютно уверен, что эпоха, последовавшая за Террором и начавшаяся 9 термидора, не может стать «реставрацией», простым возвращением к тому, что было раньше, к существовавшей в прошлом политической и институциональной модели. Вне всяких сомнений, исключен возврат к конституционной монархии, однако в равной мере исключено и возвращение к ситуации, существовавшей до 31 мая 1793 года (эта дата по-прежнему остается ключевой; «реабилитации» жирондистов и соответственно возвращения арестованных депутатов пока еще нет даже в проектах). Это возвращение к истокам, но лишь в плане изначальных ценностей и принципов 1789 года. Их возрождение обязательно должно идти параллельно с сохранением институтов 1793 года: революционного порядка управления до наступления мира, поддержки народных обществ, основная цель которых — просвещение народа. Иными словами, Ленде предлагает и *вернуться* к принципам 1789 года и *сберечь*, как ставшие неотъемлемой частью революционного опыта, институты и порыв II года за вычетом террористической практики. Отдавая себе отчет в тех трудностях и препятствиях, которые предстоит преодолеть, он тем не менее считает спую программу реалистичной; Как если бы не существовало никакого противоречия

привести здесь один такой пример: «Что я слышу, сенаторы Республики? Патриоты в деревнях требуют, желают новой победы; отталкиваемые невидимой и святотатственной рукой от новой земли обетованной на протяжении пяти последних лет, они пылают, они пламенно томятся по народному образованию, издавая безнадежный крик, проливая слезы чувственности и умиляясь от признательности. Время торопит; брожение заканчивается; [...] успокоим же тревоги, утешим граждан, и *отеческой рукой оросим хижину земледельца, покрытую соломой бедности, благотворной влагой образования*. Возмутители спокойствия, подстрекатели, разочарованные нашими блестящими успехами, тщатся принизить, обогатить национальное представительство; эти извращенные люди отлично знают, что свобода, опирающаяся на общественное образование, подкрепленная добрыми нравами, сияющая как дневное светило, величественно явит себя народам земли, украшенная лаврами триумфа и бессмертия» (Жиро, заседание 2 фрюктидора II года Республики; *Moniteur*. Vol. 21. P. 708). По сравнению с подобными вершинами красноречия образ Франции, о которой мечтал Ленде, кажется весьма скромным. В конце II и в начале III года было предпринято немало усилий для образования новых республиканских элит: объявленное Ленде создание Нормальной школы и открытие Центральной школы общественных работ (названной впоследствии Политехнической школой). Подробнее см.: *Baczko В Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l'époque révolutionnaire*. Paris, 1982.

между принципами 1789 года и институтами и ценностями 1793 года; как если бы сам и ценности 1789 года прекрасно прошли испытания терроризмом II года; как если бы власть располагала непогрешимыми и разделяемыми всеми критериями для того, чтобы различать «злоупотребления» и «преступления»; как если бы, наконец, «суверенный Народ» и соответственно революционная власть не сталкивались с огромными трудностями при делении на «чистых» и «нечистых», добродетель и порок на протяжении всей истории Революции — как в ее прошлом, так и в будущем⁸².

Конвент с энтузиазмом выслушал доклад Ленде и единогласно одобрил его, однако, похоже, уже на следующий день позабыл об этом прекрасном единодушии, погрязнув в раздорах. Доклад Ленде — весьма примечательный документ, и по своей ясности, и по своим иллюзиям. Он отличается от других и мыслями об ответственности государства, и желанием обуздать разгулявшиеся страсти. Повидимому, его единодушное одобрение стало воплощением, на краткий миг, единства термидорианского Конвента. Для обеспечения будущего Республики проект Ленде предполагал максимально широкое объединение французов, за исключением всех экстремистов — как желающих возвращения Трора, так и выступающих против завоеваний II года и революционного порядка управления. В этом плане доклад Ленде стал воплощением *центристской программы*, однако не ознаменовал начала нового политического этапа; в лучшем случае он обозначил паузу. Заложенный в нем центризм — это *точка зрения*, а не *политическая сила*; вместо невозможного объединения, жизнь, напротив, навязывала углубление конфликтов и политические противоречия. То, что эта точка зрения была представлена от имени Комитета общественного спасения, является лишь плодом обстоятельств и временной расстановки сил. На деле же ежемесячная процедура обновления Комитета общественного спасения, примененная первый раз 15 фрюктидора, создавала в недрах этого Комитета весьма хрупкое равновесие. Таким образом, единодушие, с которым был принят этот доклад, служило признаком слабости, а не силы⁸³.

Доклад был прочитан в последний день II года Республики. Нет сомнений, что торжественность этого заседания благоприятно

⁸² Все цитаты из доклада Ленде взяты из текста, опубликованного в: *Moniteur*. Vol, 22. P, 19-27.

⁸³ Первое обновление Комитета общественного спасения состоялось 15 фрюктидора. Игра велась по довольно сложным правилам. Выбор по жребию и снятие своей кандидатуры (в частности, речь идет о Бийо-Варенне, Колло д'Эрбуа и Тальене) привели к сохранению ряда старых членов Комитета (среди других Робера Ленде, Карно, Приера [из Кот-д'Ор]) и введению новых людей (Мерлена [из Дуэ], Дельмаса, Кошона и Фуркруа). См.: *Guillaume J. Le personnel du Comité de salut public // La Révolution française*. Vol. XXXVIII. P. 297-309.

повлияла на одобрение данного текста — и как итога, и как программы. Символические моменты порождают свои собственные иллюзии: переходный период рассматривается как стабильность, надежды кажутся уверенностью, эфемерность — устойчивостью и прочностью. Ленде надеялся и верил, что печальный опыт Террора поспособствует тенденции к объединению. Похоже на то, что, одобряя этот доклад, Конвент разделил уверенность Ленде и высказался за выход из Террора, «проголосовав за забвение», если воспользоваться выражением Кинз⁸⁴. Однако символика и утопия единства лишь на миг, как это изредка случалось, возобладала над раздорами и обвинениями, над оскорблениями и насилием⁸⁵. Ибо в реальности это было время *поляризации* и *противостояния*, а не единства и объединения. Политическое и символическое наследие II года, даже сведенное к тому, что хотел сохранить Ленде, более не объединяло, а разделяло; принципы 1789 года, будучи примененными к проблемам, возникшим при выходе из Террора, теперь не сплывали, а разжигали конфликты. Конец II года сделал очевидным, что *наследие Революции не едино, а многообразно*. Оно стало объектом политических конфликтов.

«Чтобы возродить Францию, [...] нужно положить конец подозрениям», — настаивал Ленде в своем докладе. Он предлагал выйти из Террора, отказавшись от духа реванша. Своеобразие этого

⁸⁴ См.: *Quinet E. La Revolution / Édité et préfacé par C. Lefort. Paris, 1987. P. 604.* Мона Озуф прекрасно проанализировала эту «невозможность забыть», которая не подчинилась принятому решению и чье противоречивое действие характерно для всей истории термидорианского Конвента. См.: *Ozouf M. Thermidorou le travail de l'oubli // L'École de la France. Paris, 1984.*

⁸⁵ Уже на следующий день, в последний дополнительный день календаря, в праздник помещения в Пантеон останков Марата, стали видны двойственность и противоречия, в которых погряз термидорианский Конвент. Он больше не был объединяющим символом. Для Фрерона Марат символизировал преследуемого журналиста и соответственно свободу прессы: помимо прочего, как мы уже отмечали, Фрерон подражал вербальному насилию Марата, обращая его против якобинцев и «террористов». Однако Марат также (если не прежде всего) был подстрекателем Террора, человеком, запятнанным сентябрьскими убийствами и требовавшим для спасения Революции «ста тысяч голов». Церемония пантеокизации Марата была отмечена тревогой и неловкостью (см. также очень тонкий анализ Моны Озуф: *Ozouf M. Op. cit.*). Двумя декадами позже, 20 вандемьера, Конвент приступил к переносу в Пантеон праха Руссо; праздник проходил под знаком мира, возвращения к Природе и воздания должного просветителям. Однако не было ли помещение праха Руссо подле праха Марата кощунством, оскорбительным для автора «Эмиля» и «Новой Элоизы»? 19 нивоза III года, через сто дней после помещения в Пантеон, бюст Марата был убран из зала заседаний Конвента; тремя неделями позже бюст Марата был разбит в театре Фейдо «золотой молодежью», что положило начало уничтожению бюстов во всех общественных местах — как в Париже, так и в департаментах. 7 нивоза III года останки Марата были вынесены из Пантеона и захоронены на кладбище Сент-Женевьев, после того как его бюст был символическим образом выброшен той же самой «золотой молодежью» в сточную канаву на Монмартре. О черной легенде Марата в эпоху Термидора см.: *La Mort de Marat / Sous la dir. de J.-Cl. Bonnet. Paris, 1986. P. 170 et suiv.*

предложения и было его самой большой слабостью, обрекающей его на провал. Доклад Ленде тщетно старался изгнать ненависть и подозрения, остановить эскалацию страстей и озлобленности. Политический проект Ленде апеллировал к единству, обретенному Конвентом и Нацией после 9 термидора. Это сложившееся после Террора единство символизировалось единодушным возгласом: «Долой тирана!» Террор разделил граждан, чтобы «тиран» и его приспешники могли ими управлять. Вновь обретая свободу, вернувшись к своим изначальным ценностям и принципам, признавая существование одного-единственного «центра объединения», Нация должна была укрепить свое единство забвением «тирании» и стремлением к свободе.

Ленде верил, что в его силах положить начало новой эре, когда Революция сможет вновь опереться на миф о глубинном единстве Нации, народа и соответственно себя самой. В то же время она сможет вновь использовать *механизм, регулирующий* ее деятельность, то есть *устранение* побежденных политических противников, отождествленных с интриганам и врагами Республики. 9 термидора пытались исцелить разгул страстей одним лекарством, подходившим обществу в тот момент: реваншем.

На деле же унаследованные от Террора страх и ненависть лучше всего выражались языком подозрений. Ненависть была обращена против «террористов», агентов и политических кадров Террора, всех тех, кому общественное мнение заранее вынесло приговор за *участие в отправлении бесчестной власти*. Страх же способствовал сохранению призрака возвращения Террора, новых убийств; его разжигали пресса, антиякобинские памфлеты, первые рассказы о потоплениях в Нанте и воспоминания освобожденных заключенных, многочисленные слухи. Реванш сделался личным и коллективным, затронул социальную и культурную сферы, он был направлен против всех этих «негодяев» и «душителей», «рыцарей гильотины» и «убийц», грабителей и расхитителей, невежд и наглецов, которые заняли все должности и некогда восторжествовали над честными людьми. Противоположностью этого страха и ненависти была тревога якобинцев о том, что их начнут преследовать: резкое изменение политической конъюнктуры, становившейся все более и более сложной, первые нападки на «патриотов» порождали среди якобинцев атмосферу страха и неуверенности. И в том и в другом лагере страх усиливался из-за свойственных Революции вербальных преувеличений, особенно распространенных в первые недели после 9 термидора. Выход из Террора расширил сферу применения свободы — в особенности свободы слова и печати. Усиление страха перед возвращением Террора поражает историков, задним числом знающих, насколько слабы были тогда якобинцы. Однако современники чутко реагировали

прежде всего на риторику насилия, которой были пронизаны произносившиеся в Клубе речи. Так, на заседании 21 фрюктидора Дюэм предложил: для того чтобы «избавить наконец Республику от всех аристократов и контрреволюционеров», следует просто-напросто заменить «потоки крови и [...] многочисленные казни» на массовую депортацию всех дворян и священников — «этого пораженного гангреной нечистого сброда, [...] этих прокаженных, этих больных чумой»⁸⁶. Напомним, что эпоха Террора окончилась совсем недавно, и политики отлично знали, что призывы могут предварять само насилие, провозглашать его и готовить к нему, и оно начнется, как только обстоятельства это позволят. Взаимное недоверие было тем более велико, что относительная политическая либерализация облегчала распространение слухов и страхов. Париж кишел «преследуемыми патриотами» и их родственниками, которые искали помощи и защиты в Якобинском клубе, принося с собой тревожные вести о том, что происходило в департаментах; с другой стороны, слухи о новом якобинском «заговоре» вызывали панику, как мы это увидим на примере якобинского восстания в Марселе 5 вандемьера III года.

Таким образом, начавшаяся 9 термидора эпоха не смогла стать временем разработки новых регулирующих механизмов политической жизни. Разумеется, Конвент принял определенные предосторожности, чтобы не позволить «тирании» вернуться (реорганизовав, в частности, структуру центральной власти), однако мае тупившее время реванша не способствовало ни политическому плюрализму, ни терпимости. Призывы к национальному единству, какие бы намерения за ними ни стояли и какого бы происхождения они ни были, не приносили успокоения, а лишь удваивали недоверие и подозрения. Ведь на самом деле символика и образы *единства* Нации или народа использовались начиная с 1789 года в качестве грозного оружия политической борьбы, непременно суля чистки, порой весьма кровавые. Сползание в диктатуру якобинцев и монтаньяров осуществлялось путем последовательного устранения оппозиции во имя неограниченного суверенитета народа, *единого и неделимого*. Помимо этого, выход из Террора осуществлялся посредством устранения «террористов»; эти репрессии были легитимированы «правосудием, поставленным в порядок дня», и совершались от имени народа, единым фронтом выступавшего против тирании. Большинство Конвента всего-навсего повернуло против Якобинского

⁸⁶ Заседание 21 фрюктидора II года; см.: *Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 423-425.* Каррье полностью поддержал это предложение: «Да, граждане, да, времена ложной жалости и преступной снисходительности прошли; будет справедливо, если благо народа — верховный закон для всякого патриота — заставит замолчать эту отвратительную умеренность, которая в конце концов безжалостно удушит нас. если мы проявим слабость и станем и далее к ней прислушиваться».

клуба разработанную тем риторику и идеологию. И это было не столько политиканством, сколько попыткой термидорианцев, зачастую принадлежавших ранее к Горе, заявить свои права на часть якобинского наследия.

Исходя из этого отсутствия глобальных политических инноваций, можно сказать, что, если доклад Ленде и завершал II год Республики, то он *не открывал собой III год*. В самом деле, этот определяющий для политического опыта термидорианцев год открывался под знаком *торжественного обращения*, принятого Конвентом 18 вандемьера, всего через двадцать дней после одобрения доклада Ленде.

«Ваши самые опасные враги — это не подручные тиранов, которых вы привыкли побеждать... Наследники Робеспьера и всех сраженных вами заговорщиков делают все, чтобы поколебать Республику, и примеряют любые маски, чтобы через беспорядки и анархию привести вас к контрреволюции. Вас больше не обмануть, обогащенные опытом французы. Болезнь сама подсказала вам лекарства... Никакой народный орган, никакое собрание не есть народ; никто не должен говорить или действовать от его имени... Все действия правительства будут иметь справедливый характер; однако эта справедливость больше не предстанет такой, какой ее изображали злодеи и лицемерные заговорщики... Французы, избегайте тех, кто беспрестанно говорит о крови и эшафотах, этих единственных патриотов, этих озлобленных людей, обогатившихся в ходе революции; они боятся правосудия и рассчитывают найти спасение в смуте и анархии»⁸⁷.

Текст стоил бы того, чтобы привести его целиком; это настоящий призыв к мести и реваншу, направленный против якобинцев и старых террористических кадров. Атаки против «единственных патриотов» предвещали намерение обуздать народные общества, начиная с главного Клуба (парижского Якобинского клуба). В этом обращении содержались все элементы той политики, которую в конечном счете станет проводить термидорианская власть. Прежде всего, реванш задумывался как легальный и находящийся исключительно в рамках закона. Однако вербальное насилие, содержавшееся в этом обращении, подсказывало, сколь хрупки окажутся эти рамки.

Чрезвычайно увлекательно следить, как день ото дня совершался тот поворот, который вылился в политический выбор, абсолютно противоположный проекту политического единодушия, предложенному Ленде. При этом политический выбор, провозглашенный в обращении от 18 вандемьера, никоим образом не

⁸⁷ Moniteur. Vol. 22. P. 201-202; обращение от 18 вандемьера «La Convention nationale au peuple français». И это обращение также было принято единогласно.

являлся плодом предварительно разработанного глобального политического проекта; большинство термидорианцев раз за разом давало лишь частные ответы на конкретные вопросы, поставленные эволюцией политической ситуации. Тем не менее, реагируя таким образом на текущие события, термидорианцы скатывались в эскалацию репрессий и насилия, подозрений и озлобленности. Эффекты этих спонтанных действий накладывались и дополняли друг друга, пока не сформировали нечто похожее на новый политический феномен. Его контуры все еще оставались зыбкими, но в целом он был достаточно четко различим, чтобы возникла необходимость описать его новым словом: антиякобинская и антитеррористическая реакция. В нашу задачу не входит последовательная реконструкция хроники этих политических событий; ограничимся тем, что назовем несколько важных моментов, определяющих контекст обращения от 18 вандемьера и соответственно проясняющих тот путь, на который вступила власть в начале III года.

Своим обращением Конвент стремился «энергично» вмешаться в своеобразную «войну петиций», центром которой он был на протяжении уже целого месяца. Мы цитировали адреса в Конвент, в которых граждане после 9 термидора поздравляли «отцов отечества» с тем, что они помешали кошмарному заговору «нового Катилины». Эти адреса были единодушны в поддержке и энтузиазме (и здесь неважно, было ли это прекрасное единодушие целиком и полностью плодом выработанных Террором рефлексов или же свидетельствовало о реальном облегчении от свержения диктатуры). Мы также видели, что к середине фрюктидора до Комитета по переписке Конвента дошли последние поздравительные адреса по поводу 9 термидора и начали приходиться первые петиции, в которых обличалось возвращение «поднимающей голову умеренности» и «преследование патриотов». Так, одобрившее 9 термидора народное общество Дижона начиная с 7 фрюктидора предлагало Конвенту дать бой умеренности, которая «взывает к справедливости, как некогда Робеспьер взывал к добродетели», организовать надлежащим образом революционные комитеты дистриктов, разрешить им «вновь приступить к арестам личностей, вызывающих подозрение в соответствии с законом от 17 сентября», призвать всех граждан «сообщать причины, по которым тот или иной индивидуум вызывает подозрения», пересмотреть статью, предписывающую «выносить суждение по вопросу о намерениях». Тот же самый текст, звучавший как призыв к восстановлению Террора, был отправлен в Якобинский клуб, во все аффилированные общества и в парижские секции⁸⁸. И эта

⁸⁸ О народном обществе Дижона и его чрезмерной власти, которая во времена Террора «заставляла всех трепетать», а также о его петиции от 7 фрюктидора II года см.: *Huguency L. Les Clubs dijonnais sous la Révolution*. Dijon, 1905 (репринт: Gennve, 1978). P. 153 et suiv.

петиция не просто была благосклонно рассмотрена наиболее радикальными парижскими секциями. Якобинцы приняли ее с энтузиазмом, распорядились ее опубликовать и обеспечили ей еще более широкое распространение (отправив ее в армии и во все афилированные общества). С этого времени едва ли не ежедневно в Конвент приходили практически аналогичные петиции и жалобы, которые, как правило, одновременно отправлялись в главный Якобинский клуб. Как мы видели, Конвент ответил тем, что обвинил Клуб в стремлении превратиться в «неофициальный центр» власти, в том, что тот сам фабрикует эти петиции, отправляя их затем в департаменты, или же их навязывают обществам его сообщники-«террористы», присваивая себе, в частности, право подписывать «коллективные петиции». В свою очередь, представители в миссиях побуждали власти, народные общества, жителей коммун проводить свою кампанию петиций, которые призывали Конвент сохранять «справедливость в порядке дня», карать «воров», «негодяев» и других сторонников Робеспьера. Такие петиции приходили даже из тех обществ, которые по прошествии двух или трех декад отрекались от высказанного ранее, радикальным образом меняли свою позицию и теперь обличали тех, кто их «обманывал» (так, в частности, происходило в Бурган-Бресе, Оксере, Седане, Марселе). Таким образом, становится хорошо видна работа по «очищению», проведенная в этих местах между отправкой двух петиций. Даже общество Дижона, очищенное депутатом Калесом, в конце концов отозвало свою петицию, признанную 3 и 4 брюмера «под гром самых единодушных аплодисментов» «кошмарной» и «бесчестной»⁸⁹. Этот порыв единодушия, несомненно, свидетельствует об обретении за сравнительно короткое время свободы слова. Однако в равной мере эта полемика и эти противоречия показывают, что новая свобода служила отражением раскола и конфликтов, в выходившей из Террора стране. Один из эпизодов «войны петиций», 11 вандемьера, показателен в плане ожесточенности практически ежедневных столкновений, спровоцированных чтением приходящих в Конвент писем. Помимо прочего, он также послужил поводом для разработки торжественного

⁸⁹ Ibid. P. 206-207. Были даже высказаны требования «громогласно созвать граждан», чтобы подписать это опровержение. Осуждение «бесчестной петиции» было предложено неким Соважо, главой дижонских якобинцев, бывшим... вдохновителем первой петиции; при Терроре его называли «царьком Дижона». Однако это запоздалое отречение отнюдь не спасло его: в жерминале III года он был арестован и отдан под суд за злоупотребление властью и произвольные аресты (Ibid. P. 218). *Le Messenger du soir* 6 фримера с большим удовлетворением написал о том, что очищенные дижонские клубы отозвали свое предыдущее обращение, «свидетельствовавшее об объединении всех террористов». Петиция народного общества Дижона послужила поводом для написания «антивандальной» и «антитеррористической» пьесы «Внутренний мир Революционных комитетов», к которой мы еще вернемся.

обращения Конвента с призывом положить конец этой «войне». В этот день Тибодо осудил манипуляции и манипуляторов, стоявших за петициями с осуждением «умеренности» и «преследований» патриотов. Он ссылался на один конкретный пример. Накануне в Конвент поступило обращение народного общества Пуатье, в котором «вам сообщали, что аристократия и умеренность поднимают головы и что патриоты подвергаются преследованиям». Тибодо, будучи сам избран от департамента Вьенна, решил проверить это обращение (добавим, что несколько членов его семьи были арестованы при Терроре; сам он также боялся ареста, и злые языки потом говорили, что для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность, во времена Террора он приходил в Конвент в слегка запачканной «карманьолке» и красном колпаке...). Он установил, что это обращение было составлено уже несколько недель назад и «подписано лишь семью людьми и что один из этих семи уже более пяти недель лежал в могиле. Кроме того, эти семеро — негодяи, смещенные со своих постов представителями народа и воровавшие вещи заключенных». Тибодо пришел к следующему выводу: Комитет по переписке стал жертвой маневров и манипуляций (другой депутат по тому же поводу не преминул изболтать «робеспьеристов», которых протаскивали в Комитет); однако, что более существенно, таким образом «была совершена попытка повлиять на общественное мнение». Соответственно «укрепить это мнение» тем более необходимо, что доклад, принятый по этому поводу Конвентом (доклад Ленде), в недостаточной степени прояснял ситуацию: его «принципы» были затуманены «слишком общими соображениями». «Поручите же трем вашим Комитетам составить обращение к французам, в котором эти принципы будут высказаны простым, внятным и неоспоримым образом. Когда кто-то осмелится высказать в народных обществах или где-либо еще другие принципы, противоположные тем, что вы провозгласите, он будет изгнан... Если же какие-либо мошенники будут бороться за влияние, если они будут оспаривать положенное им наказание, то большинству Конвента, которое они захотят увлечь за собой и возжелают сделать жертвой своих страстей, придется проявить твердость и положить конец всем бесчинствам»⁹⁰.

⁹⁰ *Moniteur*, Vol. 22. P. 132-133. Тибодо впоследствии прояснил этот эпизод и локальный контекст, в котором разворачивались нападки на «террористов» и «негодяев» Пуатье, в своей брошюре «*Histoire du terrorisme dans la Vienne.*» (Paris, s.d. [an III]). Чтобы охарактеризовать царство Террора в Пуатье, Тибодо приводит следующий образ, приобретающий символическое звучание: «Гильотина существовала в Пуатье долгое время; она оставалась там и несколько дней после 9 термидора. Террористы вырыли подле эшафота ров, оказавшийся у подножия дерева свободы; его корни, говорили они, должны вырасти и окунуться в кровь жертв». (Ibid. P. 52-53.) В частности, предложенное Тибодо обращение должно было представлять собой твердый ответ на «Доклад Комитета по переписке Якобинского клуба» (*Rapport du*

Пример подобной «твердости» Конвент продемонстрировал уже на следующий день; после яростной атаки Лежандра против Колло, Баррера и Бийо-Варенна, названных «заговорщиками», было решено вернуться к изучению их ответственности за Террор и, в частности, их сотрудничества с Робеспьером. Тем самым вновь были начаты дебаты, которые месяцем ранее Конвент постановил прекратить навсегда...

Таким образом, вновь оказалось, что два вопроса: «Откуда мы пришли?» и «Куда мы идем?» — теснейшим образом переплетены между собой и что демонтаж Террора, не связанный ни с реваншем, ни со сведением счетов, лишь абстрактная возможность. Демонстрацию (если в ней еще и была нужда) того, что выход из Террора может совершиться только путем открытых противостояний и ценой антиякобинской «реакции», в особенности спровоцировали «новости из Марсея», удивительно своевременно — в тот же день — представленные Конвенту тремя Комитетами (Комитетом общественного спасения, Комитетом общей безопасности и Комитетом по законодательству).

Марсельское дело, относящееся ко второй декаде фрюктидора, нам придется упомянуть довольно кратко, поскольку невозможно рассказать здесь всю чрезвычайно сложную историю Террора на Юге, кратким эпизодом которой оно являлось. Во многих отношениях оно стало показательным с точки зрения не только глобальной эволюции и политической ситуации в стране, но и взаимосвязей между положением в Париже и теми специфическими проблемами, которые выход из Террора поднимал в департаментах. 20 фрюктидора два новых представителя в миссии, Оги и Серр,

прибыли на Юг, полные решимости, как они сами об этом писали

в докладе Комитету общественного спасения, освободить Юг от «чудовищ, управлявших им и державших его под пятой террора и наглых преступлений». В силу этого оказался неизбежен конфликт

Comité de correspondance de la Société des Jacobins) от 5 вандемьера, который был «опубликован, расклеен, отправлен во все афилированные общества, в армии и в сорок восемь секций Парижа». Хотя в этом докладе якобинцы так и не осмелились высказать явное осуждение политики Конвента, в нем было немало жесткой критики. Так, утверждалось, что после 9 термидора, как об этом свидетельствуют «многочисленные петиции», приходящие от афилированных обществ со всех концов Республики, *чувствуется жестокая реакция*. Доклад яростно обличал тех, кто утверждал, что во Франции миллион человек кормит двадцать четыре других миллиона. Это был прозрачный намек на речь Дюбуа-Крансе, произнесенную в третий дополнительный день республиканского календаря, в которой тот, чтобы подчеркнуть роковое воздействие Террора на экономику, говорил о «миллионе» человек, кормящих другие «двадцать четыре миллиона». Этот образ широко эксплуатировался якобинцами; они причисляли себя к «двадцати четырем миллионам», которые они защищают от другого «миллиона». Тем самым они переводили исключительно политические конфликты в плоскость социального противостояния, противопоставляя народ, бедный и трудолюбивый, «миллиону» богачей, получивших выгоду от Революции.

между ними и марсельскими якобинцами из знаменитого «клуба на улице Тюбано». Те, без сомнения, с энтузиазмом поздравили Конвент со «свержением тирана» 9 термидора, однако очень скоро стали проявлять тревогу по поводу изменения политической ситуации. Так, на своих собраниях они осуждали «умеренность», освобождение «аристократов» и «подозрительных». Для представления своих взглядов Конвенту и Якобинскому клубу ими была отправлена делегация в Париж. Другая «делегация» («десять человек, вооруженных саблями и пистолетами») поспешила встретить новых представителей в миссии. Те не замедлили приступить к освобождению заключенных (за одну неделю было освобождено около пятисот человек), и перед Комитетами Конвента обвинили как «террористов» марсельских якобинцев и находившиеся под их влиянием власти. 26 фрюктидора они отдали приказ об аресте некоего Рейнье — одного из руководителей местных якобинцев, священника-расстриги, бывшего одновременно и учителем, и секретарем Революционной комиссии Марсея, — поскольку было перехвачено его письмо, призывающее к «новому 2 сентября». Якобинцы увидели в этом аресте прямую атаку против Клуба в целом, новый эпизод в противостоянии между центральной властью и марсельцами. Они освистали Оги и Серре и призвали к созданию нового «народного ополчения». 28 фрюктидора Рейнье, которого должны были препроводить в Париж, на выезде из города был отбит у эскорта сотней якобинцев. Представители в миссии назвали этот инцидент явным восстанием и вызовом Конвенту и революционному правительству. Они приступили к «чистке» местных властей и проинформировали Конвент об этом деле в самых тревожных выражениях.

При этом в Париже в последние дни II года новости из Марсея могли лишь беспокоить всех. В разгар «войны петиций», после крайне энергичных выступлений делегации марсельских якобинцев в Конвенте и в Якобинском клубе, прошел слух о том, что вооруженный батальон, составленный из марсельских якобинцев, движется с юга на Париж, чтобы совершить новое 10 августа — на сей раз против Комитетов Конвента. В своем *Le Journal de la liberté de la presse* Бабеф еще больше встревожил общественное мнение, подтвердив, что волнения в Марселе спровоцированы якобинцами для того, чтобы уничтожить Конвент. На фоне этих слухов и наплыва в Париж террористических кадров из ряда департаментов, которые почувствовали угрозу и приехали искать убежища с семьями и друзьями, Конвент на заседании, проходившем в третий дополнительный день календаря (то есть накануне одобрения доклада Ленде), принял решение выслать из столицы всех, кто не проживал там до 1 мессидора (эта мера предвосхищала закон о «большой полиции», принятый 1 жерминаля III года и

предписывающий отправить по месту жительства всех «террористов»). На заседании, проходившем в пятый дополнительный день (то есть на следующий день после одобрения доклада Ленде) Конвент постановил непосредственно вмешаться в дело марсельцев. Он объявил Рейнье вне закона, призвал представителей в миссии арестовать подстрекателей мятежа, опечатал бумаги Якобинского клуба и предпринял его «чистку». Распоряжение закрыть Клуб пришло в Марсель 4 вандемьера, и депутаты в миссии выписали ордера на арест 35 якобинцев, подозреваемых в том, что они участвовали в освобождении Рейнье. В час ночи 5 вандемьера были начаты первые аресты (председатель Якобинского клуба, Карль, вылез на крышу окруженного солдатами дома и бросился вниз). В городе начался мятеж. Толпа примерно в четыреста человек окружила дом, занятый представителями в миссии; один из членов Клуба, некий Марион, проник в здание и «от имени суверенного народа» потребовал немедленного освобождения всех арестованных якобинцев. Депутаты вначале попытались рассеять толпу, а затем ввели войска, которые окружили квартал и арестовали 96 человек (среди них 13 жандармов). 7 вандемьера военная комиссия приговорила Мариона и четырех жандармов к смерти; перед публичной казнью они пели «Марсельезу». Обвинение было предъявлено примерно 250 марсельцам (их дела тянулись до конца III года); местные власти и сам Клуб были радикально очищены.

Во время заседания 12 вандемьера Конвент был проинформирован об этих событиях; ему были зачитаны доклады обоих представителей в миссии, а также триумфальные и призывающие к мести воззвания новых городских властей. «Война всем предателям! — провозглашал наблюдательный комитет Марселя. — Представители, наша обязанность сообщить вам о волнениях, произошедших в нашей коммуне 5 числа сего месяца... Мы провели самое тщательное расследование, чтобы выявить авторов и движущие силы этого губительного для свободы восстания... Мы смогли наконец сорвать с них маску патриотизма, прикрывшись которой они оскорбляли национальное представительство, вводили в заблуждение народ относительно его истинных принципов и принижали его, чтобы облегчить победу замышляемой ими контрреволюции. И им бы это без сомнения удалось, если бы бдительное око не присматривало за их вероломными намерениями. Пусть же предатели трепещут! Ими займется национальное правосудие, и меч отмстит за нас виновным». Новые муниципальные чиновники Марселя выражались еще более определенно и неистово: «Представители, их более не существует, этих одержимых владык, продолжателей системы Робеспьера. Мы будем вечно благодарить вас, представители, только вы смогли победить этого ужасного колосса; только вы смогли избавить Марсель, да и всю республику от кровавой касты, которая готова

была пожертвовать всем ради своих амбиций... Рассчитывайте же, представители, на тех добродетельных людей, которые смогли отторгнуть яд мятежа; они — бич врагов народа, они торжественно поклялись их уничтожить, и они ищут способы для этого лишь в законе, лишь в трудах Конвента, который всегда считали центром высшей власти, точкой объединения, венчающей все». Конвент принял декрет, которым одобрял принятые его представителями меры и провозглашал, что обуздавшие мятеж войска имеют заслуги перед отечеством⁹¹.

В марсельском мятеже порой видят прообраз парижских восстаний 12жерминаля и 1 прерияля. Однако эта аналогия едва ли уместна. Толпа в Марселе, в конце концов, скорее шумела, нежели совершала насилие. Она была куда менее отчаявшейся, нежели парижская толпа: в Марселе не было мощного, мобилизующего фактора весны III года — голода. Марсельская толпа практически вся состояла из мужчин; в отличие от Парижа в нее не вливались женщины с детьми. В этом плане политическая окраска марсельской толпы кажется более четкой: ее ядро составляли якобинцы, которые отнюдь не скрывали недоверия (весьма «федералистского») к представителям центральной власти, которые вмешиваются в их дела. Как бы то ни было, якобинский бунт в Марселе, хотя и оказался весьма непродолжительным, сыграл важную роль в определении политики Конвента. Он способствовал усилению стремления жестко реагировать на действия якобинцев и даже расправиться с ними раз и навсегда. Он, без сомнения, повлиял если не на содержание, то по крайней мере на весьма резкую лексику торжественного обращения к французскому народу от 18 вандемьера⁹². Неделий позже, 25 вандемьера, Конвент принял декрет о народных обществах, запрещавший всякую «афилиацию, слияние, федерацию, равно как любую коллективную переписку между обществами, под каким бы именем она ни существовала».

В течение месяца был совершен резкий поворот, и ответ на вопрос: «Куда мы идем?» — оказался сформулирован на языке реванша. Принятое в те же дни, 22 вандемьера, решение Конвента ускорить процесс Революционного комитета Нанта консолидировало депутатов

⁹¹ О якобинском восстании 5 вандемьера и сопутствующих ему обстоятельствах см.: *Actes du quatre-vingt-dixième Congrès national des sociétés savantes. Nice, 1965. Section d'histoire moderne et contemporaine. T. II. P. 150-166; Kennedy M.L. The Jacobin Club of Marseille, 1790-1794. Ithaca. P. 128 passim.; Vovelle M. La Révolution // Éd. E. Baratier. Histoire de Marseille. Toulouse, 1975. P. 275 et suiv.; Aulard A. Recueil des actes du Comité de salut public... T. XVI-XVIII.*

⁹² Чрезвычайно свирепый язык этого обращения выражал «реакцию» на «войну петиций» и на бунт в Марселе, однако он также показывал новый расклад сил внутри правительства: 15 вандемьера Ленде и Карно как самые давние члены Комитета общественного спасения покинули его; Комитет по законодательству, где доминировали явные сторонники политики реванша, поучаствовал в выработке обращения.

и усилило желание демонтировать систему Террора. Помимо разоблачения убийств в Нанте этот процесс способствовал созданию и более глобальных образов, можно даже сказать — символов *Террора* и *Террориста*. Кроме того, процесс оказал гигантское влияние на распад социальной системы образов 11 года Республики, на упадок и крах Якобинского клуба и на расширение репрессий против политических кадров Террора.

Обращение к французскому народу от 18 вандемьера заставило замолчать тех, кто присылал в Конвент петиции, выражавшие несогласие с этой линией. Однако поток петиций не иссяк; напротив, обращение спровоцировало их новую волну. Между 1 и 15 брюмера Конвент получил более пятисот адресов, в унисон прославлявших его в порыве новообретенного чудесного единства. «Был момент, когда мы опасались распространения подстрекательских принципов, пытавшихся воодушевить интриганов Марселя; был момент, когда мы могли опасаться продолжения кровавого царствования Робеспьера. Но мы услышали обращение Конвента. Мы аплодировали вдохновлявшему его чувству справедливости, и в эту минуты мы вновь поклялись жить для Республики и быть неизменно преданными принципам и Конвенту... Наш центр — это Конвент, да погибнут предатели, интриганы, властители и мошенники» (обновленное народное общество Родеза, адрес получен 14 брюмера). «К нам поступило обращение к французскому народу: трижды его зачитали с трибуны, и трижды оно сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами. Горе тому, кто прочтет его и не умилится, горе тому, чья жестокая и развращенная душа предпочтет насыщаться слезами и кровью; они, без сомнения, продолжатели дела триумвиров или их сообщники. Оставайтесь же, граждане представители, и впредь достойны той почетной миссии, которая была вам доверена великим народом. Без устали разите врагов отечества, будьте безжалостны к подстрекателям, анархистам и мошенникам» (обновленное народное общество коммуны Бон, департамент Ду, адрес получен 12 брюмера). «Сколь же прекрасен день, когда французский народ, исполненный радости, воспевает триумф добродетели... Законодатели, наша радость была бы беспредельной, если бы вы могли стать свидетелями нашего энтузиазма, услышать похвалы и аплодисменты, раздавшиеся после оглашения вашего обращения к французам. Принципы, которые вы в нем развиваете, — это наши принципы. Мы ненавидим террористов, и мы клянемся беспощадно их ненавидеть и далее... Отцы Отечества, мы восхваляем вас, оставайтесь же на своем посту!» (жители коммуны Вильфранш д'Авейрон, адрес датирован 30 вандемьера). «Ваше обращение к французскому народу безвозвратно уничтожило царствие Террора, то царствие, которое узаконивало горе семей и убийство французоз; наконец-то патриоты свободно вздохнули; и

если недоброжелатель помыслит, что день 9 термидора был для него выгоден, пусть он прочитает ваше обращение: он увидит в нем защиту патриотов и решительную борьбу с врагами отечества, которые не готовы по доброй воле присоединиться к нашей большой семье. Трепещите, тираны! Тщетно пытались вы нас разъединить! Французы — это единый народ братьев и друзей» (обновленное народное общество Пор-Мало, адрес поступил 14 брюмера)⁹³.

Выражалась ли в этом дискурсе и языке спонтанность антитеррористических чувств? Или, скорее, эти чувства были продолжением политического конформизма, который существовал и до 9 термидора, и после него? На самом деле здесь можно увидеть оба феномена. Конвент тем лучше узнавал себя в стекавшихся к нему клятвах верности и поздравлениях, что те перефразировали, «в обстановке энтузиазма и под аплодисменты», его собственное послание и возвращали ему его собственный дискурс.

⁹³ См.: А.Н., С325СII, 1404; 1410; 1411. Ленде в своей речи в брюмере III года по поводу обвинений в адрес бывших членов Комитетов заподозрил манипуляции и выступил против «этих обращений, этих петиций, которые нам предлагают рассматривать как проявление общественного мнения» (*Lindet R. Discours prononcé sur les dénonciations portées contre l'ancien Comité de salut public et le rapport de la commission des 21. Paris, s.d [germinal an III], P. 117*).

ГЛАВА III «УЖАС В ПОРЯДОК ДНЯ»

ЧЕРЕДА ПРОЦЕССОВ

«Одной из любопытнейших черт этой странной эпохи было молчание, покрывавшее чудовищные деяния. Хотя Франция страдала от Террора, можно сказать, что она его не знала. Термидор был прежде всего освобождением, однако затем он стал и открытием: последовавшие месяцы преподносили сюрприз за сюрпризом»⁹⁴.

Кажется, что Кошен был немало удивлен этим истинным или наигранным «незнанием» реалий Террора страной, которая сталкивалась с ним ежедневно. Террор был повсюду, хотя его интенсивность варьировалась в зависимости от местных условий. Пусть не всегда в форме «чудовищных деяний» — массовых репрессий, но, по крайней мере, в виде бесконечной череды принуждений и притеснений: списки «подозрительных», вторжения в жилища, чрезвычайные налоги, крючкотворство, связанное с выдачей «свидетельств о благонадежности», высокомерие и жестокое господство во множестве маленьких городков всех тех, кто еще вчера едва осмеливался поднять голову. И молчание по поводу реалий Террора было одним из элементов самой «системы». Точнее, при Терроре не переставали о нем говорить, однако *слово было монополизировано террористическим дискурсом*, его риторикой, его символами и его идеологией. С трибуны Конвента, в газетах, на заседаниях народных обществ до изнеможения бичевали «врагов народа», «заговорщиков» и «умеренность». *Bulletin du Tribunal revolutionnaire* регулярно публиковал отчеты — порой о процессах, порой о более скорых видах суда; списки приговоренных к смерти были постоянной рубрикой в *Moniteur*, дополняя отчеты о заседаниях Конвента и Якобинского клуба. И в Париже, и во многих других городах гильотина функционировала публично (самое большее, ее перенесли с площади Революции ближе к окраине), и зрелище эшафота всегда привлекало зевак. Якобинский дискурс о Терроре как раз и имел целью легитимировать сей предмет, переводя его в символический план и сопровождая экзальтированными возгласами, чтобы скрыть уродливую реальность: грохот повозок, перевозивших заключенных; мерные удары ножа гильотины; грязь, промискуитет и эпидемии в переполненных тюрьмах; но также и нагнетание в глубине души каждого страхов и навязчивых идей, которые никто не решался

⁹⁴ *Cochin*A. Les Sociétés de pensée et la démocratie. Paris, 1921. P. 118.

открыто высказать, несмотря на то что они регулярно питались слухами, порожденными ежедневными репрессиями.

9 термидора не сразу стало «днем избавления». Первое широкое освобождение заключенных, отмена террористического закона от 22 прериала и реорганизация Революционного трибунала последовали лишь за самыми массовыми парижскими казнями, когда 11 и 12 термидора препроводили на эшафот «робеспьеристов». Истинное избавление могло прийти лишь через освобождение слова: когда появилась возможность публично выразить страх и ненависть, когда через «разоблачения» стало известно о пережитых страданиях. Первые из этих разоблачений, в частности по поводу «заговора в тюрьмах», были сделаны с трибуны «обновленного» Якобинского клуба. Так, Реаль, который только что вышел из тюрьмы Люксембурга, поделился своим собственным опытом и призвал рассказать правду о Терроре.

«Чтобы по-настоящему питать отвращение к режиму, который недавно пал, мне кажется необходимым показать его омерзительные последствия. Возмущение добрых граждан должно подпитываться картиной тех бед, которые нас заставили претерпеть в тюрьмах. Пусть другие граждане, оказавшиеся в различных тюрьмах в результате преследований, расскажут об ужасах, свидетелями которых они стали; я же поведаю вам о том, что происходило в Люксембурге. Я не думаю, что революция — это дева, чью вуаль не следует поднимать, как говорится в некоторых докладах. Надевающий оковы режим, государство смерти, мрачное недоверие, написанное на всех лицах и глубочайшим образом впечатанное в души заключенных из-за посаженных к ним шпионов, которые должны были готовить списки для Революционного трибунала, подбрасывать ему пищу; физическое и моральное состояние заключенных, — всё говорило о том, что Люксембург был одной гигантской могилой, предназначенной для того, чтобы поглотить живых»⁹⁵.

⁹⁵ Далее в своем докладе Реаль приводит несколько примеров злодеяний; и так как «кошмарная картина вызвала крики ужаса, некоторые граждане *высказали желание, чтобы оратор прекратил свои возмутительные описания*». Эти протесты и последовавшие затем дебаты показывают политический и идеологический разлад, который даже среди якобинцев вызывало обнажение скрытой стороны Террора. В конце концов, Реаль продолжил свой рассказ (*Aulard A. Société des Jacobins. T. VI. P. 343-345*). Пользуясь случаем, отметим, что Реаль сыграл важную роль в процессе 94 нантцев, а затем и в процессе членов Революционного комитета Нанта, взяв на себя их защиту.

В ходе этих «разоблачений» идеологический дискурс, легитимировавший Террор как символическую систему, сталкивался с самыми жестокими реалиями. Эти «разоблачения» привели к массовому высвобождению скрываемых чувств и породили активную *обратную систему символов*. «Сюрпризы», рассказы об ужасах, воспоминания, которые хлынули на страну на следующий день после свержения Робеспьера, подчас становились определяющим фактором принципиальных политических решений, принимавшихся в конце II года, поскольку они не просто добавляли новые ужасы к уже известным и не ограничивались осуждением (ставшим своего рода ритуалом) «последнего тирана». Каждый новый рассказ поднимал проблему *ответственности* — и Террора, и «*террористов*». «Разоблачения» не просто изгоняли вчерашний страх, они разжигали ненависть. Желание отомстить было направлено не только на Робеспьера и его приспешников, казненных на следующий день после 9 термидора; оно начало распространяться на все политические, административные и судебные кадры, замешанные — прямо или косвенно — в осуществлении Террора. Нередко обвинения выдвигались против особенно жестокого тюремщика или против особенно усердного и непримиримого члена комитета бдительности. Но разве сами они не действовали на основании чрезвычайных законов? Почему же теперь только они должны были расплачиваться за «систему власти», в которой они были не более чем винтиками? Отсюда возник постоянный вопрос: каким образом ограничить *личную* ответственность за преступления Террора так, чтобы она не затронула все эшелоны власти — от самого нижнего до самого верхнего, от тюремщика до депутата Конвента?

Процессы Революционного комитета Нанта и Каррье были первыми крупными процессами против «террористов». 10 термидора Робеспьер и его сторонники были казнены без всякого суда; по отношению к объявленным вне закона мятежникам процедура предусматривала лишь простое установление личности. Что же касается Революционного комитета Нанта, то он имел право на суд по должной форме и с участием прокурора и защитников. На самом деле это был не один *процесс*, а *серия процессов*, слившихся в единое целое.

Превратности истории Революции парадоксальным образом привели к тому, что после 9 термидора были спасены жизни как жертв Террора в Нанте, так и их палачей — как нантских нотаблей, отправленных в Париж, чтобы предстать перед Революционным трибуналом по обвинению в заговоре и измене, так и нантских «террористов», которые сначала бросили в тюрьмы этих нотаблей, а затем и сами оказались обвинены как контрреволюционеры и заточены в парижских тюрьмах.

Дело восходило к эпохе миссии Жана-Батиста Каррье. 21 октября 1793 года (11 брюмера II года) он прибыл в Нант в качестве представителя народа в миссии при Западной армии. Как и все другие представители в миссиях, он был наделен неограниченными полномочиями для спасения Республики, победы над ее врагами, обеспечения республиканского порядка, наказания предателей, мобилизации всех требовавшихся для армии ресурсов. В регионе, где свирепствовала Вандейская война, эти задачи были особенно сложными. Два дня спустя в народном обществе Венсан-ла-Монтань с быстротой молнии распространился слух: в Нанте готовился «федералистский заговор», ставивший своей целью захватить представителя в миссии и сдать город вандейцам. В этом «заговоре» были замешаны нотабли и самые крупные нантские негодянты. 24 брюмера Революционный комитет, придумавший и распространивший этот слух, составил список из 132 «заговорщиков»; два дня спустя Каррье контрассигновал распоряжение об их аресте и передаче в руки Революционного трибунала в Париже. 7 фримера (27 ноября 1793 года) пешая колонна, первоначально состоявшая из 132 нотаблей, дошла до Парижа; им пришлось провести в пути сорок дней. Выжило лишь 97 человек. Дорога была тем более трудной, что дело происходило зимой. По прибытии в Париж нотабли были распределены между различными тюрьмами и госпиталями. Впоследствии умерло еще трое.

Тем временем Террор в Нанте достиг своего апогея и принял особенно дикие формы: массовые расстрелы, потопления, незаконные аресты. Город переживал тяжелое время: после поражения остатков вандейской армии при Савене тысячи пленных были собраны в Нанте и, в ожидании суда военной комиссии, заключены в превращенные в тюрьмы склады и госпитали; тысячи беженцев, среди которых было немало женщин и детей, искали в Нанте убежища в надежде избежать репрессий, которые прошли по провинции как дорожный каток. Вскоре разразился продовольственный кризис, особенно тяжело ощущавшийся в тюрьмах, где условия содержания были крайне неприглядны. Свой вклад внесли и эпидемии дизентерии и тифа (под влиянием общей паники в городе говорили даже о чуме). Репрессии затронули не только вандейцев: в городе шла постоянная охота за подозрительными и контрреволюционерами. Помогавших вандейцам видели повсюду; подозрительные семьи обвинялись в родстве и поддержании отношений с эмигрантами. День ото дня требовали уплаты все новых «революционных налогов», своего рода контрибуций; прежде всего это касалось «богачей» и «скупщиков»*, на

* «Скупщиками» в эти годы именовали тех, кто перепродавал (преимущественно на черном рынке) продовольствие; с официальной точки зрения именно они не давали заработать в полную силу системе фиксированных цен («максимума») на основные

которых возлагалась ответственность за голод. Атмосфера подозрительности, доносов и произвола усугублялась конфликтами между различными властями с нечетко очерченным кругом полномочий, каждая из которых стремилась взять верх: законные власти, чья роль становилась все меньше и меньше; военное командование (считалось, что Нант находился в зоне военных действий); народное общество Венсан-ла-Монтань, тяготевшее к экстремистскому крылу якобинцев и практиковавшее своего рода прямую демократию, не спускало своего «бдительного ока» с властей, обвиненных в примиренчестве и пособничестве «подозрительным»; Революционный комитет, в котором по большей части главенствовали вожаки народного общества, видевшие свою задачу в «революционном надзоре» за городом в целом; «рота Марата», своего рода особая полиция на службе у Революционного комитета, набиравшаяся среди самых «надежных» элементов; и, наконец, над всеми этими инстанциями простиралась верховная и неограниченная власть Каррье.

Представитель в миссии выступал с собственными инициативами, разрешал конфликты между властями, сам направлял репрессии и руководил ими и, полагаясь в конечном счете лишь на самого себя, был окружен собственной сетью агентов, шпионов и доверенных лиц. Эту ситуацию усугубляла так и не окончившаяся, несмотря на все победы, война в Вандее и парализовавший порт экономический кризис, что лишь способствовало произволу и злоупотреблениям властью, конфликтам, доносам и общему чувству неуверенности. В городе, насчитывавшем 80 000 жителей, эти настроения были распространены весьма неравномерно и отнюдь не в соответствии с «делением на классы». Если находившиеся у власти старые и новые элиты были особенно подвержены всем опасностям этой нестабильной ситуации, то весь город прислушивался к залпам расстрельных команд, вдыхал тошнотворные запахи, распространявшиеся от складов, куда были набиты пленные, и от ближайших к городу карьеров, куда сбрасывали расстрелянных, видел плывущие по Луаре тела⁹⁶.

Миссия Каррье в Нанте длилась более четырех месяцев; он был отозван 14 плювиоза II года (8 февраля 1794 года) Комитетом общественного спасения, который, поздравив его с завершенной работой, порекомендовал немного передохнуть прежде, чем ему будут поручены другие задачи. На самом же деле возвращение

предметы потребления.

⁹⁶ Разумеется, я не претендую на то, чтобы охватить в этих нескольких строках весьма сложную ситуацию, в которой оказался Нант зимой II года. Существуют две великолепные обобщающие работы, позволяющие отделить реальность от легенд, что особенно сложно, когда речь идет о Терроре в Нанте: *Histoire de Nantes / Sous la direction de P. Bois*. Toulouse, 1977. P. 260-281; *Martin J.-Cl.* La Vendée et la France. Paris, 1987. P. 206-247.

Каррье объяснялось докладом «молодого Жюльена», специального комиссара Комитета общественного спасения и доверенного лица Робеспьера. Этот доклад был тем более неблагоприятен для Каррье, что по неведению он крайне плохо принял эmissара Робеспьера, сочтя его незначительной личностью (Марку-Антуану Жюльену было всего 19 лет) и сообщником общества Венсан-ла-Монтань (бурные взаимоотношения депутата с этим обществом как раз вступили тогда в особенно деликатную фазу).

«Нанту угрожает соединение нескольких бедствий, чумы и голода. Неподалеку от города было расстреляно *бесчисленное* количество королевских солдат, и эта гора трупов соединяясь со зловонием от Луары, чьи воды сплошь текут кровью, отравила воздух... В Нанте стоит армия, но в ней нет ни порядка, ни дисциплины, разрозненные соединения отправляются на бойню. С одной стороны грабят, с другой — убивают Республику. Люди генералов, гордые своими эполетами и золотым шитьем на воротниках, разбогатевшие от грабежей, проезжая в каретах, забрызгивают грязью идущих пешком санкюлотов, валяются в ногах у женщин, устраивают спектакли, праздники и пышные пиры, оскорбляющие всеобщую бедность... Каррье невидим ни для властей, ни для членов Клуба, ни для всех патриотов. Он сказывается большим и отправляется за город, чтобы избавить себя от насущных дел, но никого эта ложь не обманывает. В городе все хорошо знают, что он здоров, проводит время в серале в окружении султанш, и люди в эполетах служат ему евнухами; все знают, что он доступен лишь для людей из генерального штаба, которые без конца льстят ему и возводят напраслину на патриотов. Всем известно, что у него повсюду шпионы, докладывающие ему, что происходит в тех или иных комитетах и на народных собраниях. К речам прислушиваются, письма перехватывают. Никто не осмеливается ни говорить, ни писать, ни даже думать. Общественное мнение мертво, свободы более не существует. Я увидел в Нанте Старый порядок»⁹⁷.

⁹⁷ Courtois E.B. Rapport sur les papiers trouvés chez Robespierre. P. 358-359; см. также: Lallié A. J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention. Paris, 1901. P. 247 et suiv. Далее в своем докладе М.-А. Жюльен приводит немного больше нюансов: он признает заслуги Каррье, в частности, в том, что тот «в свое время искоренил торгашество и яростно высказывал возмущение духом торговли, аристократии и федерализма». Свидетельство Жюльена, без сомнения, неполно и пристрастно; «истинный робеспьерист», каким был тогда этот девятнадцатилетний мальчик, во многом разделял противоречивое видение Террора, свойственное самому Робеспьеру. Будучи арестован после 9 термидора, Жюльен станет свидетелем обвинения на процессе Каррье.

Отъезда Каррье и прибытия двух новых представителей, Бо и Бурботта, оказалось достаточно, чтобы в Нанте воцарилась атмосфера сведения счетов. Революционный комитет выдвинул обвинения против двух непосредственных сотрудников и сообщников Каррье, служивших ему шпионами, — Фуке и Ламберти. Оба они также были ответственными за потопления; оба были отданы под суд и приговорены к смертной казни за попытку незаконного освобождения женщин Вандеи... С другой стороны, новые представители народа решили начать борьбу с Революционным комитетом, обвиненным в грабежах и насилии. 24 прериаля (13 июля) его члены были арестованы и 5 термидора отправлены в Париж, чтобы предстать перед Революционным трибуналом (к ним был присоединен Фелипп-Тронжолли, бывший председатель революционного уголовного суда Нанта). Практически в это же время 94 нантских нотабля, ранее распределенные по различным тюрьмам, были собраны в Плесси, как если бы Фукье-Тенвиль готовился начать над ними суд.

Не было дано никаких объяснений тому, почему суд над этими 94 нантцами не состоялся ранее и почему их заставили несколько месяцев гнить в тюрьме. На своем процессе Каррье приписывал задержку этого суда себе, поскольку он якобы заступился за них перед Фукье-Тенвилем, что очевидно не так. Между возвращением в Париж и 9 термидора у Каррье были другие заботы: по большей части он был обеспокоен судьбой своей собственной головы, а не голов нантских нотаблей, которых он рассматривал как сборище федералистов и контрреволюционеров. После возвращения в Париж Каррье оказался в большей или меньшей степени замешан в «федералистском заговоре», и хотя тогда его падение не состоялось, он тем не менее чувствовал, что находится под угрозой. В глазах Робеспьера, полностью доверявшего молодому Жюльену, Каррье (так же как Баррас, Фрерон или Фуше) был примером представителя в миссии, запятнавшего Террор своим поведением: роскошествами, грабежом, взяточничеством, тиранией, произволом и т.д. А накануне 9 термидора Робеспьер все еще мечтал «очистить Террор», согласовать его реалии со своими принципами. Эбертистские привязанности Каррье сделали его в глазах Робеспьера еще более подозрительным. По-видимому, именно для того, чтобы избежать опасности, Каррье и присоединился к заговору против Робеспьера. По легенде, а их в отношении Каррье немало, он был в первых рядах людей, сопровождавших телегу с Робеспьером до эшафота и поносивших его.

Задержка процесса над нантскими нотаблями могла объясняться и сугубо «техническими» причинами: Революционный трибунал был и без того завален работой (94 человека были, без сомнения, огромной

«партией»; позднее Фукье-Тенвиль также приписывал себе заслуги в задержке этого процесса, уверяя, что он сделал это за отсутствием доказательств). Так 9 термидора спасло и головы 94 нантцев, и голову Каррье. В последовавшие за 9 термидора дни 94 нантца освобождены не были, их процесс (по которому в качестве дополнительного обвиняемого проходил Фелипп-Тронжоли) начался только в последние дни II года Республики — 22 фрюктидора (10 сентября 1794 года). Обвинительный акт повторял то, что вменялось им изначально: заговор против Республики, присоединение к федерализму или помощь ему, роялистские симпатии, сговор с эмигрантами, действия, направленные на дискредитацию ассигнатов и провоцирование голода. Бывшие члены Революционного комитета Нанта — Гулен, Шо, Гранмезон и Баше-лье — были в качестве свидетелей обвинения извлечены из тюрем, где они гнили в ожидании своего собственного процесса. Как свидетель проходил и Каррье.

Когда в конце II года *правосудие было поставлено в порядок дня*, процесс оказался вписан в совершенно иной контекст, нежели сформулированные зимой обвинения. Он принял удивительный оборот. С первых же часов он превратился в обличающий террористическую практику суд над Революционным комитетом Нанта; он оказался направлен против Террора в целом и против Каррье, воплотившего Террор и дарованную ему Конвентом неограниченную власть в частности. Обвиняемые, и в особенности Фелипп-Тронжоли, превратились в обвинителей, они допрашивали свидетелей о том, что совершалось от имени Революционного комитета: о потоплениях, грабежах, актах личной мести, выкупах за невиновных... Оказавшиеся под огнем свидетели защищались плохо: некоторые факты они отрицали, другие признавали, но каждый прежде всего стремился снять с себя ответственность и скомпрометировать остальных. Разве сам Каррье не заявил с негодованием, что он ничего не знал ни о потоплениях, ни о расстрелах? Он не имел «ни малейшего понятия обо всех этих ужасах и варварских деяниях». За те пять дней, что продолжался процесс, когда откровения о Терроре в Нанте сменились рассказами о муках, которые претерпели обвиняемые по дороге в Париж, речи защитников превратились в обвинения. Нет сомнений, говорил Тронсон-Декудре, один из адвокатов, «необходимо выкорчевать аристократию и умеренность, но нельзя терять из виду *современных последователей Макиавелли*... Некоторые из обвиняемых были временно введены в заблуждение, большинство сражались за родину и покрыты почетными шрамами. Отвратительные убийства осквернили свободу: суд должен подать пример всей Европе; вы должны показать объединившимся в коалицию тиранам, что такое настоящий патриот и насколько благосклонно к нему правосудие. Революционный комитет был основан в Нанте в октябре прошлого года: он спекулировал

жизнью и честью граждан. Он состоял из злобных и безнравственных людей... Граждане были отданы на откуп этим людям, то и дело цитировавшим Робеспьера и пролившим потоки крови; всякий час они изобретали новые заговоры для того, чтобы обвинять граждан и губить их; они говорили, что необходимо передуть всех заключенных разом». Приговор, вынесенный 28 фрюктидора, не удивлял. Хотя восемь обвиняемых были признаны участниками «заговора против Республики» — как, например, Фелипп-Тронжолли, «признанный автором и соучастником федералистских актов и постановлений», Трибунал использовал знаменитую статью о намерениях, введенную после 9 термидора: никто не совершал эти предосудительные действия «со злобой и с контрреволюционными намерениями». В отношении остальных обвиняемых Трибунал не обнаружил никакого состава преступления. Таким образом, все были оправданы. Приговор был принят с энтузиазмом: «Едва председатель закончил свою речь, как зал заседаний Трибунала взорвался единым криком: "Да здравствует Республика!" все сердца были растроганы, взгляды всех зрителей были прикованы к несчастным нанцам, которых вернули отечеству и свободе после столь долгих страданий»⁹⁸.

Так завершился первый процесс; его ход и его приговор сулили неизбежное продолжение. Пресса предала суд над нанцами широчайшей гласности, особенно много внимания уделяя преступлениям Революционного комитета, и в частности потоплениям. Сотни раз было упомянуто имя Каррье. 8 вандемьера III года (29 сентября 1794 года) имя Каррье, сидевшего на Горе и активно участвовавшего в работе Якобинского клуба, впервые прозвучало в Конвенте в докладе по поводу жестокостей, совершенных во времена Террора в Нанте. В ответ несколько дней спустя Каррье опубликовал «Доклад о различных миссиях, которые ему были поручены»⁹⁹. Тем временем Революционный трибунал с некоторой задержкой приступил к суду над Революционным комитетом Нанта; 17 вандемьера Леблуа, общественный обвинитель, составил обвинительный акт. Тем не менее основной импульс исходил от Конвента. 22 вандемьера, то есть через четыре дня после публикации «Обращения к французскому народу» — этого призыва к реваншу, о котором мы уже писали, — Мерлен (из Тионвиля) представил Конвенту новые документы, касающиеся потоплений в Луаре женщин и детей, и воскликнул: «Если бы только это было возможно, Конвенту следовало бы изобрести новые казни для этих

⁹⁸ См.: A.N. W 449. № 105, pièce 90. Bulletin du Tribunal révolutionnaire. P. 86 ; Moniteur. Vol. 22. P. 48-50; *Wallon H. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris*. Paris, 1881. T. V. P. 345 et suiv.

⁹⁹ Rapport de Carrier, représentant du peuple, sur les différentes missions qui lui ont été déléguées. Imprimé par l'ordre de la Convention nationale, Paris, an III; BN L°3982.

каннибалов». Сразу же было принято решение, требующее от Революционного трибунала «без промедления приступить к делу Революционного комитета Нанта *и всех тех, кто окажется замешан в этом деле*». Намек на Каррье был весьма прозрачен, и к тому же говорил о наличии политической воли превратить этот процесс в предостережение и даже образец репрессий против всех «террористов» и «кровопийц».

«Необходимо, чтобы Революционный трибунал преследовал всех этих убийц без исключения; необходимо, чтобы народ видел, что виновных карают на месте; необходимо, чтобы Трибунал немедленно расследовал дело Революционного комитета Нанта и судил всех монстров, которые руководили совершенными в данной провинции преступлениями. Не стоит обманывать себя, граждане: если бы высшая власть не потребовала этих злодеяний, они не были бы совершены. Мы не потерпим, чтобы правление таких людей продолжалось и дальше, поскольку оно обезпечит безнаказанность этим чудовищам, этим кровопийцам»¹⁰⁰.

Обвинительный акт отличался ожесточением.

«Самая что ни на есть варварская жестокость, самое что ни на есть вероломное преступление, самая что ни на есть незаконная власть, самое что ни на есть кошмарное взяточничество и самая что ни на есть вопиющая аморальность — вот слагаемые обвинения против членов и комиссаров Революционного комитета Нанта. В самых древних летописях прошлого, на страницах истории, даже в варварские века едва ли найдутся факты, сопоставимые с ужасными деяниями, совершенными обвиняемыми... Эти безнравственные создания подчинили честь и порядочность своим страстям; они говорили о патриотизме и душили его бесценные всходы; террор шествовал перед ними, и тирания восседала среди них... Воды Луары постоянно были красными от крови, и иностранный моряк не иначе как с дрожью высаживался на берега, покрытые костями жертв, погубленных варварством и вынесенных на отмели оскверненными потоками... Выбор этих новых калигул падал на невинных жертв, на детей, едва вышедших из рук природы... *"Купания"* — вот как они называли преступления, которые заставили бы покраснеть и Нерона, если бы он

¹⁰⁰ См.: *Moniteur*. Vol. 12. P. 226-228 (выступления Мерлена (из Тионвиля) и Андре Дюмона). Похоже, что оба были знакомы с обвинительным актом, готовым к тому времени, как мы отмечали, уже несколько дней. См.: A.N. W 493. № 479, *plaqueette* 3

совершил их хотя бы единожды и по отношению хотя бы к одному человеку, и которые они, более жестокие и более преступные, совершали множество раз по отношению к тысячам несчастных»¹⁰¹.

И тон, и вербальная агрессивность прекрасно продолжали традиции этого учреждения, удивительным образом напоминая риторику Фукие-Тенвиля, в свою очередь ожидавшего обвинительного акта. (История, если судить по тем следам, которые она оставляет в архивах, порой использует удивительно прозрачную символику; Леблуа, общественный обвинитель, составлял обвинительные заключения против ряда членов Революционного комитета Нанта на бумаге, в «шапке» которой значилось: «Антуан Квентен Фукие, общественный обвинитель Революционного трибунала, учрежденного в Париже согласно декрету Национального Конвента». Новый общественный обвинитель удовольствовался тем, что зачеркнул только фамилию Тенвиля и вписал от руки свою. Разумеется, это объяснялось нехваткой бумаги и слишком быстрой сменой событий. Но какой, однако, прекрасный символ преемственности учреждения, которое вначале послужило установлению Террора, а затем «по-революционному судило» «террористов»... Обвиняемые менялись чаще, чем сам язык¹⁰².)

Этот обвинительный акт власти предали широчайшей гласности; он не только был воспроизведен в многочисленных газетах, но и издан в форме брошюры и в нескольких тысячах экземпляров распространен по городам. В такой накаленной атмосфере 23 вандемьера начался другой процесс — Революционного комитета Нанта. С первых же дней обвиняемые прибегли к более или менее согласованной стратегии; ряд обвинений они отвергали в целом, перекладывали ответственность за преступления на приспешников Каррье — Фуке и Ламберти — которые, как мы знаем, были осуждены и казнены в Нанте; значение других фактов они приуменьшали, ссылаясь на обстановку гражданской войны, в которой все происходило. Однако главным аргументом, при помощи которого они стремились переложить ответственность на Каррье, был следующий: они все были лишь исполнителями приказов Каррье, который располагал неограниченной властью. 1 брюмера один из обвиняемых — Гулен патетически воскликнул: обвинения падают на наши головы, однако главная причина наших бедствий, «тот человек, который воодушевлял нас, направлял нас, подчинил себе наши мысли, свободен... Для нас важно, чтобы Каррье также предстал перед

¹⁰¹ См.: A.N. W 493. № 479. «Acte d'accusation fait au cabinet de l'accusa-teur public, ce 17 vendémiaire, l'an trois de la République française, signé Leblois.»

¹⁰² См., например: A.N. W 493. № 479, plaquette 3, № 17; обвинительный акт против Луи Но.

судом. Пусть обратятся ко всему Нанту: любой скажет вам, что Каррье, и только Каррье провоцировал, проповедовал, требовал принятия всех революционных мер». Трибуны, которые были полны на каждом заседании, не оставались равнодушными; публика без конца кричала: «Каррье! Каррье!» Кроме того, после свидетельств, рассказывающих о возмутительных кошмарах, публика восклицала: «Везде! Везде!» Чтобы успокоить трибуны, предатель заверил, что Комитет общей безопасности каждый день информируется о ходе процесса. (И в этом Трибунал вновь оставался верен установленным во время Террора традициям самого тесного сотрудничества с Комитетом, который влиял на процесс из-за кулис.)

Однако Каррье, как и всякий депутат, располагал после 9 термидора своего рода парламентским иммунитетом, который мог быть снят только самим Конвентом. 9 брюмера (30 октября) тот приступил к довольно сложной процедуре, которая должна была дать возможность выдвинуть обвинение против депутата. На следующий день была назначена по жребию комиссия из двадцати одного человека, которая и должна была высказаться по вопросу о Каррье. Тем самым был открыт третий акт дела Нанта: 21 брюмера комиссия представила свой доклад и пришла к заключению, «что для обвинения представителя народа имеются основания». Ему было дано право на защиту; тем не менее Конвент принял решение о его временном аресте до той поры, пока не будет собрана вся информация и, в частности, все фрагменты обвинения. В эти дни напряжение нарастало; множество брошюр нападало одновременно и на Каррье, и на якобинцев, которых обвиняли в желании вырвать депутата из рук правосудия; в городе происходили драки, особенно перед помещением, где заседали якобинцы. Вечером 21 брюмера Якобинский клуб на улице Сент-Оноре был атакован «золотой молодежью», и на следующий день Конвент решил приостановить заседания Клуба. 29 брюмера Конвенту было передано обращение граждан и народного общества Нанта, в котором содержалось требование, чтобы «правосудие было поставлено в порядок дня», а Каррье как можно скорее предстал перед Революционным трибуналом. В нем содержался длинный эмоциональный список обвинений, который Конвент постановил опубликовать.

«Представители французского народа, вы уже убедились, что создать счастливое правление можно отнюдь не Террором, чья кошмарная империя воздвигается среди преступлений и доносов... Стремясь в ваше родительское лоно, наши сердца уже наполнены надеждами и радостью... Так чего же еще хотят эти кровожадные люди, всегда готовые сделать преступника из невинного, обвинить того, кто их разоблачает... Граждане представители, мы верны своим клятвам, как и вы, и мы обвиняем перед вами бесчестного Каррье; его преступления во всем обращаются против него; все здесь

свидетельствует о них; мы обвиняем его перед национальным представительством, которое он хотел унижить, мы обвиняем его перед всем народом, чье доверие он предал... Однако, граждане представители, вы не можете не отдавать себе отчета в том, что Каррье — лишь представитель факции, для которой благо народа — бедствие; той факции, которая хотела похоронить свободу под горой трупов, уничтожить добродетель, оскорбить талант, разрушая памятники искусства, нанести ущерб природе, унижая ее самые прекрасные творения, желая заставить деградировать род человеческий; той беспощадной факции, которая ненавидит все прекрасное и великое и для которой даже человечность — преступление. О, представители французского народа, бойтесь же, как бы эта факция не приложила все усилия, дабы отсрочить процесс Каррье с целью уничтожить свидетелей, которые могли бы высказаться против него, или избавить от суда преступника, чьих разоблачений она боится»¹⁰³.

1 фримера Каррье наконец начал пространно отвечать перед Конвентом на обвинения Комиссии двадцати одного; 3 фримера путем поименного голосования Конвент практически единодушно (голосовало 500 депутатов, 498 выступили за обвинительный акт, 2 проголосовали «за» условно) постановил отдать Каррье под суд. Прямо в зале заседаний Каррье был арестован и 7 фримера занял место на скамьях обвиняемых в Революционном трибунале.

Так начался последний акт. После того как Каррье стал одним из обвиняемых, появилась необходимость, чтобы Трибунал, который заседал уже сорок два дня, возобновил процесс практически сначала, вновь определил основных обвиняемых и установил долю ответственности Каррье по отношению к другим. Слушания продолжались до 26 фримера, когда был вынесен приговор: Каррье и двое членов Революционного комитета, Гранмезон и Пинар, были приговорены к смертной казни (и в тот же день гильотинированы) за преступления, совершенные «с преступными и контрреволюционными намерениями». Трибунал признал виновными в преступлениях и жестокостях 28 других обвиняемых: за соучастие в потоплениях и расстрелах, кражах, взимании выкупа и оскорбительных налогов, незаконных действиях, угнетении граждан посредством Террора и т.д. Однако, постановив, что все это не было совершено ими «с преступными и контрреволюционными намерениями», Трибунал оправдал их и выпустил на свободу. Двое других обвиняемых были оправданы, поскольку «они не были изобличены и выполнении незаконных распоряжений Комитета». Оправдание обвиняемых, чьи преступления выявлялись на протяжении практически всего процесса, вызвало сильнейшее возмущение. Два дня спустя Конвент принял

¹⁰³ Заседание 29 брюмера (Moniteur. Vol. 22. P. 543-546).

решение об обновлении Революционного трибунала и о предании оправданных уголовному суду.

Таким образом, между процессом 94-х жителей Нанта и казнью Каррье прошло практически сто дней. Сто дней, на протяжении которых перед Революционным трибуналом выступили сотни свидетелей; отчеты о заседаниях публиковались в *Bulletin du Tribunal révolutionnaire*, в *Moniteur* и других газетах; результаты поименного голосования по поводу обвинения Каррье были отправлены в местные органы власти и в армии. Сто дней, на протяжении которых страну буквально бомбардировали разоблачениями, чей размах выходил за рамки трагических событий зимы II года в Нанте. За этим последовал другой процесс — суд над Фуке-Тенвилем (жерминаль-флореаль III года). Ничто не оказало такого влияния на тот путь, которым произошел выход из Террора, как процессы Революционного комитета Нанта и Каррье. Оба процесса поднимали проблемы куда более обширные, чем можно было предположить изначально. Они внесли свой вклад в формирование чувства неизбывного ужаса в отношении якобинцев и террористических кадров. Лозунг термидорианцев: «Правосудие в порядок дня» — не означал одно лишь освобождение невиновных, отныне с ним стало связываться требование *наказания виновных* на всех уровнях власти вплоть до самого Конвента. Эти процессы в некотором роде *узаконили право на мечь*. Начиная с ситуации в Нанте, стали подводить катастрофический и одиозный итог Террора и коллективной ответственности его кадров. Таким образом, был внесен огромный вклад в компрометацию и даже в распад революционной системы образов II года Республики. И наконец, эти процессы ускорили переход от вопроса: «Как демонтировать Террор?» — к проблеме: «Как закончить Революцию?»

«СЕРЬЕЗНЫЕ МЕРЫ» И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ТЕРРОРА

«Фуке и Ламберти, верные агенты Каррье, заставляли дрожать весь Нант; и *они поставили в порядок дня не только террор, но еще и ужас*», — провозгласил один из обвиняемых, Пьер Шо, в ходе процесса Революционного комитета¹⁰⁴. Террор в Нанте и, в частности, миссия Каррье по сей день ставят перед историками немало вопросов. Здесь много темных мест: разнятся оценки числа жертв; до сих пор не ясны размах репрессий, функции и ответственность действующих лиц — представителей в миссии, и в частности Каррье, Революционного комитета, учрежденной Каррье тайной полиции во главе с Ламберти и Фуке; двух военных комиссий — Биньона и

¹⁰⁴ Procès criminel des membres du Comité révolutionnaire de Nantes... instruit par le Tribunal révolutionnaire... Paris, l'an III, chez la veuve Toubon. Seconde partie. P. 243.

Ленуара — приговаривавших «разбойников» к смерти после простого установления их личностей. Немало неясного и в двойственном отношении к репрессиям самого города; нет сомнений, что он страдал от Террора, но в какой мере он был его сообщником, одобряя, пусть и молчаливо, «очищение» города от этих тысяч «разбойников», которых ему пришлось бы кормить в те голодные времена и которых собирали во временных тюрьмах, являвшихся воистину рассадником эпидемий?¹⁰⁵

Во время процессов Революционного комитета и Каррье эти проблемы встали еще более остро. Тем более что председатель Революционного трибунала Добсан руководил этими зрелищными процессами крайне плохо. Из 240 человек, призванных предстать перед Трибуналом в качестве свидетелей, на вызов откликнулись только 220. Некоторые свидетели выступали час за часом и по нескольку раз на разных стадиях процесса. Обвинительный акт касался 14 человек; в приговоре значилось 33 обвиняемых. Это

¹⁰⁵ В нашу задачу не входит подробное рассмотрение Террора в Нанте. Исключительно для примера упомянем несколько неясностей, начиная с точных цифр. Попьлки посчитать количество *непосредственных* жертв Террора, то есть казненных, предпринимались неоднократно. Точно также обстоит дело и с потоплениями: в ходе процесса Фелипп-Тронжоли говорил о 23 потоплениях; Мишле, который во время пребывания в Нанте тщательно расспрашивал выживших свидетелей, пришел к тому, что потоплений было 7; по оценке Альфреда Лаллье, не скрывавшего своей враждебности в отношении Каррье и нантских «террористов», произошло 20 потоплений; Гастон Мартен, весьма снисходительный к Каррье, насчитывает лишь 8. По разным оценкам, количество утопленных варьируется от нескольких сотен до примерно двадцати тысяч (последняя цифра маловероятна; скорее всего, их было от двух до пяти тысяч; разброс, таким образом, остается огромным). Судя по всему, комиссия Биньона приговорила к смерти не менее 2600 вандейцев; однако, по некоторым оценкам, их число доходило до 3500. Между брюмером и плювиозом в Нанте было гильотинировано более 200 человек, то есть в среднем 2 человека в день. Однако средние цифры в данном случае не имеют никакого смысла: в реальности в определенные дни казнили несколько десятков приговоренных. Оценки количества *косвенных* жертв Террора, в частности умерших в тюрьмах, еще более разнятся; счет здесь идет на тысячи: с января по август 1794 года состоялось 12 000 захоронений и пришлось выкопать дюжину новых рвов. Мишле утверждает, что репрессии против вандейцев пользовались поддержкой значительной части населения Нанта: «Все эти люди (вандейские пленные и беженцы) были больны инфекционной диареей, которая охватила город. Декреты не оставляли сомнений: перебить всех. Их расстреливали. Однако мертвые убивали живых. Инфекция распространялась — за месяц умерло две тысячи жителей Нанта. Раздражение горожан было немалым.. Мелкий люд Нанта кричал, что надо бросить всех этих вандейцев в Луару. Две соперничавшие друг с другом власти в Нанте — депутат Каррье и Революционный комитет — зорко приглядывали друг за другом, готовые тут же выступить с обвинениями, если бы хотя бы одна из них проявила малейшую снисходительность; они *поддались неустовству народа* и заменили (не забывая о законе) потопления расстрелами» (*Michelet J. Histoire du dix-neuvième siècle*. P. 115). Современное состояние исследований о Терроре в Нанте можно найти в упомянутых выше работах П. Буа и Ж.-К. Мартена. См. также две крайние и противоречащие друг другу точки зрения в; *Lallie A. J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention*. Paris, 1901 и *Martin G. Carrier et sa mission a Nantes*. Paris, 1924.

объяснялось тем, что помимо решения об аресте Каррье Трибунал в ходе заседаний принимал аналогичные решения об аресте других свидетелей, чей допрос показывал, что они были сообщниками обвиняемых в совершенных ими преступлениях. К хаотическому характеру процесса добавлялась неразбериха в разных отчетах о нем. Наряду с практически официальным *Bulletin du Tribunal révolutionnaire* в газетах и отдельными изданиями публиковались другие версии отчетов. Между этими версиями существовало множество расхождений и даже противоречий, которые порой невозможно разрешить. Тем не менее для большинства читателей того времени противоречия между различными рассказами об ужасах были вторичны. В их умах расхождения в оценках количества жертв, приводимые свидетелями, и преувеличения, в которые те впадали, рассказывая о жестокостях, имели кумулятивный эффект: они дополняли друг друга¹⁰⁶.

Эти процессы не просто предоставили потрясающие свидетельства о реалиях Террора в Нанте; к ним добавлялась вся порожденная Террором фантазматическая система образов. Процессы стали своеобразной коллективной разрядкой; зрители в свою очередь обогащали и ретранслировали эту фантазматическую вселенную. Показания демонстрировали смесь страха и ненависти, и порой трудно, если вообще возможно, выявить удельный вес истины в том, что сохранила индивидуальная или коллективная память. Слова свидетелей вторили слухам и толкам годичной давности. Как только мы сосредоточиваемся на роли *этих процессов в формировании антитеррористических ментальностей*, их влиянии на вызревание и упрочение антитеррористической реакции, наше внимание тут же привлекает обобщенный образный ряд Террора — такой, каким он был, со всеми его излишествами. Мишле смог передать влияние этих процессов на общественное мнение: «Это была гигантская поэма в стиле Данте, которая заставила Францию круг за кругом спускаться в этот ад, еще мало известный даже тем, кто через него прошел. Люди вновь переживали, вновь проходили по его скорбным землям, по огромной пустыне Террора, по миру руин и призраков. Массы, которые совершенно не интересовались политическими дебатами,

¹⁰⁶ См.: *Phelippes dit Tronjolly. Réponse au rapport de Carrier, représentant du peuple sur les crimes et dilapidations du Comité révolutionnaire de Nantes*. Paris, s.d. [an III]; *Velasques A. Les procès de Carrier et du Comité révolutionnaire de Nantes // Annales historiques de la Révolution française*. 1924. P. 454 et suiv. Существует по крайней мере четыре варианта отчета о заседаниях: 1) версия *Bulletin du Tribunal révolutionnaire* (версия Клемана); 2) версия *Journal du soir* (версия Галлетти); 3) сокращенная версия в *Moniteur*; 4) версия, опубликованная вдовой Тубон (*Procès criminel des membres du Comité révolutionnaire de Nantes...*). Для поставленных в данном исследовании задач нам показалось бесполезным выявление крупных или мелких разночтений между этими отчетами. Впоследствии мы будем указывать в скобках имя свидетеля (или обвиняемого), на которого мы ссылаемся.

загорелись этим процессом. Мужчинам, женщинам, детям, всем — от высших до низших слоев — снились потопления, они видели ночной туман над Луарой, ее глубокие воды, слышали крики тех, кто медленно тонул»¹⁰⁷.

Воздействие разоблачений Террора в Нанте зависело как от свидетельств о великом «ужасе, поставленном в порядок дня», так и от незначительных пустяков, относящихся к «повседневному Террору». По большей части на суде заслушивали рассказы о «серьезных мерах», определявших особенную жестокость Террора в Нанте: потоплениях, расстрелах тысяч людей, нередко без суда и какой-либо снисходительности к женщинам и детям; но речь там шла также и о буднях репрессий, общих для всех районов Франции: переполненных тюрьмах, незаконных поборах и вымогательствах комитетом бдительности в отношении «подозрительных» (или тех, кто лишь «внушал подозрения, что может быть подозрительным») в связи с выдачей свидетельств о благонадежности; о незаконных «революционных налогах», о мелких кражах (вроде нескольких бутылок вина) во время «визитов на дом», каковые, естественно, предполагали особенно тщательный обыск погребов и т.д. Однако в силу странной игры зеркал, неприятности, злоупотребления, издевательства, неотделимые от повседневного Террора, который пришлось претерпеть всем, словно становились более значимы при сопоставлении с нантскими ужасами. «Серьезные меры» придавали им совершенно другой смысл, усиливали пережитые страхи, ощущение опасности и соответственно ненависть. Террор в Нанте в некотором роде наглядно показывал, что мелкие издевательства или притеснения могут быть прологом к смерти от воды или пули. И все эти члены революционных комитетов, где бы они ни находились, все, кто не мог устоять перед искушением извлечь из своей власти выгоду, пусть даже крошечную, или поглумиться над «богачами» и «скупщиками», — не превращались ли они отныне в виртуальных палачей на службе у Каррье? Так подробный рассказ о Терроре в Нанте, звучавший на протяжении долгих дней в зале заседаний Трибунала, порождал ужас перед злоупотреблениями, совершенными в других местах. А вскоре благодаря отождествлению с нантскими жертвами всех тех, чье имущество или свобода претерпели ущерб, возникло отторжение, направленное против Террора в целом.

Свидетельские показания занимали тысячи страниц; порой они повторяли друг друга, муссируя одни и те же факты. Но от одного

¹⁰⁷ *Michelet J. Histoire du dix-neuvième siècle. P. 102-103.* Словно зачарованный этим персонажем, объединяющим республиканизм и жестокость, Мишле постоянно возвращался к описанию Каррье: «Прежде всего, Каррье был захватывающим, причудливым, своеобразным и мрачным пугалом» (*ibid.* P. 103, note 1). На тех же страницах Мишле рассказывает об эффекте, произведенном другими процессами над «террористами», однако особую важность он придает именно процессам Каррье и Революционного комитета.

свидетельства к другому добавлялись новые детали (пусть даже преувеличенные), которые заставляли отступить страх, помогали избавиться от опасений, создавали сенсации, возбуждали ненависть и чувство мести. Многие показания отличаются нагромождением ужасов, которые свидетели якобы видели своими глазами или, что чаще, были о них наслышаны. Таким образом, свидетельства очевидцев часто смешивались со слухами и молвой. Из этого целого выделяются — и проходят красной нитью по всему комплексу антитеррористических представлений, — несколько обобщенных образов Террора¹⁰⁸.

Террор в Нанте практически укладывается в два образа, ставших символами. Первый из них — это образ залитой кровью Луары, покрытой трупами, несущей в море свои отравленные воды. Этот образ фигурирует в обвинительном акте: «Воды Луары постоянно были красны от крови, и иностранный моряк не иначе как с дрожью высаживался на берега, покрытые костями жертв, погубленных варварством, вынесенных на отмели оскверненными потоками...» В ходе процесса эта тема постоянно всплывала, обогащаясь все более ужасными деталями. «Я свидетельствую, что видела на берегах Луары обнаженные трупы женщин, извергнутые этой рекой; я видела множество трупов мужчин, обглоданных собаками и хищными птицами; я видела в затопленных баржах трупы, все еще привязанные друг к другу и наполовину всплывшие» (показания жены Лайе). То, что поток выбрасывал трупы на берега, свидетельствовало о крайнем возмущении оскорбленной Природы. «Я видел, что берега Луары были покрыты мертвыми телами; я видел на этих берегах трупы детей семи-восьми лет; я видел труп раздетой донага

¹⁰⁸ Напомним, чьи имена фигурируют в обвинительном акте, поскольку они не раз упоминаются в ходе наших рассуждений: 1) Жан-Жак Гулен, член Революционного комитета Нанта, родившийся на Сан-Доминго, 37 лет, проживает в Нанте; 2) Пьер Шо, 35 лет, родился в Нанте, там и живет, торговец, член Революционного комитета; 3) Мишель Моро по прозвищу Гран-Мезон, 39 лет, родился в Нанте, там и живет, член Революционного комитета; 4) Жан-Маргерит Башелье, 43 года, родился в Нанте, там и живет, нотариус, член Революционного комитета; 5) Жан Перрошо, 48 лет, родился в Нанте, там и живет, строительный подрядчик, член Революционного комитета; 6) Жан-Батист Мэнге, 56 лет, родился в Нанте, там и живет, булавочник, член Революционного комитета; 7) Жан Левек, 38 лет, родился в Майнце, член Революционного комитета Нанта, там и живет; 8) Луи Но, 35 лет, родился в Нанте, там и живет, бондарь, член Революционного комитета; 9) Антуан-Никола Болони, 47 лет, родился в Париже, живет в Нанте, член Революционного комитета; 10) Пьер Галлон, 42 года, родился в Нанте, там и живет, переработчик сахара; 11) Жан-Франсуа Дюрассье, 50 лет, родился в 11анте, там и живет, маклер по разгрузке судов, прибывающих с Сан-Доминго; 12) Августин Батай, 46 лет, родился в Шарите-на-Луаре, работник на хлопчатобумажном предприятии, живет в Нанте; 13) Жан-Батист Жоли, 50 лет, родился в Анжервиле-ла-Мартель, департамент Нижняя Сена, литейщик меди, живет в Нанте; 14) Жан Пинар, 26 лет, родился в Кристоф-Дюбуа, департамент Вандея, живет в Пти-Марк, департамент Нижняя Луара. Пятеро последних были комиссарами Революционного комитета. См.: Actes d'accusation..., A.N. W 493. № 479, plaqueette № 3.

женщины, все еще держащей на руках ребенка; я видел обнаженные трупы девушек и юношей» (показания Ламберта, скульптора из Нанта). «Я видел по берегам Луары вплоть до Пэнбёфа бесчисленное число трупов, среди которых было множество обнаженных женщин, которых муниципалитеты расположенных по реке селений обязаны были хоронить» (показания Воде, кораблестроителя). В наиболее типичном виде этот образ используется и упоминается в знаменитой книге Прудома о жестокостях Террора, на протяжении нескольких поколений подпитывавшей коллективную память. «Достойный доверия человек засвидетельствовал, что довольно долго, на протяжении восемнадцати лье, Луара от Сомюра до Нанта была *вся красной от крови*. Переполненная огромным количеством трупов, плывших по ее водам, она несла ужас в океан; но тут же сильный прилив гнал обратно, вплоть до стен Нанта, эти кошмарные свидетельства стольких жестокостей. Вся поверхность реки была покрыта плывущими здесь и там конечностями, за которые яростно дрались раздиравшие их прожорливые рыбы. Каким же зрелищем это было для жителей Нанта [...], отказавшихся от использования воды и рыбы»¹⁰⁹.

Другой образ — это образ города в 80 000 жителей, абсолютно затерроризированного, отданного на откуп банде «кровопийц» и воров, где подонки брали верх над порядочными людьми. Страх опустился на город как свинцовый колпак. «Не уставали повторять, что террор был поставлен в порядок дня; город был погружен в удручающее уныние; тот, кто вечером считал себя невиновным, не был уверен, что он будет признан таковым на следующий день; трудно описать тревогу и беспокойство жен и матерей, когда они слышали, как в восемь часов вечера по их кварталам катятся телеги; им казалось, что и они сами, и их мужья будут оторваны от очагов и брошены в тюрьмы. Таково было царившее в Нанте подавленное состояние, единственными творцами которого являются Каррье и Комитет» (показания Лаэнетта, врача из нантской больницы для бедных). Число арестованных «не поддается исчислению»: «Комитет начинал следствие по поводу людей талантливых, порядочных, богатых» (тот же свидетель); «Комитет Нанта посадил в тюрьму практически всех, кто имел состояние, таланты, добродетели и человечность. Здесь спокойно смотрели на то, что в этом городе называлось *sabrades*, когда семь или восемь заключенных выводили из Комитета, чтобы доставить в здание складов. Если конвойные

¹⁰⁹ Prudhomme L. M. Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française à dater du 24 août 1787. Paris, an V. T. VI. P. 337-338. Прудом выдвигает цифру в 100 000 жертв Каррье; к этому числу он приходит «посредством примерного подсчета с учетом тюрем, болезней» и т.д. Однако в Нанте тогда проживало около 80 000 жителей.

^{*} То есть когда людей рубли саблями.

решали, что уже слишком поздно или идти слишком далеко, этих несчастных убивали прямо под окнами Комитета» (показания Жоржа Тома, врача). В городе, скованном страхом, зараженном трупным зловонием, никто не осмеливался жаловаться; работа порта и торговли, составлявших основной источник дохода, была парализована. «Порядочность, добродетель, таланты и состояние были четырьмя поводами для проскрипций, и добродетель оказалась убита преступлением. В соответствии с принципами эберов, шометтов, руссенов, Робеспьеров и других *вандалов* торговлю уничтожали, дабы поработить Францию» (показания Вильмена, негодяя из Нанта)¹¹⁰.

Переполненная трупами река непременно вызывает в памяти *потопления*. Рассказ о них был одним из ключевых пунктов этих процессов. Потопления уже воплощают в себе все ужасы нантского Террора. Обвинительный акт против Комитета констатировал, что существуют «вещественные доказательства лишь одного случая подобного рода», однако было добавлено, что «многие обвиняемые, терзаемые угрызениями совести, вынуждены были признать, что таковых было от *четырёх до восьми*». Оценка количества потоплений и утопленных менялась от заседания к заседанию и от свидетеля к свидетелю: 4000 утопленных и 7500 расстрелянных в карьере Жигана негодяев (показания Франсуа Корона, солдата из роты Марата); три или четыре потопления, во время которых погибло 9000 жертв (по свидетельству молодого Аффилье, матроса-плотника, участвовавшего в строительстве барж, и Мутье, кузнеца из Нанта, который уверял, что видел «все потопления», происходившие в его квартале); «23 потопления и бесчисленное количество жертв» (по показаниям Фелиппа-Тронжоли); Ламберти и Каррье превозносили свои заслуги, утверждая, что «2800 человек уже прошли через национальные купальни» (показания Мартена Нодилля, бывшего инспектора при Западной армии). Видя, что показания свидетелей не совпадают, Трибунал даже не пытался проверить эти данные. Для историков эти противоречивые оценки ставят практически неразрешимую проблему; современникам был важен глобальный образ и внушаемый преступлением ужас, картины этих барж,

¹¹⁰ Один из обвиняемых, Башелье, попытался в самом начале процесса оправдать политику репрессий. Она представляла собой превентивные меры и имела целью мобилизацию санкюотов против «богачей» (в этом месте Башелье употреблял термины «класс богачей», «капиталисты» и т.д., которые стоит отметить): «Каррье беспрестанно повторял, что богачи способствуют войне в Вандее; что скупщики находятся с ними в сговоре; что богачи никак не помогают беднякам; что в Нанте существовал очаг контрреволюции, , , В тех трудных условиях, в которых мы находились, весь класс богачей был подозрительным; соответственно необходимо было нанести удар по каждому, кто мог навредить, по каждому, кто имел для этого власть и желание. Таким образом, патриотов было арестовано мало; по большей части мы сурово наказывали класс бывших дворян и священников, капиталистов, которые не хотели ничего делать для отечества; однако истинных санкюотов мы пощадили».

тонувших вместе со своим грузом: женщинами и детьми, священниками и мятежниками.

Говоря о потоплениях, нельзя не упомянуть о «республиканских свадьбах», поскольку этот образ надолго остался в коллективной памяти. Начиная с III года «республиканские свадьбы» изображали на многих гравюрах, они поражали воображение и стали символом ужасов потоплений. С первых же дней суда над Комитетом «республиканские свадьбы», называемые также «революционными свадьбами», не раз упоминались в качестве примера «наиболее изощренной жестокости». «Они заключались в том, что совершенно обнаженных юношу и девушку связывали друг с другом под мышками и так сбрасывали в воду» (показания Лазнетта, врача из нантской больницы для бедных). Описание неоднократно повторялось в ходе процесса и имело несколько вариаций: палачи выстраивали мужчин и женщин и связывали их совершенно обнаженными попарно за предплечья и запястья; затем их грузили на корабль, где избивали «большими палками» и сталкивали в Луару; «называлось это «гражданским браком»» (показания Тома, врача, пересказывающего слова пьяного лодочника, который помогал убийцам). По другой версии, «республиканские свадьбы» выражали не только жестокость, но и извращенность палачей, которые упивались непристойностью и скабрзностью. «Я слышал рассказы об этих республиканских свадьбах, которые состояли в том, что старика привязывали к старухе, а юношу к девушке; в этом виде их оставляли совершенно обнаженными на полчаса; после этого они получали сабельный удар в голову, и затем их сталкивали в Луару» (показания Фурье, директора революционной богадельни). Однако кажется маловероятным, чтобы эти «республиканские свадьбы» практиковались постоянно. В ходе потоплений нельзя исключить немотивированную грубость или жестокость, однако все рассказы о «республиканских свадьбах» основываются на слухах; ни один из них не подтверждается показаниями очевидцев или признаниями казнивших. Казалось, сами террористические репрессии и грабежи требовали, чтобы жертв раздевали и связывали попарно, дабы смерть приходила к нантцам в окружении свиты из непристойностей и извращений.

«Серьезные меры» не ограничивались потоплениями. Если жертвы не исчезали в Луаре, их бросали в общие рвы (особенно часто использовались рвы, вырытые в карьерах Жигана, неподалеку от Нанта). Жертв, в частности пленных вандейцев, там казнили, если так можно выразиться, более «классическими» и менее зрелищными способами: при помощи гильотины или оружия. Во время процесса относительно мало говорили о гильотинировании, поскольку в этих случаях жертв приговаривали к смерти в ходе определенной юридической процедуры, пусть и сокращенной. Эти случаи

относились скорее к сфере компетенции Революционного трибунала, а не Революционного комитета. Идея прибегнуть к потоплениям родилась из-за относительной медлительности этого Трибунала; многие свидетели рассказывали о злобных выпадах Каррье в адрес Трибунала, о его приказах судить и гильотинировать быстрее, без ненужного юридического «крюкотворства». Массовые расстрелы плененных вандейцев, захваченных в бою с оружием в руках, позволяли порой ликвидировать более 200 человек в день после простой регистрации их имен военной комиссией Биньона; тем не менее расстрелы вызывали меньшее отвращение, чем потопления¹¹¹. При чтении показаний создается ощущение, что город, уважая закон, пусть даже сведенный к самой простой процедуре, привык к убийствам плененных. И в самом деле, никто не осмеливался оспаривать подобную видимость законности, поскольку это было бы понято как осуждение Конвента, одобрявшего такую ускоренную процедуру. Во время слушаний в центре внимания оказывались преимущественно те ситуации, когда эта хрупкая революционная законность не соблюдалась, и явные случаи произвола и дикости в ходе репрессий. Так, на протяжении всего процесса всплывала история С подразделением из 80 вандейских кавалеристов, которые после поражения при Савене прибыли в Нант с желанием сдаться и сложить оружие. Однако Каррье лично отдал приказ расстрелять их без суда. Среди прочих жестокостей это было лишь незначительным эпизодом, однако ему придавалось большое значение по причине множества совпадавших друг с другом свидетельств (хотя в итоге ходили слухи, что Каррье приказал расстрелять чуть ли не 500 кавалеристов) и из-за того, что Каррье имел неосторожность лично подписать распоряжения о казни. Конвент потребовал доставить их из

¹¹¹ Умы потрясало то, что эти казни были доверены «черным гусарам»*, тем более что ходили слухи об ужасной жестокости этих подразделений, в частности в отношении женщин. Отзвук этого мы находим и в показаниях. 28 плювиоза «офицер по фамилии Орм появился с просьбой дать ему солдат для освобождения пяти симпатичных женщин, арестованных американцами, которые всячески их оскорбляли. Было выделено немало народа; они отправились в лагерь "черных" и слышали, как стонали пленницы. Женщины в один голос требовали, чтобы их увезли оттуда. "Это наши рабыни, — ответили американцы на нашу просьбу, — мы их добывали в поте лица, и их можно у нас отнять только через наши трупы..." Вот-вот могла начаться драка, но возобладали благоразумие, и солдаты предпочли удалиться. [...] Через два дня после этих событий американцы, насытившись, видимо, своими пленницами, отослали их нам; одна из этих несчастных вынуждена была претерпеть домогательства сотни мужчин; она впала в своего рода оцепенение и не могла ходить. Через несколько дней я услышал выстрелы; я спросил, что это, и мне ответили, что это расстреляли женщин американцев» (показания Ж. Коммерэ, торговца зеркалами). В других показаниях нет ни единого упоминания ни об этом эпизоде, ни об аналогичных случаях.

* «Черными гусарами», или «американцами» называли подразделение Северной армии, подчиненное Революционному комитету Нанта и состоявшее из негров и мулатов.

Нанта специальным курьером, и эти списки стали вещественными доказательствами чрезвычайной важности.

Между тем случай с этими вандейцами вписывался в гораздо более широкий контекст, о котором нередко шла речь и во время слушаний. Не объяснялись ли все эти жестокости продолжением войны в Вандее, несмотря на все победы республиканцев? Таким образом, Каррье обвинялся в том, что своими репрессиями способствовал продолжению войны, поскольку они отличались такой жестокостью, что не позволяли вандейцам капитулировать.

«После сражения при Савене я видел, как четверо наших солдат привели довольно много кавалеристов из числа этих разбойников; я слышал, как те признали свои ошибки, высказали живейшее сожаление и готовы были сдаться при условии сохранения жизни... Если бы власть захотела пощадить и их, и тех, кто еще оставался в Вандее, они согласились бы выдать своих главарей связанными по рукам и ногам и убедить большинство своих коммун встать под знамена Республики. Если бы столь выгодные предложения были приняты, вандейского вопроса больше не существовало бы; однако кровожадные люди, сообщники деспотов, были далеки от того, чтобы поддержать меры, которые в итоге лишили бы их власти... И мне пришлось со скорбью наблюдать за тем, как убили, безжалостно расстреляли около сотни этих разбойников... И эта жестокость была совершена а на следующий день после прибытия тех заблуждавшихся людей и несмотря на прокламации, обещавшие им безопасность и защиту» (показания Жироля, бывшего адвоката, бывшего члена Учредительного собрания).

Обвиняемый Но дополнил эти показания; именно он передавал Каррье предложения о капитуляции: «Я позволил себе настойчиво добиваться помилования для наших братьев, введенных в заблуждение фанатиками и контрреволюционерами». «Черт побери! — вскричал Каррье, — вы что, не видите, что это ловушка? Вы плохо знаете свое дело; вас обманывают видимостью смирения; они хотят совершить в городе переворот. Вы — трусы, ничтожества, которые не способны противостоять врагу. Никакого помилования; надо расстрелять всех этих мерзавцев».

Каждый новый день открывались дополнительные ужасы репрессий в Вандее: жителей Букенэ и соседних хуторов собрали под предлогом выдачи свидетельств о благонадежности и расстреляли (показания Рене, командира батальона); трупы расстрелянных женщин оставались на протяжении многих дней свалены один на другой, и «каннибалы» называли их, смеясь, «Горой» (показания Ж.

Деламарра, главного казначея по общественным тратам в департаменте Верхняя Луара; показания Бурдена, кузнеца из Нанта). Хотя из тюрем выводили в основном для того, чтобы утопить или расстрелять, в них самих также погибало множество людей. «Получив распоряжение военной комиссии засвидетельствовать беременность большого количества женщин, содержащихся в помещении складов, я обнаружил там множество трупов; я видел там детей, бьющихся или утопленных в полных экскрементами лоханях. Я проходил по огромным помещениям; мое появление заставляло женщин трепетать: они не видели других мужчин, кроме палачей... Я засвидетельствовал беременность тридцати из них; многие из них были беременны уже семь или восемь месяцев; через несколько дней я вернулся, чтобы вновь их осмотреть... Я свидетельствую, и душа моя разрывается от горя: эти несчастные женщины были сброшены в реку! Эти картины мучительны, они поражают человечество; однако я должен дать суду самый точный отчет о том, что знаю» (показания Тома, врача).

Концентрация всей ненависти, которую процесс заставил подняться на поверхность, на обвиняемых или, шире, на кадрах Террора объясняет то, что действиям обвиняемых, как правило, не придавали идеологической мотивации: крайне редки показания, в которых в качестве смягчающих обстоятельств говорилось бы об их «преувеличенных революционных чувствах» или в которых их называли бы заблудшими душами. Зато сами обвиняемые ссылались на «революционные намерения», признавая, впрочем, свои заблуждения. Ставка была высока: Трибунал должен был вынести свое решение, принимая во внимание «статью о намерениях», революционные или контрреволюционные мотивации инкриминируемых действий. Однако несложно догадаться, что проблема не была исключительно юридической. За нападениями и обвинениями В адрес конкретных лиц вырисовывался своего рода коллективный портрет всех обвиняемых и соответственно террористических кадров. Индивидуальные различия стирались, и возникал единый образ банды негодяев, «кровопийц», «каннибалов», которые без зазрения совести терроризировали целый город. Их единственными мотивами были ненависть, жестокость, алчность и другие самые отвратительные страсти. Они были не просто убийцами, но прежде всего ничтожными негодьями, ворами и мошенниками. Революция не нуждалась в них; это они нуждались в Революции своей мечты, чтобы завладеть властью, обогатиться и удовлетворить свои низменные страсти. Обвинительный акт фактически открывается этим портретом:

«Они осмелились свершить все эти злодеяния под маской патриотизма; они уничтожили добродетель, чтобы короновать

преступление; они умышленно творили все мыслимые бесчинства... Эти аморальные создания подчинили честь и порядочность своим страстям; они говорили о патриотизме и душили его бесценные всходы... Вместо того чтобы притушить и окончить злополучную войну, раздирающую лоно отечества, они разжигали ее огонь своими жестокостями; они были пособниками планов наших вероломных врагов, которые, чтобы подчинить нас, прибегали ко всему, что подсказывала им подлость. Не в силах атаковать республиканцев открыто, они искали в их среде подлых рабов, прятавших под маской патриотизма души отъявленных негодяев и развращенные сердца»¹¹².

Обвиняемые были лишь видимой, хотя и успешно разоблаченной частью широкого сообщества злоумышленников. Доказательством этого служило то, что во время заседаний Трибунала многие свидетели были также разоблачены и арестованы; то, что Каррье, хотя он и был обвинен в организации потоплений, расстрелов без суда и других жестокостях, сел на скамью обвиняемых лишь 7 фримера, то есть через сорок два дня после начала процесса Революционного комитета.

Широко распространенное в политическом языке термидорианцев предание о «террористах» находило свое подтверждение в показаниях свидетелей. «Кровопийцы», «каннибалы» — это были не просто эпитеты или метафоры; обвиняемые словно бы действительно пили кровь и вели себя как каннибалы. Показания содержат прекрасные примеры того, как стирались границы между воспоминаниями о Терроре в Нанте и галлюцинациями, рождавшимися в глубинах искалеченных умов. Приведем несколько примеров подобной работы коллективной фантазии.

Франсуа Карон, бывший прокурор, солдат из роты Марата, выступил с душераздирающими показаниями о подготовке к потоплению в ночь с 24 на 25 фримера в Буффе, куда он отправился вместе с другими «Маратами». К этому он добавил то, *что знал со слуха*, — ходившую по городу молву. «Меня заверяли, что у женщины, готовой родить, был вырван плод, что его насадили на кончик штыка и бросили в воду». В свою очередь, рассказывая о жестокостях, совершенных вандейцами, «террористы» приводили аналогичные образы: женщины с развороченными животами, варварские действия, выразившие

¹¹² Acte d'accusation... Нет нужды подчеркивать влияние на исход суда этой характеристики, в которой мораль соединялась с политикой. Обвиняемые отнюдь не были революционерами, которыми они старались казаться, они были *контрреволюционерами* на службе «врагов», союзников вандейцев. И сразу же выходило, что «статья о намерениях» к ним не относится. Мы еще вернемся к этому уподоблению «террористов» агентам Питта и Кобленца.

стремление уничтожить врага вплоть до его еще не рожденного потомства. Рассказы, которые невозможно проверить, свидетельствовали о накале ненависти с обеих сторон: врага обвиняли в совершении насилия, одновременно и предельно жестокого, и предельно архаичного. Тот же свидетель утверждал, что Гулен якобы заявил с трибуны народного общества: «Смотрите, чтобы среди вас не оказалось умеренных, ложных патриотов; необходимо принимать в наши ряды лишь *революционеров, патриотов, имевших смелость выпить стакан человеческой крови*». Гулен тщетно объяснял, «что его слова исказили» и что он всего лишь хотел перефразировать знаменитое высказывание Марата, заявлявшего, что он «хотел бы иметь возможность напиться крови всех врагов отечества». Эпитет «кровопийца» оказывался правдой; отмеченная им группа врагов рода человеческого закрепляла эту ассоциацию посредством ритуала, за которым стояла многовековая символика, — ритуала шабаша и договора с дьяволом. Другие свидетели рассказывали о других символических деяниях: по словам Пинара, он привез из одной экспедиции против вандейцев чаши для причастия и другие предметы культа; Каррье же потребовал, чтобы Пинар выпил из этой чаши неизвестный ему странный напиток и упрекнул в том, что не перебили «всю эту мразь». Жан-Батист О'Салливан, тридцати трех лет, обучавший военному делу и назначенный Каррье аджюданом¹, давал показания по поводу потоплений возле складов: Каррье заявил ему, что граждане Нанта — контрреволюционеры и что необходимо войско в 150 000 человек, чтобы уничтожить всех нантцев. Тем не менее председатель суда задал ему вопрос о его собственных подвигах: «Не практиковали ли вы сами перерезание разбойникам горла ножом с очень узким лезвием? Не хвалились ли вы сами, говоря: "Я внимательно смотрел, как это делает мясник; с этими разбойниками у меня тот же разговор; я заставлял их повернуть голову, как если бы они хотели посмотреть на рыб; я проводил им ножом по горлу, и готово дело"». Зал «содрогался от ужаса». О'Салливан объяснил, что, участвуя в войне с «разбойниками» и видя их жестокости, он мог «в порыве отвращения» сказать, что, «если эти разбойники попадут мне в руки, я зарежу их своим ножом, чтобы отомстить за моих братьев, [...] однако я не способен совершить казнь через подобное кровопускание и не могу об этом слышать без содрогания». Он был арестован в зале заседаний суда и присоединен к другим обвиняемым.

Совершенно особое место в показаниях занимала рота Марата. Она пользовалась огромной, практически неограниченной властью. «Она обладала правом вторгаться в жилища и при необходимости заключать людей в тюрьму, не уведомляя об этом Комитет». Комитет передавал список роте Марата, которая отправлялась к указанным в

¹ Аджудан — унтер-офицерское звание во французской армии.

нем людям и бросала их в тюрьму на основании простых записок, а иногда даже хватала на улице «по простому подозрению». «Мараты» были своеобразным связующим звеном между «серьезными мерами» и повседневным Террором: они осуществляли потопления вместе с членами Комитета, но они же грабили «богачей». Они взимали дань с городских нотаблей, угрожая отправить их в помещения складов, откуда никто не выходил иначе как затем, чтобы «выпить большую чашку»¹¹³; они опечатывали квартиры и магазины, чтобы затем их разграбить. Для совершения подобных преступлений вместе должны были собраться самые аморальные типы.

«Так называемая рота Марата, сформированная то ли Комитетом, то ли депутатом Каррье, состояла из гнусных тварей, и, если так можно выразиться, из отбросов города Нанта. Она была верным инструментом варварства Комитета; эти люди, отмеченные печатью преступления, навербовали себе сторонников; они осуществляли тираническую власть и преднамеренно очерняли перед деспотами, обладавшими властью над жизнью и смертью, тех честных людей, кто имел несчастье не понравиться верховным слугам Комитета»¹¹³.

Революционный комитет набирал эту роту по весьма специфическим критериям. В нее входили самые отъявленные негодяи, и у каждого из них Гулен спрашивал: «Не знает ли он еще большего злодея, поскольку нам нужны именно такие люди, чтобы вразумить аристократов... Вот истинные подонки, больших злодеев не существует» (показания Фелиппа-Тронжоли. Когда председатель задал Гулену вопрос по этому поводу, тот отрицал данное обвинение как «неправдоподобное»: на самом деле, он первым предложил поставить на голосование вопрос о выборе кандидатов и отвел некоторых из них). «Мараты» приносили специальную клятву, точно описанный способ набора сам по себе не давал необходимых гарантий: «Я видел плакат, озаглавленный "Клятва Марата", этот плакат был задуман так, чтобы заставить содрогнуться всех добрых граждан. В этой клятве они отказывались от дружбы, от родственников, от братьев, от отеческой и сыновней нежности; они отрекались от чувств, которые наиболее подобают тем, кто почитает природу и общество» (показания Ламари, скульптора и муниципального чиновника в Нанте; в тексте этого плаката, представленного на процессе позднее, использовались революционные риторика и преувеличения, призывающие посвятить себя родине и революции и отречься от всякого личного интереса).

¹¹³ Здесь и далее аналогичные эффемизмы обозначают потопления в Луаре.

¹¹³ Bulletin du Tribunal révolutionnaire. P. 162 (взято из нескольких показаний); см. также: Wallon H. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris. T. V. P. 360-361.

Они были не только злодеями, но и *вандалами*, необразованными и неграмотными людьми, испытывавшими отвращение к искусствам и талантам. Конечно, *Пьер Шо*, один из главарей Комитета, счел полезным сменить имя и зваться *Сократом Шо*; однако он сделал бы лучше, «подписываясь *Злодеем Шо*» (показания Во, представителя народа). «Мараты» «уничтожали прекрасные полотна; они щадили лишь те, на которых была изображена смерть; они говорили [заключенным] с жестокой иронией: "Смотрите на эту картину!", тут же добавляя, что заключенные «сгодятся, чтобы испить из большой чашки»» (показания вдовы Малле, торговки табаком; она также жаловалась, что под предлогом реквизиций у нее украли золото, серебро и 700 ливров ассигнатами). Гулен и Пинар были обвинены в том, что подписали распоряжение, позволившее отобрать более 3000 ливров серебром, драгоценности и часы у семьи Лабош (приговоренной к лишению свободы, поскольку их дети были заподозрены в эмиграции). Пинар не отрицал, что приказал арестовать эту семью, на которую ему указали как на «разбойников», и что с согласия Комитета он сохранил у себя часть их серебра, однако с негодованием отверг обвинение в том, что подписал распоряжение о реквизиции. Доказательством того, что в данном случае речь шла о клевете, служит то, что он не умел ни читать, ни писать (показания Гиньона и Пинара по делу Лабошей).

Случай с неким Дероном, «отрезателем ушей», быть может, лучше всего передает неизбежный зазор между реальными фактами, мрачными и жестокими, и игрой воображения, которую они порождали. В ходе заседания 1 фримера гражданин Лалье потребовала, чтобы суд выслушал ее «заявление о важном факте». Она сообщила, что после разгрома вандейцев «некий Дерон явился в народное общество с ухом мятежника, прикрепленным к его шляпе при помощи кокарды; у него были полные карманы таких ушей, и ему доставляло удовольствие заставлять женщин их целовать». Свидетельница добавила, что ей известны и другие «варварские обстоятельства», касающиеся «нравственности обвиняемых», однако она не осмеливается о них поведать из опасения утратить уважение суда. Вызвав таким образом усиленное любопытство, она не заставила долго себя уговаривать и дополнила свои показания. «У того же Дерона еще и руки были полны гениталиями, которые он имел жестокость отрезать у убитых им мятежников и которыми он также терзал взоры женщин». Несколько дней спустя Трибунал приступил к допросу самого Дерона, военного инспектора продовольствия, в качестве... свидетеля обвинения против Каррье. И в самом деле, Дерон обвинил Каррье в различных жестокостях; так, тот отдал приказ расстрелять всех комиссаров, направленных

* Игра слов: «Сократ» (*Socrate*) созвучно слову «злодей» (*scélérat*).

другими представителями в миссиях и желавших разделить съестные припасы между Нантом и другими городами. «Черт возьми, я хочу, чтобы все зерно Вандеи было захвачено; расстреляйте-ка для меня всю эту мразь!» — такова была реакция Каррье, отказавшегося тем не менее подтвердить свой приказ письменно.

Дерона также допросили по поводу его собственных подвигов. Во время довольно сумбурного допроса, в котором участвовали и другие свидетели, Дерона «заставили сознаться в том, что он *приходил в народное общество сушами мятежников и гениталиями, которые заставлял женщин целовать*». Кроме того, он признал, что по его приказу были убиты дети тринадцати и четырнадцати лет, которые пасли баранов. (В свою защиту Дерон добавлял, что нередко дети этого возраста переносили патроны и шпионили за республиканскими войсками; помимо этого, он подчеркивал свою смелость и услуги, оказанные в ходе боев с «мятежниками»). Трибунал принял решение немедленно отправить его на скамью подсудимых, поскольку он был замешан в многочисленных жестокостях и убийствах, инкриминируемых Революционному комитету. В итоге в приговоре сохранилось обвинение в том, что он убивал детей и «публично носил на шляпе»... ухо человека, которого сам убил (при этом было отмечено, что он не делал этого «с контрреволюционными намерениями»; соответственно его оправдали).

Образ Дерона, детоубийцы, публично носящего человеческое ухо на своей шляпе в виде своеобразного охотничьего трофея, мрачен и пугающ. Для трансформации этого образа в рассказ о том, что Дерон заставлял женщин целовать отрезанные у вандейцев гениталии, требовалась немалая работа болезненного воображения, опиравшегося на ходившие слухи. Таким образом, оказывались неразделимо связаны смерть и жестокость, сексуальность и извращение. История Дерона представляет собой крайний, однако не единственный случай: можно привести немало примеров, в которых прослеживаются те же элементы и тенденции нездорового воображения. В ходе процесса то и дело повторялись рассказы об «оргиях» и сексуальном насилии, которые украсили бы любой роман «божественного Маркиза». Так, Робен с его сообщником, неким Лаво, еще одним доверенным лицом Каррье, брали женщин-заключенных на галиот, чтобы «удовлетворять с ними свои животные страсти, а затем рубили их саблями и топили» (показания Шо, обвиняемого наряду с Робеном). Палачи вели себя «крайне непринужденно с женщинами, которых заставляли потакать своим страстям, а наградой за их услужливость — если они имели счастье понравиться — было драгоценное преимущество: их исключали из потоплений. Один из этих "потопителей", привыкших к женской покорности, сказал мне однажды: "Завтра я постучу к тебе среди ночи, скажу, что я Мандрен",

¹ Луи Мандрен (ок. 1725-1755) — знаменитый французский разбойник.

ты откроешь"» (показания Виктории Абраам, вдовы Пишо). Перрошо был обвинен в том, что требовал от «дочери Бретонвиля, чтобы та уступила его бесстыдным домогательствам»; только при этом условии он обещал освободить ее отца. Перрошо отверг это обвинение, утверждая, что это ее мать предложила ему «насладиться ею, однако он отказался, заметив этой гражданке, что та порочит звание матери» (показания Софии Бретонвиль и Перрошо). Несколько раз всплывал случай с Ламберти, правой рукой Каррье и одним из организаторов потоплений, приговоренным и казненным в Нанте после отъезда Каррье за то, что он похитил «прекрасную вандейскую графиню и ее служанку с палубы галиота» и спас, «чтобы развлекаться с ними» (показания Но, одного из обвиняемых)¹¹⁴.

Читая все это, мы уже не удивляемся, что Каррье превосходил остальных в жестокости, распутстве и извращенности. О его «оргиях» рассказывали на протяжении всего процесса как свидетели, так и обвиняемые. По его приказам из помещения складов забирали девушек не старше семнадцати лет и отправляли в его загородный дом, где он составлял «сераль» из «жертв своего сластолюбия» (показания Клерваля, почтового работника). С другими «реквизированными» им женщинами он предавался «привычному для него разврату» и «гнусным оргиям» (показания Вильмена, негодянта из Нанта), он также отдал приказ утопить сотню публичных женщин (показания Жана Дриё, рантье). Три женщины «возбуждали бесстыдные желания Каррье... Он принес их в жертву своей похоти и, когда пресытился ими, приказал их гильотинировать» (показания Фелиппа-Тронжоли; даже председатель счел необходимым заметить Тронжоли, что тот «заходит слишком далеко в своих наблюдениях и опасениях»). Часто всплывала история про обед на голландском галиоте, который Каррье подарил Ламберти и который служил для потоплений: Каррье дал на нем великолепный обед на двадцать персон для своих соратников (то ли с женщинами, то ли без них, в

¹¹⁴ Мишле долго говорит об этом эпизоде, представляя его в совершенно ином свете. «Широко известная дама» (однако он так и не называет ее имени) была «вандейкой, приближенной к королеве и говорившей только о королеве». Влюбившись в нее и будучи «человеком действия», Ламберта решил ее спасти и перевезти к себе. Это было «таинство любви, надменности и исступления», поскольку в конце концов «эта гордячка не отказалась последовать за ним и жить с ним. Принес в приданое смерть, она приняла его преданность, желая, чтобы он умер для нее... Он умер ради нее одной. Он наслаждался своим загробным счастьем сорок дней» (*Michelet J. Histoire du dix-neuvième siècle. P. 115-116*). Так эпизод с «прекрасной графиней» превращается в романтическую историю любви и страсти, преодолевшей социальные различия и политическую злобу. Мишле не ссылается ни на какой источник, но не пользовался ли он рассказами нантского эрудита Дюгаста-Матифё, неистового республиканца, которого неоднократно посещал за время пребывания в Нанте? К тому же Мишле обходит молчанием усердие и подвиги Ламберти во время потоплений, однако превозносит его безупречную смелость в сражениях с вандейцами и его преданность Республике (*Ibid. P. 117-118; Martin G. Carrier etsa mission a Nantes. P. 274-275*).

зависимости от показаний). У одного из них по имени Легро усы были еще красными от крови; там распевали монтаньярские песни и пили «за попов, хлебнувших из большой чашки». Ламберти развлекал сотрапезников, рассказывая о том, как он рубил саблей избежавших потоплений. Сам же Каррье зачитал там доклад о потоплении священников, отправленный им в Конвент; он кричал: «Убей! Убей!» — и рассказывал, что никогда еще не получал такого удовольствия, как когда наблюдал за гримасами умирающих священников (показания Жана Сандрока, командира транспортного дивизиона; Жана Готье, ножовщика, солдата из роты Марата; Робена, одного из обвиняемых)¹¹⁵.

С точки зрения коллективной системы образов основной задачей рассказов об извращенности Каррье было создание его образа «чудовища». Каррье олицетворял собой и «серьезные меры», и будни Террора. Он сыпал словами «черт побери» и «м...», во время заседания народного общества он выхватил саблю и перерубил свечи; ответом на любую жалобу у него было «убить», «гильотинировать», «швырнуть в воду». Свидетели и обвиняемые, члены Комитета — все в один голос возлагали на Каррье ответственность за жестокость и чудовищные действия, связанные с Террором в Нанте. «Каррье поставил себе на службу террор, смерть, Луару, гильотину и контрреволюцию», — восклицал Шо, вопрошая: «Для того ли мы назначили представителя народа, чтобы он убивал народ?» Но, другой член Комитета, заявил: «Каррье лично явился в наш Комитет, чтобы назвать нас контрреволюционерами. Мы были отцами семейств; таковым не был Гулен, однако этот человек — агент и слепой инструмент Каррье, который его погубил, как он погубил и всех нас». 1 брюмера Гулен потребовал от имени всех обвиняемых, чтобы Каррье явился в суд: «Человек, который возбуждал наши умы, направлял наши действия, господствовал над нашими мыслями, руководил нашими поступками, спокойно взирал на наши слезы и наше отчаяние. Правосудие требует того, кто разверз перед нами пропасть, в которую мы слепо бросились по его приказу, и кто был достаточно труслив, чтобы бросить нас на ее краю; для нашего дела

¹¹⁵ У Каррье действительно была в Нанте любовница, жена Ле Нормана, директора богадельни урсулинок. После отъезда Каррье в Париж она последовала за ним вместе со своим мужем. См.: *Velasques A. Études sur la Terreur à Nantes // Annales historiques de la Révolution française. 1924. P. 150 et suiv.* На основании изученных документов Веласкес пересказывает несколько слухов, которые ходили в Нанте об этом «браке на троих», и в частности о «Ла Норман», которую «вслух называли потаскухой Каррье», «Однажды он [Каррье] сказал Ла Норман: «Мне предложили прекрасную женщину, которой требовалась моя защита, чтобы ее помиловали; я ответил тому, кто мне это сказал: "Она красива? Пусть ее привезут ко мне". Тогда Ла Норман сказала ему: "Я поеду с тобой; хочу взглянуть на нее". Я слышал, что Каррье отвез эту женщину в замок О (на берегу Луары), и что на следующий день, около четырех часов, он и она [Каррье и Ла Норман] отправились в О, и что оба получили удовольствие, заставив ее выпить большую чашку чая с водой». *Ibid. P. 165.*

важно, чтобы Каррье предстал перед судом». В свете этих слухов, свидетельств и фантазмагорий, по мере того, как продвигались слушания, в центр суда над Революционным комитетом с каждым днем все более выдвигалась *личность* Каррье. Но и сам суд эволюционировал: очень скоро он стал заниматься не личностью, а проблемой Каррье.

И в самом деле, разве Каррье не был всего лишь связующим звеном между Террором на местном уровне и центральной властью, Конвентом и его Комитетами? С того самого момента, как процесс позволил каждому увидеть в Терроре те злодеяния, жертвой которых был он сам, демонтаж террористической системы на новом уровне актуализировал вопрос об ответственности: следует ли ограничить преследования местными кадрами, проводившими Террор в повседневную жизнь, или следует заняться и другими, вплоть до бывших членов Комитетов, представителей в миссиях, депутатов Конвента — вестников и эмиссаров большого национального Террора? Следует ли устроить суд над нантским Террором или же над II годом, Конвентом и соответственно Революцией?

СУД НАД РЕВОЛЮЦИЕЙ?

«Первой катастрофой был Террор, второй катастрофой, погубившей Республику, был суд над Террором»¹¹⁶. Так Кинэ писал о крупных процессах над «террористами», в частности о суде над Каррье и Фукье-Тенвилем, которые в его глазах были лишь мелкими агентами Террора, простыми «пружинами» «системы Террора». Как здесь следует понимать слово «катастрофа»? Похоже, Кинэ по своей позиции был близок к тем взглядам, которые высказывал Ленде в речи, произнесенной в последние дни II года: выходя из Террора, необходимо *не допустить реванша* и, следуя очень удачной формулировке Кинэ, «декретировать забвение»¹¹⁷.

Однако было ли в самом деле возможно — и с политической, и с психологической точек зрения — выйти из Террора, уничтожить эту «машину», не *рассказав публично правду о Терроре*, не предав гласности его отвратительные реалии? А после того как дело на Террор уже было заведено, после того как была обеспечена свобода печати, возможно ли было не расширить суд над Террором? Историк может лишь строить догадки по поводу возможности подобного выхода из Террора без процесса над «террористами» и без реванша, поскольку в изучаемой им реальности такого не случилось. Кроме того, слова и сожаления Кинэ выражают всю сложность ситуации, на

¹¹⁶ Quinet E. La Révolution. P. 628.

¹¹⁷ Quinet E. La Révolution. P. 628.

которую термидорианцам пришлось давать немедленный ответ и которую старались объяснить историки прошлого века. Мы уже видели, каковы были основные этапы демонтажа ТERRORа и как он вскоре превратился в процесс со своей собственной логикой, где одно событие практически неизбежно влекло за собой другое. Ключевым моментом здесь был суд над Каррье, поскольку его динамика заставила устроить суд над *самими принципами ТERRORа* в их приложении к войне в Вандее. Однако Каррье не только пытался переложить ответственность на членов Революционного комитета Нанта, обвиняя их в том, что они нарушали его приказы и директивы и слушались своего собственного руководителя, совершая все эти жестокости и беззакония; он также напоминал об ответственности Комитетов Конвента и самого Конвента, вручившего ему неограниченную власть.

Защищаясь, Каррье подчеркивал, что в конечном счете он лишь проводил в жизнь определяемую Конвентом политику, четко придерживаясь ее принципов и регулярно извещая о своих действиях. Возникал очевидный риск, что суд над Каррье превратится в суд над Революцией, поскольку в глазах общественного мнения «террористы» Нанта были не просто «чудовищами», избалованными в ходе процесса, они также были крайне «энергичными» якобинцами. И в самом деле, не забудем, что после 9 Термидора Каррье оставался представителем народа, исполнение обязанностей которого по определению предполагало порядочность, добродетельность и патриотизм. Он был чрезвычайно активным депутатом Конвента: в частности, он нападал на Тальена, требуя, чтобы тот объяснился по поводу «заговора», который планировался на 10 фрюктидора; он предлагал выслать из Парижа всех мяскаденов; он требовал депортации всех аристократов; он участвовал в дискуссиях о новой организации Комитетов и т.д.; но он также был и воинствующим якобинцем, игравшим все более важную роль и постепенно выходящим на первый план в деятельности очищенного Клуба. Он особенно отличался своим экстремизмом и тем, что занимал четкие позиции: предлагал исключить из Клуба Тальена, Фрерона и Лекуантра, неоднократно обличал «утверждающуюся ныне систему умеренности», призывал членов Клуба заявиться большой толпой в Конвент, чтобы «помочь искоренить аристократию», протестовал против клеветы на якобинцев и увещевал их объединиться и дать бой своим врагам, был членом комиссии, ответственной за составление обращения Клуба, вдохновленного знаменитой петицией народного общества Дижона, высказывал почти неприкрытые угрозы в адрес «поднимающих головы аристократов»... Вплоть до своего собственного процесса в Конвенте Каррье считался монтаньяром (или, скорее, принадлежавшим к «Вершине», как стали называть тех немногих, кто все еще утверждал, что относится к Горе), а в

Якобинском клубе — «передовым». Но и по прошествии времени этому персонажу довольно сложно дать определение: даже в сугубо личном плане он, исполняя свою миссию, не мог не измениться и не превратиться из *агента* Террора в его *продукт*.

Его имя можно найти повсюду: в отчетах о заседаниях Конвента, Якобинского клуба и, наконец, Революционного трибунала — в трех рубриках, которые в ту эпоху соседствовали практически во всех газетах; о нем постоянно говорили собиравшиеся в Тюильри и в Пале-Эгалите; о нем публиковали дюжины пасквилей. Таким образом, Каррье оказывался в центре конфликтов и политических маневров, он поляризовал страсти.

В скором времени Конвент уперся в проблему снятия с Каррье парламентского иммунитета (термин страдает некоторым анахронизмом). Как мы знаем, после 9 термидора депутатам была предоставлена минимальная юридическая защита, которая должна была обезопасить их от нового 31 мая или нового 9 термидора: Комитетам было запрещено арестовывать представителей народа без предварительного согласия Конвента; однако не было разработано никакой конкретной процедуры на случай, если будет выдвинуто обвинение против представителя в миссии. Со 2 по 7 брюмера Конвент старательно разрабатывал эту процедуру. Юридические и политические дебаты отражали атмосферу всеобщего недоверия (из-за своих действий во времена Террора каждый боялся, как бы эта процедура не обернулась против него самого) и стремление защитить себя от «тирании» какой-либо группы внутри Конвента. Соответственно разработанная процедура была довольно сложна: всякое обвинение против депутата Конвента должно было быть прежде всего рассмотрено на общем заседании трех Комитетов (Комитета общественного спасения, Комитета общей безопасности и Комитета по законодательству). Если после изучения вопроса Комитеты решат, что обвинение обоснованно, Конвент должен приступить к избранию (по жребию) Комиссии из двадцати одного человека, которая в свою очередь изучит материалы обвинения; затем, если это окажется необходимым, Конвент приступит к поименному голосованию о том, должен ли быть принят декрет об обвинении и должен ли обвиняемый предстать перед Революционным трибуналом. Процедура предоставляла обвиняемому ряд гарантий со стороны закона и, в частности, право на гласную защиту перед Конвентом. Дискуссия по поводу разработки этой процедуры с самого начала имела определенные перекося: хотя имя Каррье так ни разу и не было произнесено, ее участники *знали*, что речь идет о правилах, которые немедленно будут к нему применены. В то же время Конвент принимал закон, который должен был касаться не только данного конкретного случая. Это стремление к законности свидетельствует о том пути, который был пройден, чтобы

«поставить правосудие в порядок дня», и говорит о твердом намерении идти вперед, заставить Каррье предстать перед Конвентом и затем передать его в руки Революционного трибунала¹¹⁸.

И в самом деле, для всех тех, кто желал усилить антиякобинскую «реакцию», демонтировать аппарат Террора, покарать его активистов и — *last but not least* — взять реванш совершенно законным образом, дело Каррье представляло собой удачную находку. Судя по всему, Конвент стремился достичь нескольких целей разом: осудить представителя в миссии Каррье за его нантские преступления; нанести удар по Якобинскому клубу, преследуя якобинца Каррье; и, наконец, очиститься от всякой ответственности за Террор (и соответственно избежать суда над Революцией), избавившись от депутата, превратившегося в символ Террора. По последнему пункту Конвент мог заметить, что Каррье не информировал его *в полном объеме* о репрессивных мерах, проводившихся в жизнь для победы над *мятежниками*. Одно дело в свое время одобрять на заседаниях, где экзальтация и революционная риторика смешивались со страхом, доклады, в которых о Луаре говорилось как о «революционной реке», поглощавшей священников и мятежников, и совершенно другое — осенью III года узнать о реалиях Террора в Нанте из отчетов о судебных слушаниях. Вот что оказалось важнее всего и в чем Каррье не отдавал себе отчета. С самого начала кампании, направленной на его обвинение и предание суду, Каррье твердо решил защищать себя и ставить свое дело в один ряд с делами других «преследуемых патриотов», то есть с делом Республики и Революции. Обернув к своей выгоде утвержденную Конвентом процедуру, он опубликовал множество вариантов своей защиты, задуманных им как контратаки; он защищал себя перед Конвентом, пункт за пунктом опровергая доклад Комиссии двадцати одного; он вновь привел эти же аргументы 3 фримера накануне голосования, исход которого оказался для него фатальным; он не капитулировал и в очередной раз выступил в свою защиту перед Революционным трибуналом, отвергая все, что пытались переложить на него другие обвиняемые. Несмотря на тактические уловки и искренние убеждения, эта защита соответствовала определенной политической логике и несла чрезвычайно большую идеологическую нагрузку¹¹⁹.

¹¹⁸ Moniteur. Vol. 22. P. 314-315; 361-367.

¹¹⁹ Впоследствии мы будем ссылаться на следующие документы: Rapport de Carrier représentant du peuple français sur les différentes missions qui lui ont été déléguées. Paris, an III (A.N. AD XVIII A 15); Suite du rapport de Carrier représentant du peuple français sur sa mission dans la Vendée. Paris, an III; Discours prononcé par le représentant du peuple Carrier à la Convention nationale, dans la séance du soir du 3 frimaire (AN AD XVIII A 15). Эти документы отражают основные линии защиты Каррье; к ним можно добавить пространное опровержение доклада Комиссии двадцати одного, сделанное в ходе заседания 2 фримера (Moniteur. Vol. 22. P. 561 et suiv.). Ссылки на эти документы будут приведены в тексте непосредственно после цитат.

В защите Каррье выделялось несколько линий, ведущих к одной цели: а) он целиком отвергал все обвинения, не основанные ни на каких письменных доказательствах, если свидетельства о них казались сомнительными, называя их клеветой; б) он снял с себя ответственность за ряд преступлений и правонарушений, совершенных Революционным комитетом, имевшим своего собственного руководителя, от которого Каррье отмежевался; в) он «делал относительным» Террор в Нанте и в Вандее, напоминая о чрезвычайных обстоятельствах, к которым не могли быть применимы нормы и критерии, определенные годом позже в совершенно иной политической ситуации; г) ответственность за те деяния, в которых его обвиняли, в частности за систематическое применение насилия, он возлагал на Конвент, отдававший соответствующие распоряжения; преследуя его, Конвент тем самым устраивал суд над самим собой; д) кампанию, объектом которой он был, он представлял частью широкого контрреволюционного заговора, изначально направленного против него, но имеющего своей целью атаку против революционного правительства, против Конвента и, наконец, против Республики.

В том, что касалось первого пункта, задача Каррье была относительно легкой. Доклад Комиссии двадцати одного повторял обвинения, высказанные в ходе процесса свидетелями, однако в их показаниях было сложно отделить факты от слухов, реальность от игры воображения. Так, Каррье не испытал затруднений, доказывая, что никогда не отдавал приказа утопить проституток. «Бесчестные клеветники, предъявите же мои приказы, мои распоряжения. Я вам докажу, что их целью было сшить гетры и кюлоты защитникам отечества. Я призываю в свидетели весь город Нант... Мои коллеги, которые меня заменили, имели те же цели. Могли бы они это сделать, если бы мне хватило варварства их [защитников] погубить?» (*Rapport...* P. 23); то же самое касалось и потопления детей. Рассказывавшие о них свидетели не могли привести ни единого письменного подтверждения, хотя общественный обвинитель «призвал в свидетели всё отребье нантской аристократии, соучастников, тех, с кем переписывались мятежники, самих мятежников и шуанов. В настоящее время, без сомнения, вызывают удивление ужасные картины, всплывающие всякий день в Революционном трибунале; но не очевидно ли, что аристократия создала и раздула эти призраки, чтобы воздействовать на легковерных, встревожить чувствительных и принести в жертву невинных и патриотов?» (*Suite du rapport...* P. 9-10, 19-20). Возможно, Революционному комитету Нанта было оказано излишнее доверие, однако на кого еще Каррье мог опереться в ходе своей миссии, как не на Комитет, которые не он назначил и который существовал до его прибытия?

Каррье активно вел свою игру. Он не отрицал доказанные факты, такие, как потопление. Он всего лишь отказывался отвечать за них, поскольку не было *письменных приказов*, распоряжений, подписанных им самим. В конце концов эта тактика обернулась против него, поскольку, как мы знаем, Конвент распорядился доставить из Нанта документы, *подписанные* им и содержавшие доказательства того, что именно он отдал приказ расстрелять *без суда* группу вандейских кавалеристов, женщин и детей и что именно он отдал приказ освободить одного из своих агентов, Лебаттё, арестованного по распоряжению другого представителя в миссии, Треуара, чем превысил свои полномочия. Подписанные им документы были немногочисленны, однако они подтверждали ряд показаний и тем самым заставляли предположить истинность остальных. Кроме того, можно ли было поверить, что *весь Нант* знал о потоплениях и только Каррье был не в курсе? Помимо прочего, он один мог распорядиться их прекратить, даже если это не он отдал приказ их начать.

Каррье был слишком искусным юристом, чтобы не видеть слабости и недостаточности подобной линии защиты. Соответственно он яростно пытался скомпрометировать того или иного свидетеля для того, чтобы показать, что и остальные являются «разбойниками». Он превозносил свои достоинства, проявленные в ходе миссии, свои подвиги во время столкновений с «мятежниками» и в особенности подчеркивал те усилия, которые потребовались, чтобы спасти Нант от голода и эпидемий. Образу «кровавого чудовища» он противопоставлял хвалы, воздававшиеся ему нантцами: «Если те меры, которые сегодня стремятся преувеличить, и принимались на самом деле, почему же те, кто рисует сегодня образы, способные испугать любого, не знали об извращенности некоторых людей, почему же они более года хранили молчание?... Они видели меня на всех общественных праздниках, среди народа и с народом... Ни граждане, ни установленные власти, — никто в Нанте [...] не подавал мне никакой жалобы, никакого протеста. Сейчас говорят, что молчание обеспечивал Террор; но я совершенно не считаю, что так было в Нанте; всякий раз, когда я появлялся на публике, я всегда видел вокруг себя толпу граждан, торопившихся засвидетельствовать мне свою радость от того, что я нахожусь среди них. [...] Говорят о постигших Нант несчастьях; но каковы же те беды, которые обрушились на Нант во время моей миссии? Где они? На протяжении шести месяцев я снабжал эту коммуну продовольствием, не получая никакой помощи от правительства; [...] я не допустил ни единого вторжения, ни единого нападения мятежников; максимум за пятнадцать дней до моего отъезда народ Нанта, собравшись на общественный праздник, увенчал меня гражданским венком; я принял его от имени наших храбрых защитников» (*Suite du rapport...* P. 7-8, 12). Похоже, Каррье искренне верил в тот стихийный энтузиазм, с

которым его встречали жители Нанта. Образы «кровожадного человека» он противопоставлял свидетельству его избирателей из Канталя, отмечавших «мою человечность, мою помощь нуждающимся и мою горячую любовь к родине и свободе» (*Rapport...* P. 32; к этому было приложено обращение народного общества Орийяка, подтверждавшее, что «Кан-таль гордится тем, что дал Нации представителя Каррье», подписанное двумястами пятьюдесятью членами и сопровождавшееся списком имен еще пятидесяти граждан, которые проголосовали за него, «но не сумели подписаться»).

Каррье оперировал *политическими* аргументами. Прежде всего, следовало *придать событиям относительность*, поместить их в политический и исторический контекст войны в Вандее. Так, много говорят о революционных жестокостях, старательно их преувеличивая; но, напротив, забывают о *жестокостях вандейцев*. Всплывавшим в ходе процесса ужасам Каррье противопоставлял, если можно так выразиться, «контр-образы», еще более жестокие. «Нечистые орудия контрреволюционной партии, у вас лица преступников, и наконец-то вы разоблачены! Народ увидит, что вас огорчили лишь несколько событий, в ходе которых мы мстили признанным врагам Республики, и что вы не пролили ни единой слезинки, не написали ни единой строчки об убийствах, совершенных контрреволюционерами, об убийствах, которых было бы куда больше, если бы им это позволили, если бы они победили» (*Rap-port...* P. 25-26). Каррье пространно описывает вандейские жестокости и ужасы: «священник-каннибал», служащий мессу посреди крови и трупов (*Rapport...* P. 26); конституционный юре^{*}, живым насаженный на вертел после того, как его ранили в самые чувствительные части тела, и еще живым приколотенный гвоздями к дереву свободы (*Rapport...* P. 26); женщины, выпрыгивающие в окно вместе с детьми, — мятежники закалывали их прямо посреди улицы (*Rapport...* P. 27); восемьсот патриотов, умерщвленных при Машкуле, живыми закопанных в землю, так что торчали только руки и ноги, в то время как мятежники связали их жен, заставляя тех присутствовать при казни их мужей; затем мятежники приколотили их и их детей еще живыми к дверям их домов» (*Suite du rapport...* P. 23); патриоты, которым мятежники засовывали патроны в носы и рты и поджигали их, чтобы те погибли в кошмарных муках» (*Suite du rapport...* P. 23). В свою очередь Каррье также использовал образ окрашенной кровью Луары: «Вы сожалеете о той крови, от которой, по вашим словам, покраснели Луара и океан. Однако понятно, что заставляет вас преувеличивать этот образ, способный смягчить сердца в их [палачей республиканцев] пользу; на самом же деле туда было сброшено

^{*} То есть, юре, принесший присягу на верность Конституции и превратившийся в своего рода государственного чиновника. Немалая часть роялистов считали таких священников лишенными сана.

десять тысяч мятежников, которые вели с нами войну. Они стреляли в наших отважных моряков, чтобы перейти Луару с оружием в руках, вернуться к своим очагам и сделать вечной войну в Вандее; наша пушка, разбив их лодки, отправила их в Луару... Так мои враги со всем возможным жаром рисуют гибель нескольких врагов общественного дела и сохраняют полнейшее спокойствие, полнейшее безразличие по поводу убийств стольких республиканцев» (*Rapport...* P. 29).

Если патриоты иногда, «при виде стольких жестокостей, и прибегали порой к несколько бурному отмщению» (*Suite du rapport...* P. 25), эти незаконные бесчинства были неизбежны и понятны. Это было отмщение, спровоцированное омерзительными жестокостями «мятежников»; и никогда не стоит забывать, что то были «*беда, неотделимые от революций*», и что дело происходило во время гражданской войны, «самой долгой и кошмарной войны, которая только существовала на земле» (*Suite du rapport...* P.28). Важен лишь результат: поражение вандейцев. «Когда застигнутый бурей кормчий приводит свой корабль в порт, спрашивают ли у него, как он прокладывал курс?» (*Rapport...* P. 31). Подходящие для мирного времени *моральные критерии* совершенно не применимы в *особые эпохи* войн и революций. Сокрушаться о бесчинствах *после* победы, «когда спокойствие уже восстановлено», судить о *средствах*, не принимая во внимание диктовавшие их цели, означает не иметь ни малейшего представления о политической справедливости: «Было бы жестокостью, было бы последней несправедливостью судить гражданина, представителя народа, в соответствии с *нынешним законом и нынешним режимом за деяния времен Революции*, которые происходили год назад: это не может, это не должно совершаться иначе как с учетом *законов и обстоятельств, при которых все происходило...* Перенеситесь в те злополучные времена, которые история взяла себе за труд сохранить для вас; составьте о них правильное представление... и скажите, что бы вы сделали на моем месте; смогли бы вы, знали бы вы, как помешать всем бедам и имевшим место бесчинствам?» (*Suite du rapport...* P. 216; *Rapport...* P. 19). Разве сам Конвент не аплодировал известиям о победе при Ле Мане, когда «была обращена в бегство вся католическая армия; священники, почти все женщины, почти все дети пали под ударами революционеров» (*Suite du rapport...* P. 5). Каррье приводит множество других аналогичных случаев, когда Конвент встречал рукоплесканиями, одобрял и распоряжался опубликовать в своем *Bulletin* новости о победах, их цене в человеческих жизнях и уничтоженном имуществе, когда он подтверждал приказы об уничтожении «разбойников» и о применении со всей жестокостью высшего закона — *необходимости спасти Республику*. Таким образом, он должен признать ответственность за свои действия и их

последствия. Преследуя тех, кто выполнял его приказы, *Конвент судит себя самого*.

«Будьте бдительны, мое дело — *соломинка, которая спасет или же погубит национальное представительство...* Вы хотите начать суд над самим Конвентом, поскольку это он одобрял и предписывал своими декретами те меры, которые принимались повсюду бывшими в миссиях представителями народа. Стремление закончить как можно скорее ужасную войну в Вандее было и удачным с политической точки зрения, и мудрым; это была энергично декларируемая воля Национального Конвента, громогласно заявленная воля французского народа; его благо и победа политической свободы настоятельно требовали этого; я изо всех сил стремился выполнить эту важную задачу, и тем не менее меня сегодня поливают желчью клеветы, притесняют, покрывают позором за *отдельные меры*, в которых я не принимал и не мог принимать никакого участия. *Сколь же удивительно непостоянство революции...* Каковы были мои намерения? Разумеется, у меня не было иных намерений, кроме как спасти Республику... Вандейские разбойники [...] были объявлены вне закона; Конвент *распорядился, чтобы все они были уничтожены* в кратчайшие сроки; он встречал аплодисментами эти решения; не одобрял их сегодня, устраивать суд над теми, кто их исполнял, означает судить его самого, поскольку это были его решения... *Мои намерения были вашими, если я и ошибался, это была наша общая ошибка*; вы не можете превращать ее в преступление» (*Suite du rapport...* P. 29; *Discours du 3 frimaire...* P. 11-15).

Упирая на последний аргумент, Каррье демонстрировал, что в центре дебатов оказывался глобальный вопрос о *самой легитимности революционного насилия*, суверенной и неограниченной воле народа. Соответственно никто не ушел бы от суда над Революцией: ни сегодня представитель в миссии Каррье, ни завтра бывшие члены Комитетов, другие представители в миссиях, все те, кто «не мог помешать злу», по необходимости причиненному в Лионе, в Марселе, в Тулоне (Фуше, Колло, Баррас, Фрерон...). Суд над 31 мая уже начался. Почему бы не обвинить потом всю Западную армию, выполнявшую приказы о расстреле мятежников? И другие армии, которые выполняли приказ Конвента не брать пленных англичан и ганноверцев? А затем и людей 10 августа: разве они не перебили швейцарцев *после* победы народа? И, наконец, тех, кто брал Бастилию, — ведь они убили интенданта Бертье после «событий

14 июля»? Умело ведя «интригу», Каррье разоблачает infernalную логику:

«Использование этой коварной и явно контрреволюционной манеры отделять факты и события Революции от повлекших их за собой революционных кризисов приведет к суду *над самой Революцией*... И к суду над всем народом, поскольку это им совершены все революции, поскольку именно он стоит у истоков тех бед, от которых они не делимы: что ж, судите, наказывайте всех скопом! Это приведет к суду и над самой свободой, поскольку она может защитить себя, лишь ведя *постоянную, энергичную и революционную борьбу* против врагов, и над союзом патриотов, взявших на себя ее защиту и сохранение». (*Suite du rapport*... P. 27-29).

В этом месте аргументация Каррье следовала за парадигматическим революционным дискурсом. Очевидно, он считал себя не более виновным, чем другие «террористы», бывшие представители в миссиях, которые ныне против него ополчились. Процесс, который стремились ему навязать, мог быть объяснен лишь тайными причинами, выдающими существование «заговора». Того же самого «заговора», который имел своей целью гибель народных обществ, Якобинского клуба и всех «выдающихся патриотов». Завершая последнее выступление перед коллегами, Каррье восклицал:

«Конвент наверняка догадывается, что это суд роялизма над свободой, фанатизма над философией, именно они выступают против меня. Вой в мой адрес подняла толпа роялистов и фанатиков из Нанта и Вандеи... Не забывайте, граждане, что посреди столкновения партий так же, как и посреди бурных событий Революции, страсти, сиюминутные мысли всегда приводят к пагубным бесчинствам: успокоившись, их оплакивают, однако это запоздалые и бесполезные сожаления. Разум и философия оправдали память Каласа; но мы можем проливать лишь бесплодные слезы над его могилой».

Похоже, что вплоть до 22 брюмера, когда был закрыт Якобинский клуб, Каррье верил, что логика и политическая осмотрительность возобладают, что они заставят депутатов Конвента закрыть дело о своей коллективной ответственности («*Б этом зале виновен даже колокольчик председателя*», — говорил он). Он рассчитывал, что возобладет инстинкт солидарности, тем более что Конвент в

очередной раз оказался бы под давлением якобинцев и народных обществ, поддержанных депутатами-монтаньярами.

Однако эта политическая тактика, чьи предпосылки отнюдь не были ошибочными, обернулась против Каррье. Поскольку тот же анализ политической ситуации привел к противоположным выводам: необходимо, чтобы Конвент снял с себя всякую коллективную ответственность и в максимальной степени возложил ее на одного Каррье. Отчеты полиции показывали, что среди народа и в секциях дело Каррье стало предметом страстных дискуссий. «Рассматривая это дело, одни боялись, что преступления, неотделимые от великих революций, останутся безнаказанными; другие видели здесь явное стремление устроить суд над преступлениями Революции, чтобы иметь предлог для суда над самой Революцией; вот истинное отражение тех споров, которые идут в народе»¹²⁰. Приговор Каррье должен был положить конец этим колебаниям части общественного мнения и стать ответом на ожидания тех многочисленных людей, которые видели в этом приговоре элементарную справедливость. Каррье в данном случае мог рассчитывать на поддержку якобинцев и «Вершины». Кто бы ни планировал ускорить отстранение от власти и тех и других, процесс якобинца Каррье предоставлял для этого желанную возможность. К этой стратегии присоединилось большинство Конвента. Однако поведение Конвента было уже не тем, что во фрюктидоре II года: поскольку соотношение сил радикальным образом изменилось, он мог вновь поднять вопрос об ответственности за Террор.

После декрета Конвента якобинцы оказались в тупике; Клуб не мог более переписываться с другими народными обществами и соответственно выполнять роль главного Клуба. Число людей, участвовавших в заседаниях, — и членов Клуба, и зрителей — постоянно сокращалось (к середине брюмера Клуб посещало всего каких-то триста человек); якобинцев обвиняли в газетах; их Клуб, используя выражение Мерлена (из Тионвиля), называли «логовом разбойников». Против них было направлено обращение от 18 вандемьера, обличавшее «исключительных патриотов», стремящихся возродить Террор. Изоляция якобинцев нарастала, все меньше и меньше депутатов посещало их заседания. У якобинцев больше не было политического проекта, который можно было бы последовательно противопоставлять политике антитеррористического возмездия, в которую все активнее втягивалось правительство. Они напрасно старались протестовать против уподобления «террористам», поскольку только к ним стекались жалобы «преследуемых патриотов» и департаментских террористических кадров, ставших жертвами репрессий. Они не

¹²⁰ Доклад полиции от 19 брюмера II года (*Aulard A. Paris pendant la réaction thermidorienne...* T. I. P. 228-229).

прекращали нападать на слишком большую свободу печати, благоприятствовавшую, по их мнению, «аристократам» и «контрреволюционерам», однако эти нападки лишь подстегивали антиякобинские статьи и памфлеты. Что же оставалось Каррье? Он был *одним из них*, одним из ключевых деятелей приходившего в упадок Клуба, одним из последних «передовых» монтаньяров. Нападая на него, нападали на Клуб, однако разоблачения Террора в Нанте и роли, сыгранной в нем Каррье, равно как и начало Конвентом процедуры обвинения представителя в миссии, сделали из него персонификацию «кровопийцы». Клуб так и не решился окончательно бросить его на произвол судьбы: это означало бы капитуляцию перед антиякобинскими нападками и предательство дела всех «преследуемых и оболганных патриотов», чьим символом также стал Каррье, это означало лишиться поддержки последних активных членов. Однако слишком активное участие в защите Каррье могло превратить их в глазах общественного мнения в сторонников потоплений и расстрелов и поощрить «охоту» на якобинцев.

В брюмере дело Каррье занимало якобинцев все больше и больше. Во время заседаний Клуба они критиковали ход суда над Революционным комитетом: дескать, обвиняемые с трудом получали слово, чтобы выступить в свою защиту, тогда как был вызван целый ряд свидетелей, паспорта которым выдали шуаны. Обличали «пасквильантов», «замаскировавшихся аристократов» и «мюскаденов», которые в клеветнических памфлетах и на улице высказывали угрозы в адрес Конвента, лживо утверждая, будто «народ восстанет, если ему не выдадут Каррье»¹²¹. Ситуация была особенно напряженной в ходе заседания 13 брюмера. Что же там на самом деле произошло? Реконструировать факты сложно. К тому времени официальный отчет, публикуемый в *Journal de la Montagne* и более или менее точно повторяемый в *Moniteur* (или в *Annales patriotiques*), вот уже несколько недель как не совпадал с вариациями и слухами, публикуемыми в антиякобинской прессе. По поводу заседания 13 брюмера эти расхождения вопиющи. Как бы то ни было на самом деле, у версии антиякобинской прессы оказалось гораздо больше читателей, в том числе и в ходе дебатов в Конвенте. Так, если верить *Messenger du soir*, один из ораторов (Буэн) заявил, что «у патриотов тем больше оснований защищать Каррье, что *они защищают свое собственное дело*. Кто из нас, [...] в департаментах или в секциях, не был вынужден принимать для спасения отечества жесткие меры против мюскаденов, умеренных и бриссотинцев? После этого он призвал всех *энергичных революционеров заслонить Каррье своими телами*». *Journal de Perlet* приписывал Крассу, председательствовавшему на том заседании, следующие слова:

¹²¹ См.: Aulard A. La Société des Jacobins. T. VI. P. 629 et suiv.; Journal de Perlet. № 770.

«Ему кажется, что *это не столько суд над Каррье, сколько суд над всеми революционерами и над всеми якобинцами*. Он думает, что целят именно в них и соответственно они должны защищать друг друга. Он отнюдь не думает, что народ восстанет, если Конвент оправдает Каррье... Он призвал якобинцев *противопоставить жестокостям, в которых упрекают Каррье, картину жестокостей, совершенных мятежниками*». Но все эти газеты, включая *Journal de la Montagne*, совпадали друг с другом, цитируя многозначное и угрожающее изречение Бийо-Варенна: «*Когда лев дремлет, он еще не мертв, он проснется и уничтожит своих врагов*»¹²².

Эти слова вписывались в контекст более широкого беспокойства: медлительности Комиссии двадцати одного, которая не торопилась представить свой доклад о Каррье, слухов о подготовке якобинцами «заговора» прогни Конвента¹²³, нее более ожесточенных потасовок на улицах, провоцируемых «золотой молодежью», развернувшей «охоту на якобинцев» с кличем: «Да здравствует Конвент!» — и все более яростной кампанией в печати, направленной против Якобинского клуба.

Нападавшая на якобинцев печать — по большей части непериодические листки (памфлеты, брошюры) — была весьма среднего уровня, ее целью было не убедить, а разжечь страсти. Место аргументов занимали в ней оскорбления, и названия говорили сами за себя: «Стоит вы...ть якобинцев, и Франция будет говора», «Срам Робеспьера, оставшийся у якобинцев», «Пока зверь в ловушке, надо его убить», «Заслон Каррье, смешанного с грязью, или цена якобинских монтаньяров», «Сдаются места, чтобы посмотреть на Каррье в тот день, когда он отправится на гильотину, с описанием обеда, который его самые близкие друзья должны устроить в тот же день»¹²⁴. В этом можно увидеть один из признаков завидного

¹²² *Messenger du soir*. № 809; *Journal de Perlet*. № 773; *Aulard A.* Op. cit. T. VI. P. 631.

¹²³ Так, ряд газет сообщали о «тревожных новостях», о готовящемся в Сент-Антуанском предместье восстании: было даже закуплено 20 000 красных колпаков, по которым должны были узнавать друг друга (*Journal de Perlet*. № 783). 16 брюмера в Конвенте возник вопрос о таинственном письме из Швейцарии, перехваченном Комитетом общей безопасности и сообщаемом о контрреволюционном плане противопоставить Конвенту народные общества, объявить их находящимися в «состоянии восстания против национального представительства и привести в волнение посредством наиболее влиятельных членов» (*Journal de Paris*. № 47). В своих воспоминаниях Дюваль рассказывает о слухе, распространявшемся среди прочих Фрероном: якобинцы были настроены напасть на Конвент с оружием в руках и перерезать всех его депутатов, которые хотели уничтожить царство Террора (*Duval C Souvenirs thermidoriens* T. 2. P. 16 et suiv.).

¹²⁴ Составить о них представление можно по двум отрывкам. «Какова же тайная причина того, что одни обращаются к другим с призывом заслонить Каррье своими телами? Личный интерес или бред? А может, братство⁹ Пожалуй, все эти причины разом: братство преступников, интересы их собственного спасения и бред от страха Прежде чем высказаться самому, ответь-ка на простой вопрос: будет ли поддерживать

постоянства, с которым на протяжении всей Революции издавалась заурядная памфлетная продукция сомнительного качества, сосуществовавшая с патетическими заявлениями и риторическими изысками. Между этими двумя планами установилась своего рода перекличка: памфлеты лишь переводили возвышенное и патетическое на вульгарный скабрёзный язык. Однако антиякобинские памфлеты стали крайне эффективным инструментом воздействия на общественное мнение. Монополия на слово, сохранявшаяся якобинцами во времена Террора, окончательно рухнула. Нет сомнений в том, что лишённая правительственных субсидий проякобинская пресса прозябала. Если отчеты о заседаниях Якобинского клуба и продолжали печататься в большинстве газет, то прозвучавшие там красноречивые выступления повсюду становились объектом насмешек. Якобинский дискурс *не служил более идеологической инстанцией*, как это было во времена Террора. Он всегда претендовал *на легитимацию со стороны народа*, однако теперь эта пустая претензия вызывала лишь насмешку. И якобинцы с большим трудом осознавали и такую перемену ролей, и возрождение общественного мнения, легитимирующего антиякобинский дискурс. Это замешательство прекрасно выразилось в установленном, как мы это уже видели, Шалем иллюзорном различии между «мнением народа», который молчит, но остаётся проякобинским, и «общественным мнением», которое выражает себя в полный голос, но, увы, «находится в состоянии контрреволюции»...

негодя человек чести, человек и в самом деле добродетельный? Те, кто не краснея, поддерживают его, таковы ли они? Спроси свое сердце, я уверен, что оно ответит тебе без размышления: нет, и такова цена якобинских монтаньяров» (Le Rempart de Carrier. S.l., s.d. [Paris, an III]). А вот и второй пример: (на мотив «Вперед, сыны отчизны милой»)

Как же огнем и мечом
Карали всех лионцев подряд,
Колло наказывал этой бойней
Тех, кто его освистывал;
Все пали, невинные и виновные;
Погребенные полуживыми,
И их еще трепещущие тела
Кольхали прибрежный песок,
Умри же как Каррье, жестокое чудовище,
Колло (2 раза), ты заслуживаешь не большего, чем он.

(Carrier a commencè la marche, suivez messieurs... S.l., s.d. [Paris, an III]). И наконец, упомянем попытку якобинцев пародировать памфлеты этого типа и ослабить их эффект. Так, под соблазнительным заглавием: «Их головы трепещут! Ваша очередь настанет после Каррье, господа Барер, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн, Вадье, Вулан, Амар. И вы все, составлявшие прежние Комитеты общественного спасения и общей безопасности» (Leurs têtes tremblent ! A votre tour après Carrier, Messieurs Barère, Col-lot d'Herbois, Billaud-Varenne, Vadier, Vouland, Amar. Et vous tous qui composiez les anciens Comités de Salut public et de sûreté générale. S.l., s.d. [Paris, an III] — читатель находил сатирический текст, который превращал в шутку обвинения против «энергичных патриотов».

Кампания в печати еще больше усилилась после появления *новой политической силы*: «золотой молодежи». Ее активное вмешательство нанесло последний удар Клубу на улице Сент-Оноре. Благодаря ряду работ сегодня историки лучше представляют себе историю «золотой молодежи», ее методы действия и социальный состав¹²⁵.

«Золотую молодежь» (или, как ее еще иначе называли, «мюскаденов») составляли выходцы из средней буржуазии, в частности из среды «судейских». Она состояла из «молодых людей», которые под разными предлогами уклонялись от призыва в армию и наполняли, работая клерками или служащими, конторы нотариусов и адвокатов, местную и центральную администрацию (где они порой сидели рядом с бывшими санкюлотскими активистами, искавшими убежища в военном ведомстве или в аппарате Комитета общей безопасности). Ярче всего «золотая молодежь» характеризовалась как своими политическими взглядами, так и формой своей организации. После 9 термидора она воплощала в себе антитеррористическую и антиякобинскую реакцию, превращала стремление к реваншу в конкретные действия (помимо прочего, в ее рядах можно было найти родственников или друзей жертв Террора; принадлежать к ним было предметом гордости). Более или менее социально однородная (хотя там порой и можно было встретить «бывших», таких, как знаменитый маркиз де Сент-Юрюж, один их тех политических авантюристов, которых породила Революция), «золотая молодежь» тем не менее не была однородной в политическом плане и не имела никакого позитивного политического проекта (так, там можно было встретить умеренных республиканцев, различного толка монархистов и оппортунистов, следовавших в русле термидорианской политики), однородность ей придавали лишь формы организации и действий. Речь идет о группах боевиков, вооруженных палками, железными прутьями, дубинами и хлыстами, сплоченных в банды, которые на пике своей активности насчитывали от двух до трех тысяч человек. В начале III года эти банды завладели общественными местами, оставшимися свободными благодаря ослаблению полиции и политики террористической власти. Так, «золотая молодежь» оккупировала *кафе* (включая *Cafe de Chartres* в Пале-Эгалитэ, где расположился ее своеобразный генеральный штаб), *улицу* (особенно те места, где люди собирались для обсуждения политики — Тюильри, Пале-Эгалитэ, площадь перед Конвентом и т.д.), *трибуны* Конвента, *собрания* секций. «Золотая молодежь» была разбита на отряды и действовала в соответствии с заранее разработанным «планом битвы», нападая на конкретные объекты: ведя «охоту на якобинцев» в местах скопления народа и в

¹²⁵ См. в особенности: *Gendron F. La Jeunesse dorée. Épisodes de la Révolution française*. Québec, 1979; rééd. Paris, 1983.

собраниях секций, где она провоцировала драки и беспорядки; громя те кафе, которые считались «якобинскими»; избивая палками разносчиков якобинских газет и памфлетов и владельцев книжных магазинов, которые их продавали; вскоре она начала действовать и в театрах, где боевики освистывали актеров, скомпрометированных «сотрудничеством» с «террористами», и в общественных местах, где «золотая молодежь» уничтожала оставшиеся от II года символы (бюсты Марата, фригийские колпаки и т.д.). Гимном «золотой молодежи» в нивозе III года стало «Пробуждение народа», и боевики заставляли в общественных местах, в частности в театрах, петь этот призыв к мести. Таким образом, «золотая молодежь» олицетворяла собой специфическую и во многих отношениях неизвестную доселе форму *революционного насилия*. Тем не менее нетрудно заметить, что во многом она перелицовывала и обращала против своих создателей, если так можно выразиться, технический *опыт* применения насилия, накопленный санкюлотами. Однако она не группировалась по месту жительства и соответственно по принадлежности к секции или народному обществу. Командование обеспечивалось «вожаками», а не клубами; места сбора оказывались иными, нежели те, что были освящены революционной традицией. Формы насилия были порой заимствованы, порой оригинальны (освистывание в театрах, уничтожение бюстов, принуждение к пению и т.д.). «Золотая молодежь» стала своего рода вспомогательной силой Комитета общей безопасности, который не препятствовал ее действиям и даже подстрекал к ним; в определенные критические моменты он собирал подразделения «золотой молодежи» и напрямую руководил ими (в частности, во время восстания в прерииале, когда Комитет раздал «молодым людям» оружие, чтобы те помогли усмирить Сент-Антуанское предместье), сопротивление «золотой молодежи» со стороны якобинцев и активистов секций было тем слабее, что они более не пользовались защитой власти.

19 брюмера сотня «молодых людей» атаковала зал заседаний Клуба, швыряя в него камни и бутылки; столкновения продолжались и на следующий день. Вечером 21 брюмера около 300 «молодых людей» с криками «Да здравствует Конвент! Долой якобинцев!» собрались, чтобы напасть на Якобинский клуб на улице Сент-Оноре. По дороге толпа росла, и в конце концов к Клубу пришло около 2000 человек; председатель был вынужден прервать заседание. В вышедших якобинцев (их было не более сотни) «молодые люди» плевали, били их ногами и кулаками. Женщинам задирали подола платьев и били их хлыстами, толпа смеялась и оскорбляла их. До раннего утра Комитет общей безопасности не вмешивался, а затем выслал патруль, который завладел ключами и запер дверь Якобинского клуба. Все было так, словно повторялась сцена в ночь с 9 на 10 термидора. Однако на сей раз закрытие стало окончательным.

Поскольку Конституция гарантировала право народных обществ на существование, закрытие Клуба было представлено как временное приостановление заседаний, простая полицейская мера, вызванная заботой о поддержании общественного порядка. Так пришел конец Якобинскому клубу. Конвент принял декрет о его закрытии практически без обсуждения и единогласно (за исключением голоса незначительного депутата Марбо-Монтана). В голосовании приняло участие «весьма небольшое число депутатов». Закрытие Якобинского клуба стало ниспровержением символа и ознаменовало конец целой эпохи¹²⁶.

Таким образом, Каррье ускорил конец Якобинского клуба; а это, в свою очередь, неизбежно влекло за собой и гибель его самого. 21 брюмера Конвент постановил, что Каррье будет помещен под домашний арест под охраной четырех жандармов. Поименное голосование, начавшееся 3 фримера и продолжавшееся до четырех часов утра, окончательно закрепило поражение Каррье. Конвент вновь обрел единодушие: он принял обвинительный акт 500 голосами при двух «за» условно.

Депутатов, которые, объясняя мотивы своего голосования, цитировали обвинения, выдвинутые в ходе процесса Революционного комитета Нанта, было довольно немного. Разумеется, о потоплениях упоминали («род казни сколь новый, столь и жестокий» — сказал Лоран; «самые варварские и людоедские действия», — воскликнул Эли Дюжен), однако всего лишь один депутат намекнул на «республиканские свадьбы». Другой депутат (Лекинью) имел смелость заявить, что во время своего пребывания в Нанте (три дня) он «не видел оргий». Кутюрье (из Мозеля) утверждал, что «на его мнение повлияли отнюдь не потопления, не расстрелы, не даже якобы изобретенные Каррье кингстоны*, поскольку способ уничтожения врагов и мятежников, воюющих против Республики, может быть признан преступным или нет лишь в зависимости от доброго или плохого намерения». Нередко цитировались приказы казнить без суда желавших сдаться вандейцев; но еще чаще упоминали тот факт, что Каррье, превысив свои полномочия и аннулировав распоряжения Треуара, «совершил покушение на национальное представительство», уподобившись «тиранам из Комитета общественного спасения». По словам Патрена (Рона-и-Луара), «совершенные Каррье зверства кошмарны, он заставил природу

¹²⁶ См.: *Moniteur*. Vol. 22. P. 489 et suiv.; *Aulard A. La Société des Jacobins*. T. VI. P. 643 et suiv.; *Idem*. Paris sous la réaction thermidorienne. T. I. P. 226 et suiv.; *Journal de Perlet*. №№813, 814, 815; *Walter G. Histoire des Jacobins*. Paris, 1946. P. 347 et suiv.; *Gendron F.* Op. cit. P. 46 et suiv.

* Каррье приписывали изобретение так называемых «судов с кингстонами» («bateau à soufre»), на которые якобы грузили заключенных, чтобы потом затопить посередине реки.

содрогнуться и навлек на свою голову месть законов. Однако в моих глазах самым большим его преступлением было покушение на могущественный суверенитет народа, когда он запретил признавать представителем народа нашего коллегу Треуара». Другие депутаты опровергали аргумент Каррье о том, что, отдавая его под суд, Конвент отдавал под суд самого себя. Бентаболь провозгласил: «Вас тщетно пытаются убедить, что если Национальный Конвент решит строго наказать человека, принадлежавшего к партии революции, это будет означать атаку против самой революции. Конвент должен поспешить объявить всем нациям, что, когда пролита кровь невинных, никто не сможет укрыться от возмездия под сенью славной революции, поскольку она не должна опираться на преступление и победит лишь через добродетель».

После обвинения Каррье и передачи его в руки суда, фатальный исход которого отнюдь не вызывал сомнений, возникли определенные разногласия: для одних речь шла лишь о первом шаге; осуждение Каррье в силу своей логики требовало начала других аналогичных процессов, в частности против бывших членов Комитетов. Таков, например, был смысл, который придал поданному им голосу Лекуантр. «Преступления Каррье разделяет в той же, если не большей, мере и большинство членов правительственных Комитетов, которые знали о них, позволили их совершить, терпели их на протяжении десяти месяцев, не обуздав, не разоблачив и не обвинив перед лицом Национального Конвента... Таким образом, эти преступления в той же мере их преступления, что и Каррье, если только мы признаем Каррье преступником». «Вершина», напротив, испытывала замешательство и проголосовала «за» с оговорками, потребовав, чтобы этот декрет был последним и положил конец обвинениям против представителей народа: «Я надеюсь, что бесстрастное и истинное правосудие Национального Конвента обратит внимание на последствия множачихся обвинений против его членов», — заявил Бийо. Ромм, бывший председатель Комиссии двадцати одного, долгое время занимавший нерешительную позицию, в конце концов также проголосовал «за», оговорив свое желание, чтобы те, кто будут признаны виновными в «клеветнических измышлениях», подверглись суровому наказанию, и чтобы «дебаты, которые развернутся в Трибунале, были отпечатаны и распространены среди членов Конвента, и чтобы никто другой не имел права писать, обращаясь к публике, об этом деле»¹²⁷.

В конечном счете единодушие Конвента выражало существовавшие в нем *глубинные разногласия*.

¹²⁷ См.: Moniteur. Vol. 22. P. 589-596; A.N. C327CII 1430-1431. Не имея намерения анализировать весь ход голосования, мы не затрагивали здесь других проблем, поднятых при мотивировании тех или иных голосов (например, сомнений в ценности ряда свидетельств, отсутствия подписанных Каррье бумаг и т.д.).

Услышав результаты голосования, Каррье хотел покончить с собой (ему помешал присматривавший за ним жандарм). Погиб он храбро (что много значило в глазах зрителей, чувствительных к патетическим жестам, ведь они видели тысячи приговоренных, прошедших через «маленькое окошко»). Его последними словами, обращенными к огромной толпе, собравшейся вокруг эшафота, были: «Да здравствует Республика!» Термидорианская пресса едва скрывала свое разочарование: она предпочла бы, чтобы он умер как трус.

Как смерть Каррье, так и процесс Революционного комитета Нанта не смогли окончательно и удовлетворительным образом ответить на вопрос: откуда взялись все ужасы, имевшие место при Терроре или, шире, во время войны в Вандее? Следует ли винить в них «кровавых чудовищ», захвативших власть и насадивших свою тиранию? Или, скорее, следует сожалеть, что некоторые «беды» были неотделимы от великой Революции и гражданской войны? Были и другие, более наглядные объяснения навязчивых идей революционной системы образов. Прежде всего, в ней можно найти старую схему, объясняющую все заговором аристократов и роялистов. Хотя на первый взгляд она крайне плохо подходила для объяснения Террора в Нанте, не стоит недооценивать ее укорененность в революционной системе образов и ее гибкость. Так, ряд незначительных публицистов без колебаний разоблачали дьявольский заговор, замысленный объединенными в коалицию тиранами: поощряя преступления и причинение вреда, они надеялись «заставить французский народ раскаяться в том, что он хотел повернуться лицом к просвещению и срубить деревья свободы». Тем самым они желали «зрелищем ужасов подтолкнуть добронравную нацию к восстанию», чтобы затем переложить на революционное правительство ответственность за все беды и преступления. Этим, в частности, объясняются преступления Каррье и других негодяев, которые под маской исключительного патриотизма скрывали лица агентов британца Питта. Так и Фулье-Тенвиль своими подлыми и преступными действиями стремился лишь принизить Революцию, чтобы восстановить королевскую власть. В некотором роде это было возрождением слуха о Робеспьере-короле, поскольку в истории многое объясняется одним: нет лучших союзников, чем злейшие враги¹²⁸.

¹²⁸ *Baralere*. Acte d'accusation contre Carrier presente aux Comites reunis, a la Convention nationale et au peuple francais. Paris, an III; *Dupuis, representant du peuple*. Motifs del'acte d'accusation contre Carrier. Paris, an III; *Buchez J.-B., Boux P.-C.* Histoire parlementaire de la Revolution francaise. Paris, 1838. Т. 34. Р. 27 (Acte d'accusation contre Fouquier-Tinville). Леблуа воспроизводит в этом обвинительном акте многие термидорианские клише: фулье планировал, чтобы «Франция обезлюдела» и в осервенности чтобы исчезли «дарования, таланты, честь и промышленность».

Другая интерпретация заслуживает того, чтобы остановиться на ней немного более подробно: ее развивал в связи с Каррье и судом над ним Бабёф¹²⁹.

Бабёф категорически отрицал тезис, в соответствии с которым Террор был навязан «обстоятельствами», а «террористы» лишь хотели спасти родину. Он в свою очередь перечислял все ужасы, выявившиеся в ходе процесса. Ответственность за Террор ложится не на нескольких дорвавшихся до власти чудовищ и негодяев (даже если Каррье и был чудовищем, как это показывают «наименее сомнительные свидетельства»). На самом деле необходимо выявить все *скрытые обстоятельства*, позволившие «хищникам» действовать в согласии с теми, кто «затесался в руководство обществом». Так, несмотря на заявления членов бывших: Комитетов, не война в Вандее привела к установлению Террора. Эта война имела место лишь потому, что была выгодна находившимся у власти. «Необходимо сорвать [...] вуаль, которая до сих пор мешает обнаружить, что восстание в Вандее имело место лишь потому, что было выгодно бесчестным правителям, включившим его в свой кошмарный план (*sic*)». Вандейцы — мирные люди, их нравы просты, и достаточно было дать им возможность услышать доброе республиканское слово, проповедь убежденных патриотов, чтобы они присоединились к правому делу. Откуда же тогда война? Тайной была покрыта «система сокращения населения и новый принцип распределения богатств между теми, кто должен был выжить; [этим]

¹²⁹ *Babeuf G. On veut sauver Carrier! On veut faire le procès au Tribunal révolutionnaire. Peuple prends garde à toi! S.l., s.d. [Paris, an III]; Idem. Du système de dépopulation ou la vie et le crime de Carrier. Son procès et celui du Comité révolutionnaire de Nantes. Avec des recherches et des considérations politiques sur les vues générales du Décemvirat dans l'intention de ce système; sur sa combinaison avec la guerre de la Vendée et sur le projet de son application à toutes les parties de la République. Paris, an III. (Русский перевод см. в: Бабёф Г. Сочинения. М., 1977. Т. 3.) Мы не анализируем место этих текстов в эволюции идей Бабёфа. Без сомнения, они отражают момент величайшего замешательства. Едва выйдя из тюрьмы после 9 термидора, Бабёф со всей ненавистью высказывался против Робеспьера, революционного правительства и Якобинского клуба. Он делал это и на страницах своего *Journal de la liberté de la presse*, который был наряду с *Orateur du peuple* Фрерона одним из самых активных термидорианских листков. Бабёф осуждал Террор, но он также стремился понять, как такая «деспотия» могла возникнуть в ходе Революции. В то же время он, похоже, верил, что 9 термидора знаменует первый шаг на пути возвращения к истинным революционным принципам, в частности к исползованию свободы в рамках прямой и децентрализованной демократии. Разоблачения, сделанные в ходе процесса Каррье и Революционного комитета Нанта, еще углубили сумятицу в его идеях. С нашей точки зрения, его тексты особенно интересны как раз в плане этой сумятицы: «La vie de Carrier» было довольно редким произведением, не возбуждавшим особого интереса в течение двух веков. Оно было переиздано Р. Сеше и Ж.-Ж. Брежоном лишь по случаю двухсотлетия Революции (Paris, 1987). Д. Мартен посвятил «системе сокращения населения» сообщение на коллоквиуме: *La Légende de la Révolution. Actes du colloque de Clermont-Ferrand (juin 1986), présentés par Ch. Croisilleet J. Ehrard, avec la collaboration de M.-Cl. Chemin. Clermont-Ferrand, 1988.**

объясняется все: война в Вандее, война за пределами страны, проскрипции, гильотинирования, массовые расстрелы, потопления, конфискации, максимум, реквизиции, щедрость в адрес определенной категории личностей и т.д.». Таким образом, в основе лежал проект, разработанный Робеспьером, который установил, «всё посчитав, что французское население превосходит ресурсы земли¹³⁰, [...] что рук слишком много для выполнения всех основных необходимых работ... Наконец [и это кошмарный вывод], что население может столь разрастись [нам не хватает подсчетов пресловутых законодателей], что станет необходимо пожертвовать частью санкулотов... И придется что-то с этим делать».

К данной цели добавлялись другие заботы: собственность оказалась в руках небольшого количества людей, и ее необходимо перераспределить, чтобы обеспечить равенство, а этого не сделать без чрезвычайно высокого налогообложения богачей и «без изначального огосударствления собственности». Робеспьер мог одержать победу, лишь «принеся в жертву крупных собственников и навязав столь сильный террор, чтобы тот оказался способен убедить остальных покориться по доброй воле». Этот «важнейший раскрытый секрет» объясняет все тайны: «мерзостное убийство нации», «людоедство», превращение Вандеи в поле для экспериментов с «небывалой и бесчестной политической целью: *прополоть человечество*». Этот дьявольский план уже стоил Франции миллиона жителей. Помимо прочего, дело не ограничивалось исключительно Вандеей и войной за пределами страны; существовал также «надежный план» организовать в Париже голод — самое эффективное средство «сократить население Франции». Этим объясняется и тот факт, что «республиканские фаланги, превращенные в легионы геростратов и в ужасных мясников, вооруженных сотней тысяч факелов и сотней тысяч штыков, заставили трепетать такое количество людей и сожгли столько несозревшего хлеба». «Причины всех бед республики следует искать в революционном правительстве». Самая большая ответственность за это ложится на Конвент: он сформировал и поддерживал это правительство; он давал свое согласие на законы, которые были «обжигающими и удушающими, он санкционировал такое количество других, столь же плотоядных (*sic*), что приходится верить, когда он говорит, что Робеспьер в одиночку был сильнее, чем все депутаты вместе». Таким образом, раскрытие этого макиавеллиевского плана позволяет покарать истинных виновных — тех, кто служил «деспотии»

¹³⁰ Похоже, что Бабёф разделял мальтузианскую идею, которую он приписывает Робеспьеру: ее истинность будет подтверждена «единственной надежной мерой, измерением общей производительности земли и сельской экономики [...]. поскольку никакой вид искусства сам по себе не способен произвести даже лишний фунт хлеба». Тем не менее, по Бабёфу, решение этой проблемы может и должно быть мирным и эгалитаристским.

и чьи преступления вызывают о мести. Однако это «доказательное и счастливое раскрытие тайны» прежде всего позволяет снять вину с Революции: раскрытие заговора и его «ужасной системы» обеспечивает обретение ею изначальной чистоты¹³¹.

Этот текст необычен в плане фантазмагии, родившейся в попытке разгадать тайны истории, однако в нем можно легко узнать перемешанные и слитые воедино основные страхи, которые преследовали Старый порядок, и новые призраки, порожденные Революцией: коварные планы и козни; «голодный заговор»; Террор, представляемый как детище тайных сил и проводимый в жизнь «чудовищами-людоедами». Он примечателен показом логики навязчивых идей, которая приводит к восприятию, пусть и фантазматическому, Террора как системы власти, пригодной для устранения, то есть уничтожения, тысяч и даже миллионов граждан с единственной целью: достичь реализации революционных замыслов.

Суд над Террором превратился в суд над Революцией. Не над Французской революцией как историческим феноменом, поскольку отныне одним из ее этапов как раз и стало требование правды, заставлявшее анализировать причинно-следственную связь, которая привела от принципов 1789 года к убийствам в Нанте и гражданской войне; а над Революцией как демиургом системы образов II года. Так, поздравляя читателей с закрытием Якобинского клуба, одна из термидорианских газет напечатала ужасную фразу: «Они больше не будут нас топить, они больше не будут нас расстреливать, *они больше не будут палить из пушек по французскому народу, чтобы сделать его лучше*»¹³². Закрытие Клуба стало знаковым событием для уничтожения политического и символического наследия Террора. Но были и другие: возвращение депутатов-жирондистов, участвовавшие обвинения в адрес членов бывших Комитетов, уничтожение «золотой молодежи» символов II года — красных колпаков и бюстов «мучеников свободы». Однако на этом невозможно было остановиться: вскоре была поставлена под вопрос Конституция 1793 года. Нападая на террористическую систему образов, Термидор сталкивался с политическими и культурными проблемами, поскольку Революция, будучи наследницей Просвещения, привела не только к «тирании» — также она породила чудовищное явление, противоречащее и ее истокам, и ее целям, явление, с которым она хотела навеки покончить: *вандализм*.

¹³¹ Основной источник, на который опирался Бабёф, раскрывая эту «тайну», — брошюра Вилатта (*Vilatte J. Causes secrètes de la Révolution. Paris, an III*). Ее разделы, будучи весьма вольно интерпретированы, внушили Бабёфу идею «дьявольского заговора». Проходивший обвиняемым по делу Фукье Вилатт, несмотря на его обвинения Робеспьера, был приговорен к смерти.

¹³² *Gazette historique et politique de la France et de l'Europe. 25 brumaire an II.*

ГЛАВА IV НАРОД-ВАНДАЛ

НАШИ ПРЕДКИ БЫЛИ ВАНДАЛАМИ?

В 1912 году Антуан Олар, негодуя, возвращался из Авиньона. Знакомя туристов с памятниками, гид не переставал подчеркивать разрушения и повреждения, совершенные во время Революции. Наведя справки, Олар удостоверился, что со всеми этими разрушениями Революция не имела ничего общего: они были совершены при Империи или даже при Реставрации. «Вот чего стоят уроки официальных Цицеронов. Их болтовне могут поверить лишь легковверные люди. Однако им верит большинство. В любой день в некоторых национальных зданиях и во всех районах Франции можно найти официального человечка, который по приказу или без оного изливает гнусности на Революцию, представляя *наших предков вандалами, неотесанными людьми*, и это при том, что доказано: Комитет общественного спасения, Комиссия по искусствам, Комитет народного просвещения умудрялись в 1793 и во II годах, то есть в разгар Третьей Республики, поддерживать и защищать народное достояние Франции, и умудрялись это делать максимально заботливо, компетентно и грамотно»¹³³.

Негодование Олара прекрасно отражает размах страстных споров, которые вызывала тема «революционного вандализма» в той историографии, для которой Революция была «рассказом об истоках, то есть размышлениями об идентичности»¹³⁴. В эпоху наступления на культуру времен Третьей республики и школьной войны* «революционный вандализм» приобретал особое значение. Если историческая полемика и приобретала порой масштабность поэм Гомера, то только потому, что ее смысл далеко выходил за рамки того, что явно лежало в ее основе, — памятников, произведений искусства или библиотек, уничтоженных во время Революции. Пусть были разрушения, никто этого не отрицал; в равной мере никто не предлагал оправдывать или восхвалять, их: это было непредставимо в эпоху поклонения культуре Прогресса и Цивилизации. Если упорно обсуждался и масштаб этих разрушений, и в особенности вопрос о том, кто нес за них ответственность, если одни стремились составить их скрупулезный список и показать, что они были отнюдь не

¹³³ Aulard A. Boniments contre-révolutionnaires // La Dépêche de Toulouse. 2 decembre 1912. Repris in: Révolution française. 1912. Vol. 63.

¹³⁴ Furet F. Penser la Révolution française. P. 18-19.

* Имеется в виду развернувшееся при Третьей республике противостояние между французскими светскими и клерикальными кругами после принятия решения о том, что образование становится светским, а религиозные дисциплины можно преподавать лишь во внеурочные часы.

случайностью, а итогами заранее разработанного плана, то другие утверждали, что во времена Революции разрушения были не более многочисленны, чем в любую другую эпоху войн и бедствий, что столько же, если не больше, оказалось разрушено позднее («Вот именно, во время Реставрации!» — с удовлетворением восклицал Олар) и что они были случайностью, идущей вразрез с целями Революции и ее политикой; однако все стремились защитить или обвинить именно «предков». Являлись ли предками «черных гусар» Республики «вандалы»? И как же быть тогда с просветительской миссией и соответственно с тем, что сделала на ниве просвещения Республика, столь гордящаяся своими революционными корнями?

При изучении полемики конца XIX и начала XX века — особенно если не забывать вычленять из нее проблему «предков» — испытываешь чувство удивления от того, что аргументы обличителей «вандализма» и их «республиканских и революционных» протагонистов не столько противоречат друг другу, сколько дополняют¹³⁵. При условии ограничения полемики тем, что лежало в ее основе, то есть вопросом об уничтожении культурных ценностей и о возлагавшейся за это на революционные власти ответственности (однако, как мы вскоре увидим, тема вандализма, начиная с Революции, отнюдь не ограничивается этим вопросом), возникает искушение согласиться с каждой из сторон.

Хотели ли сменявшие друг друга революционные власти уберечь от уничтожения культурные ценности, предметы искусства, книги, древние манускрипты? Разработали ли политику их сохранения и создали ли институты, которые должны были ее проводить? Да, несомненно. Список декретов сменявших друг друга Собраний о мерах, направленных на сохранение книг, грамот, мебели, картин, памятников, которые после национализации должны были быть тщательно инвентаризированы и помещены в специально предназначенные для этой цели хранилища, весьма длинен. Первые меры датируются ноябрем 1789 года, дополнительные решения были приняты в 1790 году (в октябре), в 1791 году (в мае-июне), в 1792 году (в сентябре) и т.д. В декабре 1790 года была создана состоявшая из ученых, эрудитов, библиографов и художников Комиссия по памятникам, предназначенная для надзора за «сохранением памятников, церквей и домов, перешедших во владение нации», и в частности, для того, чтобы позаботиться о памятниках, которые находились в Париже, и о «хранилищах грамот, актов, бумаг». В разгар Террора, в октябре 1793 года, через месяц после принятия закона о подозрительных, Конвент голосует за энергичные меры,

¹³⁵ Упомянем, для примера, с одной стороны: *Gautherot G. Le Vandalisme jacobin. Destructions administratives d'archives, d'objets d'art, de monuments religieux à l'époque révolutionnaire*. Paris, 1914, а с другой — *Despois E. Le Vandalisme révolutionnaire, fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention*. Paris, 1885.

направленные против имевших место в стране злоупотреблений, приведших «к разрушению памятников, предметов науки и ремесел, искусства и образования». После того как Комиссию по памятникам сочли малоэффективной (но в то же время и недостаточно политически «надежной»), она была заменена новым органом, Временной комиссией по искусствам, от которой монтаньярский Конвент потребовал «выполнения всех декретов, касающихся сохранения памятников, предметов науки и ремесел, и их перенесения в подходящие хранилища»; он требовал разработки новых способов, которые обеспечивали бы эффективное сохранение памятников «на всей территории государства»¹³⁶. Этот список постановлений, декретов, мер, институтов может быть легко продолжен.

Так несут ли сменявшие друг друга революционные власти ответственность за разрушения, инспирировали ли они их или, по крайней мере, закрывали ли на них глаза? Да, несомненно, и тому есть немало доказательств. Тот же самый длинный список декретов, постановлений и т.д., содержащих одни и те же призывы и увещевания, уже сам по себе показывает, насколько они были неэффективны или даже просто не соответствовали ситуации. Все эти меры защиты разрушающихся памятников были следствием других решений революционных властей, неизбежно ставивших культурное наследие под угрозу. Переход в руки Нации земель духовенства, конфискация поместий эмигрантов и отчуждение этих национальных имуществ были теми мерами, которые по необходимости влекли за собой насильственное перемещение целых библиотек, коллекций грамот и картин, их складирование в неподготовленных и неподходящих помещениях и соответственно неизбежные повреждения, не говоря уже о кражах, разнузданной спекуляции предметами искусства или ценными рукописями. Продажа за бесценок монастырей и замков обрекала их на уничтожение. Знаменитый декрет от 14 августа 1792 года о разрушении памятников, «вызывающих воспоминания о феодализме», требовавший «не оставлять долее на глазах французского народа памятники, воздвигнутые гордыней, предрассудками и тиранией», обрекал на уничтожение бесчисленное количество предметов искусства и памятников. Разумеется, Конвент вводил определенные ограничения, однако уже месяц спустя размеры нанесенного этим декретом ущерба стали столь очевидны, что потребовалось вводить новые ограничения и выпускать новые инструкции. И тем не менее

¹³⁶ *Rucker F.* Les Origines de la conservation des monuments historiques en France (1790-1830). Paris, 1913. Протоколы и той и другой Комиссии свидетельствуют об их неустанном стремлении справиться с этими гигантскими задачами: Procès-verbaux de la Commission des monuments, publiés et annotés par L. Tuetey. Paris, 1902-1903 ; Procès-verbaux de la Commission temporaire des arts, publiés par L. Tuetey. Paris, 1912.

летом и осенью 1793 года целая серия декретов была направлена против всех гербов и «эмблем королевской власти» на всех домах, во всех парках, монастырях, церквях и т.д. А что можно сказать о волне дехристианизации, обо всех этих снятых колоколах и разобранных крышах, о башнях церквей, разрушенных во имя Разума и «святого Равенства», об обезображенных скульптурах, о переплавленных предметах культа?

С «республиканской» стороны возражали, что чаще всего речь здесь шла о злоупотреблениях, осужденных уже самим революционным правительством; что волна дехристианизации была кратковременной; что скульптуры и алтари были обезображены или разрушены по большей части революционными армиями, осуществлявшими разнузданную дехристианизацию, которую быстро прекратили; что, наконец, ряд мер был навязан «внешними обстоятельствами» — армии не хватало бронзы для пушек. Эти аргументы, которые можно в большей или меньшей степени принимать во внимание, отнюдь не противоречат тем, что выдвигаются «обличителями» вандализма. Разве иконоборческая волна не вписывалась в политику, проводимую находящимися у власти элитами, исходящую «сверху» и поддерживаемую «снизу»? Разве brave санкюлоты, предававшие этому иконоборчеству, не поощрялись, особенно во II году, властью и разве санкции не оставались исключительно на бумаге? И разве эти опустошения не продолжались «хладнокровно» (наиболее ярким здесь является пример Клюни) на протяжении всего правления Директории, когда «внешних обстоятельств» уже не существовало?

При этом, похоже, ни один из двух представленных лагерей не придает особого значения термидорианскому периоду, когда тем не менее утверждался дискурс, направленный против вандализма. Одни не делают этого, поскольку испытывают отвращение при мысли о том, чтобы признать приоритет реакции, которой следует отдать должное в плане прекращения разрушений, тогда как Революция в свои «героические» годы явно претендовала на защиту искусств и культуры. Кроме того, созидательная работа термидорианского периода в области культуры — к примеру, организация Политехнической школы, Нормальной школы или Музея французских памятников — была продолжением инициатив, проявленных во времена правления монтаньяров. «Хулители» вандализма преуменьшали значение Термидора по совершенно другим причинам. В конечном счете Термидор осудил вандализм, однако в реальности не прекратил его. Всё те же свойственные Революции опустошения продолжались от начала до самого конца, один период от другого отличался лишь их интенсивностью. После Термидора ничто не было отреставрировано, и Музей Лувра являлся самое большее кладбищем искалеченных скульптур, а их так называемое сохранение

очень часто оказывалось еще одним способом их изуродовать. Полемиические рассуждения о вандализме всегда сходились на том, что стремление к разрушению скорее активно декларировалось, чем действительно реализовывалось. В конце концов, Лион, город, который Конвент обрек на исчезновение, до сих пор существует... Одни видели в этом доказательство того, что вербальное насилие нередко преобладало над действиями и что Революция, даже если она порой и впадала в диктуемые исключительно «внешними обстоятельствами» бесчинства, в конце концов смогла их преодолеть. Другие видели в этом подтверждение той мысли, что стремление к разрушению не могло в полной мере реализоваться за недостатком времени и физической возможности, поскольку в противном случае Франция лишилась бы всего своего культурного наследия.

И те и другие лишь делают очевидными внутренние противоречия культурной политики Революции. С самого начала Революция вторгалась в сферу культуры, рождала надежды и мечты и провоцировала неудачи. Она претендовала на то, чтобы быть дочерью Просвещения, единственной законной наследницей «просвещенного разума». Тем самым революционная власть приписывала себе роль *распорядителя* если не всего национального культурного достояния, то, по крайней мере, той его части, которая в силу ряда политических и социальных мер — конфискации собственности духовенства и эмигрантов (однако разве эти меры не имели культурного аспекта? можно ли их понять вне этого аспекта?) — оказалась *национализирована*. Власти, представляющей Nation, принадлежало право поставить эти культурные ценности на службу Nation, а не горстке привилегированных, стать защитницей искусств, перевести их в пространство *культуры*, которая совпадала с демократическим *политическим* пространством. Революционные власти постоянно и в полный голос настаивали на этой обязанности и этой ответственности и соответственна наталкивались на все практические трудности, которые влекло за собой управление национализированным культурным достоянием: недостаток подходящих помещений, компетентного персонала, от которого требовалась лояльность новому режиму, нехватка средств и т.д. К этим недостаткам инфраструктуры добавлялись, особенно в «героический» период, революционные иллюзии: благодаря «революционной энергии», которую Барер сравнивал с солнцем Африки, заставляющим быстрее произрастать растения, каждый проект мог быть реализован очень быстро, в течение нескольких месяцев, а на худой конец, одного или двух лет. Однако если под «солнцем Революции» урожай проектов — в этом сомнений нет — созрел быстро, то в том, что касалось их реализации, одного только солнца было недостаточно: количество культурных ценностей, которыми надо было управлять, оказалось слишком велико (более

миллиона книг по всей стране были свалены в импровизированные хранилища), и если не хватало средств, то и цели оставались неопределенными.

1789 год претендовал на то, чтобы быть продолжателем определенного культурного прошлого, но в то же время и *разрывом*, дающим Истории новую отправную точку. Таким образом, он претендовал на *возрождение и очищение*, особенно в отношении культурного наследия, запятнанного веками тирании и предрассудков. Однако слова «возродить» и «очистить» были двумя терминами той эпохи, которые плохо скрывали непреодолимое противоречие: необходимо сохранить прошлое, однако не *всё* прошлое, и при условии, что из него будет исключено то, что не достойно внимания народа, также обновленного, то, что не достойно сохранения и интеграции в новую цивилизацию, которую предстояло построить. (Этот народ в большинстве своем все еще оставался погрязшим в «предрассудках» и неграмотности. Элиты отдавали себе в этом отчет, однако политические и культурные последствия этого они обнаружили лишь в ходе Революции.) Революционные элиты не сомневались, что располагают непогрешимым критерием, основанным одновременно и на достижениях просветителей, и на опыте Революции, для того чтобы отсортировать культурное наследие. Однако эти критерии всегда оставались размытыми и беспрестанно ставились под сомнение. Они оказались практически неопределимыми. Даже границы между тем, что следовало разрушить, и тем, что следовало сохранить, были подвижны, неуловимы. И тому немало примеров. Так, знаменитый декрет об уничтожении «символов королевской власти и феодализма» поручал Временной комиссии по искусствам «надзирать» за сохранением предметов, которые могли быть «интересны исключительно с точки зрения искусств». Однако были ли королевские статуи интересны «исключительно» с точки зрения искусств или же являлись простыми «символами тирании»? Стереть с картины гербы, которые были на ней изображены, — это значит ее уничтожить или сохранить? Во II году Юрбен Домерг, руководитель Бюро библиографии, хотел ускорить составление единого каталога национализированных книг — огромной работы, которая шла медленно, несмотря на усилия отвечавшей за это Комиссии. Тем временем книги, сваленные в импровизированных хранилищах, портились. Соответственно, чтобы *сохранить* то, что «гений породил на благо и для славы народов», не следовало ли *избавиться* от вредоносных и бесполезных творений, как, например, те, которые «не стоят листка бумаги, на которых переписаны их названия»? А раз так, то было необходимо «принести в наше огромное книгохранилище революционный скальпель и отсечь все пораженные гангреной члены библиографического тела». Домерг соглашался сохранить самое большее один или два экземпляра «из всего, что произвела

человеческая глупость» — с той же целью, с какой ботаник помещает в свой гербарий ядовитые растения. Все остальное, всю эту теологически-аристократически-роялистскую дребедень, можно продать за границу. Республика извлечет из этого двойную выгоду: «она получит деньги для своих армий и посеет посредством этих книг в умах своих врагов помутнение и бред»¹³⁷.

Те же самые противоречия и соответственно экстремистские проекты, предлагающие разрешить эти противоречия при помощи «революционного скальпеля», мы находим в эпоху Революции в политике и в сфере школьного образования. В центре политического дискурса оказываются страстные дебаты о выборе системообразующих культурных и моральных моделей, об отношениях между культурой и властью, традициями и инновациями, либерализмом и дирижизмом, религией и светскостью в том демократическом обществе, которое еще предстояло изобрести¹³⁸. К этим сложным проблемам добавляется религиозный вопрос, который пронизывает все революционные эксперименты в области культуры (и в особенности эксперименты педагогические). Революция не обладает одним и тем же универсальным содержанием во все времена и все эпохи, одни и те же действия не обязательно приобретают одно и то же культурное и социальное значение. Так и с иконоборчеством: в ходе некоторых революционных праздников в Париже, когда торжественно сжигались феодальные документы, организаторы стремились сохранить древние грамоты, рассматриваемые как «ценные памятники». И совершенно иначе обстояло дело с крестьянами, которые устраивали «иллюминации» в сельской местности во времена «Великого страха» или праздников II года. Дехристианизаторское иконоборчество, вдохновляемое и направляемое сверху революционными элитами, совершенно не обязательно имело то же культурное значение, что и разрушительные действия, совершаемые революционными армиями в маленьких городках и деревушках. Якобинская власть воображала себя централизующей властью, на самом же деле Франция оставалась куда более федералистской. Единый для всей страны декрет воплощался в жизнь очень по-разному, в зависимости от департамента и коммуны, накладываясь на традиционные локальные

¹³⁷ Rapport fait au Comité d'instruction publique par Urbain Domergue, chef du Bureau de la bibliographie // *Guillaume J.* Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale. Paris, 1891-1907. Т. II. P. 798. Прекрасная работа П. Риберетта (*Riberette P.* Les Bibliothèques françaises pendant la Révolution (1789-1795). Recherches sur un essai de catalogue collectif. Paris, 1970) делает очевидными все противоречия и трудности, в которых происходило составление этого «единого каталога». Комитет по общественному образованию отверг, тем не менее, предложения Домерга.

¹³⁸ Эти проблемы более подробно обсуждаются нами в: *Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l'époque révolutionnaire, présentés par B. Baczkó.* Paris, 1982, P. 8-58.

конфликты и антагонизмы. Вне всяких сомнений, Революционный комитет, принявший решение уничтожить в Эрменонвиле, в парке, окружающем Тополиный остров и могилу Руссо, бюсты философов, поскольку те изображали «англичан», совершил акт «вандализма». В равной мере было «вандализмом» уничтожение, систематическое и потребовавшее привлечения специального предпринимателя, королевских гробниц во Франсиаде, бывшем Сен-Дени; «вандализмом» была и идея организовать переработку сахара в аббатстве Сен-Жермен, что повлекло за собой в 1794 году случайный пожар, уничтоживший одну из богатейших библиотек. Вот другие, в равной мере «вандалские» действия: ажиотаж вокруг национальных имуществ и уничтожение настолько быстро, насколько это было возможно, того или иного особняка, того или иного монастыря. И данный список можно продолжать и продолжать. Эти акты были вандалскими по своим разрушительным эффектам и невосполнимому вреду, однако тем не менее четко видно их социокультурное и идеологическое значение. Во время Революции существовало несколько *вандализов*, так же, как было несколько дехристианизаций¹³⁹. Эти вандализмы довольно часто сливались воедино. Тем больше оснований обрисовать, насколько это возможно, их различные типы и формы, размах и нюансы каждой их волны в зависимости от региона — для того чтобы четче представить себе этот сложный культурный и социальный феномен¹⁴⁰. Типологический анализ размышлений о вандализме, которые существовали в ту эпоху, уже сам по себе позволяет понять символические и культурные цели Террора.

ВАРВАРЫ СРЕДИ НАС...

В унаследованном от Просвещения языке слово «вандалы» означало «самых варварских из варваров»; говорили даже о «варварских вандалах»¹⁴¹. Общим местом революционной риторики было определение как «Варварского» того прошлого, которое необходимо уничтожить: привилегии, несправедливые законы, налоговую систему, корпорации и даже старые школы. Варвар

¹³⁹ См.: *Cobb R.* Les Armées révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements. Paris, 1963. Т. II; *Plonger B.* Conscience religieuse en révolution. Paris, 1969.

¹⁴⁰ См.: *Hermant D.* Destruction et vandalisme pendant la Révolution française // *Annales ESC.* 1978. № 4 — новаторскую работу, которая выходит за традиционные рамки и предлагает несколько интересных направлений исследований, хотя мы и не разделяем всех ее выводов.

¹⁴¹ См.: *Michel P.* Un mythe romantique. Les Barbares, 1789-1848. Lyon, 1981; *Hermant D.* Op. cit.

символизировал одновременно и тиранию, и невежество. Другим общим местом дискурса, который позиционировал себя как революционный и просвещенный, была идея о том, что тирания основывается на невежестве и порождает варварство. Старый порядок, варварский и тиранический, по необходимости держал Nation в невежестве, тогда как свобода может быть основана лишь на Просвещении, она естественный враг всякого «варварского невежества»¹⁴².

Тем не менее уже начиная с 14 июля обвинение в варварстве в равной мере выдвигалось и против Революции. Прежде всего имелось в виду революционное насилие. Для Ривароля взятие Бастилии отнюдь не было героическим актом, положившим начало свободе. Он видел в нем лишь образ «варварского города» и черни с «обагрёнными кровью руками», убивавшей невинных, и носившей их головы на пиках. Та же самая чернь, «своего рода дикари», «все самое мерзкое, что могли исторгнуть лачуги и сточные канавы улицы Сент-Оноре», перебила телохранителей короля в Версале 6 октября, а затем препроводила короля и его семью в Париж, вновь пронеся перед глазами пленников насаженные на пики головы. «Горе тем, кто взбудоражит глубины нации! Для черни нет никакого века Просвещения; это не французы, не англичане, не испанцы. Чернь всегда и во всех странах одна и та же: это всегда каннибалы, всегда людоеды»¹⁴³. Эскалация революционного насилия, в частности, после 10 августа и в ходе сентябрьских убийств еще чаще клеймилась как «варварская» и «вандальская». В контрреволюционном дискурсе подобные выражения свидетельствовали о презрении и страхе, и в равной мере это был своего рода экзорцизм Революции, которая оставалась по сути своей непонятной. «Варварская» Революция — это революция, пришедшая извне, вторжение, находящееся за рамками истории, как природная катастрофа или любая другая чудовищная вещь (здесь показательно сближение с «каннибалами», людьми-чудовищами).

И только Малле дю Пан, самый пронизывающий из контрреволюционных наблюдателей и аналитиков, прибежал к идее-образу вандала не только для того, чтобы опорочить Революцию, но и чтобы ее *понять*. Начиная с 1790 года он отмечает, что аналогии между революционными событиями и варварскими вторжениями

¹⁴² Эти идеи можно найти в текстах, посвященных национальному образованию; см., например: *Vaczko B. Une éducation pour la démocratie*, предложение Мирабо (P. 79), Талейрана (P. 109), Ромма (P. 269), Барера (P. 429). Мы встречаем то же самое общее место, однако в совершенно ином политическом контексте, в выступлениях термидорианцев против тирании Робеспьера.

¹⁴³ *Rivarol. Journal politique et national // Rivarol. Œuvres complètes*. Paris, 1808. T. IV. P. 64 et suiv., p. 286 et suiv. В рассказах об этих убийствах беспрестанно повторяются термины «варвары», «вандалы», «каннибалы»; с другой стороны, и революционные памфлеты описывали короля как «кровопийцу» и «каннибала».

могут объяснить не так уж много. Они были уместны, лишь если позволяли выявить *новый*, уникальный характер Революции. Разумеется, в ряде своих жестоких и отвратительных аспектов Революция напоминала вторжение варваров, наводила на мысли об этом «памятном разрушении», однако на сей раз «гунны и герулы, вандалы и готы пришли не с Севера и не с берегов Черного моря, *они среди нас*». Отрешившись от «изменчивости событий», которые хлынули в доселе небывалом ритме, необходимо выявить «разрушительную природу» Революции и ее глобальную цель. Для этого Малле дю Пан обращается к недавно появившемуся неологизму, само употребление которого подчеркивает неизведанный характер революционного феномена. Революция затрагивала — не старый или новый порядок, как это думали вначале, не республику или монархию, но *цивилизацию*. Тем самым борьба против Революции перестает быть внутренним французским делом; это не война между нациями и государствами. Малле дю Пан бросает призыв к новому крестовому походу во имя «цивилизации». Вся «старая Европа» оказывается в смертельной опасности перед лицом той «системы вторжения» изнутри, которая не похожа ни на какую другую. Эта «последняя битва за цивилизацию», «в которой сегодня участвует каждый европеец»¹⁴⁴.

Однако революционные элиты лишь в результате длинного и извилистого пути пришли к тому, чтобы внезапно обнаружить, вслед за Малле дю Паном, что «варвары» могут находиться прямо среди них. Разумеется, они с негодованием отвергли обвинения аристократов: Революция отнюдь не только разрушительная сила. Напротив, ее цели и деяния в основе своей созидательны. Если возрождение Нации происходит через разрушение, то лишь потому, что ее прошлое было таким же «варварским», как и Бастилия — символ «варварской тирании». Помимо этого, внутренними и внешними врагами Революции стали «дикие и варварские орды», которые тираны бросили против Франции. Однако своего рода навязчивая идея «варварства», которое смогло пустить корни в самой Революции и извратить ее, потихоньку влияла на умы. Эта идея открыто проявила себя после взрывов жестокого и слепого насилия, в особенности после сентябрьских убийств, которые жирондисты обличали как варварские и на которые якобинцы призывали «набросить вуаль». Она проявляла себя и в бесконечных спорах о новой системе общественного образования, когда пришлось

¹⁴⁴ См.: *Malle du Pan J. Considérations sur la nature de la Révolution française et sur les causes qui en prolongent la durée*. Londres, 1793 P. V et suiv., p. 27 et suiv. «Варвары среди нас» — это «разбойники без хлеба и их главари без собственности», «народ, отринувший страх перед небом и судом». После массового набора в армию Франция превратилась в «огромную казарму» и «каждый активный санюлот имеет право принять участие в дележе земель и добычи» (*Ibid.* P. 34).

признать, что Революция, ликвидировав старые институты, оставила огромное пустое пространство, которое ей так и не удалось заполнить. И Нация сразу же оказалась под угрозой погружения в невежество и варварство. «Не будем совершать, как нас в этом упрекают наши внутренние враги, Революцию готов и вандалов», — восклицал в 1791 году Мирабо, защищая свой проект общественного образования и призывая депутатов Учредительного собрания поддержать «talants», искусство и литературу, дабы избежать опасности, что Революция, «творение литературы и философии, может заставить людей одаренных пожалеть о временах деспотизма»¹⁴⁵. В дебатах об общественном образовании в декабре 1792 и весной 1793 года эта обеспокоенность проявлялась все более активно и заимствовала ту же лексику. В частности, об этом открыто говорил Фуше в своем докладе от 8 декабря 1793 года, представляя Конвенту от имени Комитета общественного образования проект декрета о продаже имуществ коллежей: «Ныне образовательные учреждения в департаментах представляют собой лишь руины [...]. Говорят, что мы скоро впадем в варварство времен начала нашей истории; говорят, что мы стремимся лишь к свободе дикарей, находящихся в революции исключительно удовольствие перевернуть весь мир, а не способ упорядочить и улучшить его, сделать его счастливее и свободнее; говорят, что подобно тиранам мы преднамеренно оставляем человека в потемках и в приниженном состоянии, дабы иметь возможность превратить его, в соответствии с нашими желаниями и интересами, в жестокого зверя». Разумеется, это клевета; тем не менее она использует «отдельные тенденции», чтобы обернуть их против Революции. Эту обеспокоенность преодолевали, воодушевляя народ, который уже чувствовал в глубине души, «что быть свободным можно лишь при наличии образования, что свобода и образование неразделимы и что необходимо объединить их усилия для того, чтобы улучшить человеческую природу, чтобы сбылась наша сильнейшая надежда стать примером и образцом для всех народов земли»¹⁴⁶. Как свидетельствуют документы Комиссии по памятникам и повторяющие друг друга декреты Конвента, эта тревога была особенно сильна перед лицом угрозы уничтожения книг, порчи картин, обезображивания скульптур, которые тем не менее стали «национальным достоянием», что должно было обеспечить им защиту. Ответственность за это возлагалась на иностранцев и злоумышленников, на «происки аристократов» (они нарочно уничтожали свое собственное имущество, которое у них готовились

¹⁴⁵ Mirabeau. Travail sur l'éducation publique // Baczko B. Op. cit. P. 79—80.

¹⁴⁶ См.: Guillaume J. Procès-verbaux... Т. I. P. 340; см. также: Ibid. P. 122 (выступление Ж.-М. Шенье), p. 276-277 (текст Жанбона Сент-Андре).

отобрать...), на алчных спекулянтов и на невежество. Вот сколько существовало враждебных Революции сил, и при этом *внешних* по отношению к ней¹⁴⁷. Даже невежество было лишь наследием злосчастного и варварского прошлого. Однако старательно избегали напрямую указывать на тех, *кто отличался* этим невежеством, которое было и официально признанным, и позорным клеймом. Поскольку если достаточно четко указать, кто был невежественным, то можно было бы оскорбить главный символ представлений любой революции о самой себе: суверенный Народ. Как он мог быть невежественным? Заявить такое означало включить себя в ряды контрреволюционеров, которые «представляют нас в глазах наций как народ дикий и варварский, который предпочитает жить в отвратительном невежестве»¹⁴⁸, что было весьма опасно в эпоху закона о подозрительных. Недоговоренность и умолчания позволяли лишь догадываться о том, кто был *адресатом* этих призывов, становившихся порой весьма патетическими. «Вооруженный палицей» народ мог в начале Революции «поразить всех»; ныне же, во II году, сей народ, новый Геракл, должен понять, что «эти дома, эти дворцы, на которые он все еще смотрит с презрением, не принадлежат более врагу; они принадлежат ему». И ему, «французскому народу, защитнику всего доброго и полезного», следует провозгласить себя «врагом всех врагов образования» и присмотреть за тем, чтоб «руки введенных в заблуждение людей» еще не успели разрушить, ибо это вызовет уважение даже со стороны «варварских завоевателей»¹⁴⁹.

Можно привести еще немало цитат, иллюстрирующих дилемму, если не тупик, в котором оказались революционные элиты: уберечь от подозрений в варварстве образы Революции и суверенного народа — и осудить тем или иным образом «варварские» действия, которые, очевидно, совершались не принцами или священниками, а прекрасно вписывались в патриотическую и гражданскую манеру поведения революционных армий, комитетов бдительности, агентов Республики, прикрываемых, если не поощряемых, представителями в миссиях. Другими словами, как образом осудить «варварство» и «варваров» в

¹⁴⁷ См.: Procès-verbaux de la Commission des monuments...; *Riicker F.* Op. cit. P. 26-29, 76 et suiv., 93 et suiv.

¹⁴⁸ Постановление дистрикта Жюссе (Верхняя Сона) от 8 флореаля II года. Цит. по: *Riberette P.* Op. cit. P. 51.

¹⁴⁹ Instruction sur la manière d'inventorier et de conserver, dans toute l'étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement. Paris, an II. Этот текст, обсуждавшийся Временной комиссией по искусствам в ноябре-декабре 1793 года, был принят 15 вантоза II года (5 марта 1794 года) Комитетом общественного образования. Данная инструкция была, без сомнения, составлена Вик д'Азмром и подписана Ленде, занимавшим должность председателя Времени ой комиссии по искусствам, а также Букье, председателем Комиссии по общественному образованию. См.: *Guillaume J.* Procès-verbaux... T. 111. P. 545.

качестве *внешних и враждебных* Революции сил, когда со всей очевидностью следовало признать существование «варваров среди нас»? Как сделать это, в особенности в разгар Террора, когда слова тщательно взвешивались и когда тесно связанные со Старым порядком интеллектуальные элиты были поражены страхом, даже если они искренне поддерживали дело Революции (что происходило отнюдь не всегда, а нередко было и вовсе далеко от этого). Революционный дискурс обходил эти препятствия, кидаясь от весьма абстрактного осуждения «варваров» к изобретению *заговора вандалов*. Что это было — простое словосочетание, фальсификация или умелое манипулирование словами? Дело обстояло куда сложнее. Даже если признать, что речь здесь идет лишь о простом манипулировании, то разве манипуляторами не манипулировали неподвластные им представления? Говоря языком социологии, успех представления — а представление о «заговоре вандалов» может послужить тут отличной иллюстрацией — показателен как в отношении коллективной системы образов, в которую оно вписывается, так и в отношении распространявшего его дискурса. Понятие «заговор вандалов» сочетало в себе не просто два слова, но и — в равной мере — *две навязчивые идеи*. Одна принадлежала политическим и интеллектуальным элитам, столкнувшимся с «варварством», которое Революция заставляла подняться из недр народа. Его разрушительная сила была весьма наглядна и являлась символом опасности, угрожавшей всей культуре, которую эти элиты считали своей и с которой себя идентифицировали. Другая же навязчивая идея, с которой мы уже знакомы по слуху о Робеспьер-короле, размывала революционную систему образов и менталитет с совершенно иной силой: это был страх перед многоликими кознями, которые без устали плели враги дела Революции¹⁵⁰.

Эта вторая навязчивая идея предоставляла во времена Террора редкостную возможность для манипуляций. Повсюду царил всеобщая подозрительность в адрес тех, кто до сих пор еще не разоблачен, кто прячется в армии, в революционных комитетах и обществах, в самом Конвенте. *Техника эксплуатации* этой навязчивой идеи обкатывалась в ходе политической борьбы. Она широко использовалась не только профессиональными политиками на национальном уровне (и, разумеется, полицией), но и для сведения счетов на местах. В представлении о «заговоре» «разоблаченные враги» были взаимозаменяемы. Искусство и техника манипуляций заключались в создании амальгам, стиравших границы между всеми возможными «врагами», в особенности между теми, кто был видим и находился вовне — тиранами, аристократами и т.д., и

¹⁵⁰ Об идее заговора и ее центральном месте в революционной системе образов см.: *Furet F.* Op. cit. P. 79 et suiv.

теми, кто «прятался», затесавшись в ряды народа. Эта манипуляционная техника была легко видоизменяема, она оперировала своего рода матрицами новых «врагов», которых еще предстояло разоблачить, сделанными по образцу «врагов» старых, уже разоблаченных. В условиях запутанной политической конъюнктуры с резкими внезапными поворотами то в одну, то в другую сторону, смещения от идеологии и политических воззрений в сторону неприкрытых манипуляций становились неизбежны (и наоборот, традиция манипулирования в свою очередь подпитывала подозрения, доносы, идеологическое исступление, и, в конце концов, в политической игре стало участвовать весьма ограниченное количество действующих лиц, терзаемых злобой и личной враждой). Разоблачение «заговора вандалов» лишь один из примеров этой сложной игры навязчивых идей и идеологии, социальной системы образов и манипуляций, в которой за небольшой промежуток времени и в совершенно определенном контексте политико-культурный страх перед «варварской угрозой» обернулся политико-полицейским дискурсом.

21 нивоза II года Грегуар представил Конвенту от имени Комитета общественного образования доклад о надписях на общественных памятниках. В частности, он предложил законодателям, которые уже приняли «мудрые меры», добавить к ним другие, чтобы обеспечить «сохранение древних надписей, которые пощадило время». За единственным исключением этот доклад не вносил ничего нового в рассуждения о разрушении памятников. Конвент «принял мудрое решение об уничтожении всего, что несет на себе отпечаток роялизма и феодализма». Даже «прекрасные стихи Борбония, начертанные над дверями Арсенала», никто не пощадил, и это было вполне справедливо, поскольку «они были запятнаны лестью в адрес тирана» (речь идет о Генрихе IV). Однако этих мудрых декретов было недостаточно, поскольку уничтожались и античные памятники, которые должны быть сохранены «все до единого». Такие памятники были «своего рода вехами, и какой здравомыслящий человек не содрогнется от одной только мысли о том, что молот обрушится на древности Оранжа или Нима». Уничтожение их было бы варварским актом. А единственным нововведением в докладе Грегуара как раз и было определение варварства: «Нельзя внушить гражданам слишком много ужаса в отношении этого *вандализма*, которому известно лишь разрушение». Слово подчеркнуто в тексте, дабы стало очевидным, что речь идет о неологизме. Задним числом это нововведение можно воспринять как своего рода поворот в истории рассуждений о «вандалах». Сам же текст не блещет оригинальностью. Он повторяет приведенные выше клише, и «вандализм» в нем быстро приписывается «контрреволюционному варварству», которое стремится «нас объединить, обесчестив». Агенты «вандализма»

совершенно не отличаются от других контрреволюционеров, как обычно, вероломных. Отстаивая древние надписи («их уничтожение станет потерей; переводить их было бы анахронизмом»), Грегуар восхваляет превосходство французского языка (предназначенного стать «всеобщим языком», о котором мечтал Лейбниц) над древними языками, тем более что Грегуар ставил французских революционеров куда выше «античных республиканцев». Разумеется, «мы чтим их память», однако кто возмечтает «стать греком или римлянином, когда он француз»? Здесь имеет место восторженность или фигура речи, напоминая иное: в своем докладе о проекте декрета, предлагающего роспуск старых академий, Грегуар без колебания заявлял, что «практически всегда истинно талантливый человек — это санкюлот»¹⁵¹.

Три месяца спустя по случаю доклада о библиографии Грегуар возвращается к нападкам на разрушающих памятники «контрреволюционеров». Хотя неологизм «вандализм» здесь не повторяется, речь вводит новое в ином плане. Упомянув «интриги наших врагов, направленные на то, чтобы унижить и обеднить народ, который, несмотря на их попытки, всегда будет богатым и великим», упоминая о врагах, которые совершали свои преступления, чтобы «приписать их нам, называя нас варварами», Грегуар не ограничивается рассказом о приходящих в упадок памятниках. Опасность куда более серьезна и глобальна. Так, «говорят, не различая полезных и вредных талантов, что ученые — это бич государства». С другой стороны, «в Париже, в Марселе и в других местах предлагают сжигать библиотеки» под тем предлогом, что «теология, как они говорят, — это фанатизм; юриспруденция — крючкотворство; история — ложь; философия — мечты; науки — в них нет нужды». Таким образом, угроза нависла над всей культурой, и это в тот момент, когда более чем когда-либо необходимо «революционизировать искусство», хотя этот тяжкий труд и должен совершаться в соответствии с линией, обозначенной Конвентом и его Комитетами, а не в диком хаосе. Так, необходимо поместить «абсурдные книги под запрет разума», однако их можно поменять на что-либо за границей. Что же до «врагов», ответственных за эти «варварские деяния», Грегуар использует старые клише: аристократы, иностранные спекулянты и т.д. Но в эту литанию он включает нового врага: «глупцы клеветали на гениев для того, чтобы не чувствовать собственной обделенности»; контрреволюционеры,

¹⁵¹ Rapport sur les inscriptions des monuments publics, par le citoyen Grégoire // Œuvres de l'abbé Grégoire (reprint). Paris. 1977. Т. II; Rapport et projet de décret présenté au nom du Comité d'instruction publique, le 8 août 1793 // Ibid. Об истории самого неологизма см.; Guillaume J. Grégoire et le vandalisme // Révolution française. 1901; Brunot F. Histoire de la langue française. Paris, 1967. Т. IX. P. 857 et suiv.; Frey M. Les Transformations du vocabulaire français pendant la Révolution (1789-1800). Paris, 1925. P. 265.

которые уничтожали памятники, скрывались «под маской патриотизма». Весьма абстрактные намеки, которые в тексте никак не уточнялись; помимо прочего, складывалось впечатление, что обвинения против «глупцов» и «ложных патриотов», угрожающих наукам и талантам, были в самый последний момент добавлены в доклад, посвященный совершенно иному сюжету — работе над библиографией¹⁵². Тем не менее сам контекст, в который вписывался доклад, проясняет эти намеки. И в самом деле, Грегуар выступал перед Конвентом 22 жерминаля, через восемнадцать дней после казни Эбера и в тот самый момент, когда начинался процесс Шометта; в своем первом докладе о вандализме Грегуар позднее высказывал те же самые упреки, но на этот раз говорил без обиняков и называл имя Эбера. Кроме того, нападки на Эбера содержались и в других документах Комитета общественного спасения и Комиссии по общественному образованию. Барер, член Комитета общественного спасения, отвечавший за сферу образования, в своем докладе о «революционном изготовлении пороха» восхвалял «революционные лекции», которые служили связующей нитью между крупнейшими учеными и подготовкой ремесленников, в которых столь нуждалась Республика. Однако он гневно обрушился на «заговор» — «лигу», ставящую под угрозу одновременно и науку, и Революцию. «Эта революционная практика публичных лекций стала для Комитета а способом дать образование, который послужил ему с пользой во всех полезных для Республики сферах; и вы не замедлите почувствовать ее необходимость перед лицом лиги вандалов и вестготов, которые все еще хотят провозгласить невежество, осудить образованных людей, изгнать гениев и парализовать мысль»¹⁵³.

Чеканный образ «лиги вандалов» вписывался в контекст всей кампании, проводимой Комитетом общественного спасения.

И в самом деле, Пейян, недавно назначенный этим Комитетом комиссаром Исполнительной комиссии по общественному просвещению, в те же дни представил доклад об «исправлениях оперы "Кастор и Поллукс"; слова Бернара, музыка Кандейля». Предлог был ничтожным: «корректор» заменил в либретто слова, которые казались ему противными республиканской морали, на другие, более подходящие. Так, вместо «дар богов» он написал «дар

¹⁵² Grégoire. Rapport sur la bibliographie, présenté au nom du Comité d'instruction publique, le 22 germinal an II // Grégoire. Œuvres. T. II. P. 208—212; см. также: Guillaume J. Grégoire et le vandalisme.

¹⁵³ Barère. Rapport sur l'état de la fabrication du salpêtre et de la poudre, présenté au nom du Comité d'instruction publique, le 22 germinal an II, см.: Guillaume J. Procès-verbaux... T. IV. P. 820. О революционных лекциях, которые послужили образцом при создании и Марсовоу школы, и Нормальной школы, см.: Baczkó B. Une éducation... P. 38 et suiv. Во флореале II года Комитет общественного спасения принял, помимо прочего, серию мер, направленных на поощрение ремесел, наук и искусств. См. их длинный список в: Guillaume J. Procès-verbaux... T. IV. P. 248-253.

небес»; «божественную дружбу» он заменил на «небесный разум»; «любовь делает тебя постоянным» было заменено на «тот, кто постоянно следует законам» и т.д. Для II года процедура была обычной; в старых пьесах заменяли даже «господин» на «гражданин» и старорежимное «вы» на республиканское «ты»... Однако с первых же строк в докладе страстно провозглашалась истинная мишень этих атак. «Невежество, грубость, варварство, наконец, *все, что можно назвать эбертизмом в искусстве*, ведут к контрреволюции посредством огрубления мысли, точно так же как политический эбертизм использует заговоры, беспорядки и убийства». Доклад должен был быть разослан во все народные общества Республики, во все городки и коммуны, включая те, в которых никогда и не мечтали об оперных спектаклях. Так либретто «Кастора и Поллукса» стало примером широкого заговора, который распространял на сферу культуры свои зловещие политические планы.

«Никогда еще покушение на моральный дух нации не было теснее связано со злодеяниями, направленными против ее правительства [...]. Гидра факций подняла все свои головы одновременно, чтобы обвинить ими все составные части государства; их можно найти в театрах и общественных местах, на трибунах и в логовах журналистов; змеи шипят со всех сторон; их яд капает повсюду».

Так «ложные вандалы» обрушиваются на культуру с неслыханной яростью. Чтобы дорваться до власти и подточить революционное правительство, «фракционеры» вознамерились «все отметить или, вернее, все обезобразить печатью человека, одно имя которого [папаша Дюшен] было вызывающей пошлостью». Разумеется, республиканские добродетель и бдительность, воплощенные в Комитете общественного спасения и Революционном трибунале, разоблачили заговор Эбера. Однако дело еще не завершено. Комиссия по общественному просвещению ставит перед собой задачу «преследовать глупости в литературе точно так же, как правительство искоренило преступления Эбера; они шли рука об руку; одни способствовали могуществу других; они вновь дерзко появлялись на свет. Таким образом, живы еще *корни дерева*, крону которого поразила молния»¹⁵⁴.

¹⁵⁴ Commission construction publique. Rapport sur les corrections de l'opéra de «Castor et Pollux», paroles de Bernard, musique de Candeille // *Moniteur*. 7 thermidor, an II. Доклад не датирован, что же касается возможной даты его составления, см.: *Guillaume J. Procès-verbaux*. T. IV P. 71 4. Помимо прочего, похоже, что обличение «эбертизма в искусстве» было инспирировано обвинениями против Эбера и его компрометирующего Республику непристойного и варварского языка, высказанными Камиллом Демуленом в его *Le Vieux Cordelier*. «Есть ли что-то более отвратительное, более непристойное, чем большая часть твоих листков? Разве ты не знаешь, Эбер, что когда тираны Европы

Обличение «эбертизма в искусстве» не просто указывает на козла отпущения, на которого революционная власть может свалить ответственность за «грубость и варварство», — изобретается целая парадигма. В самом деле, граница, которая отделяет «нас», просвещенных революционеров, от «лиги вандалов и вестготов», сразу же оказывается смещена. Образ вандала сохраняет свою изначальную функцию — обозначить другого, того, кто противостоит цивилизации и Просвещению, нераздельно связанному с революционным делом. Однако отныне этому другому удастся затесаться среди «нас» и сделать это вероломным и бесчестным путем, что становится очевидно в результате использования идеи-образа «заговора». Те, кто управляет «лжевандалами», — без сомнения, враги, однако враги *скрытые*. Таким образом, становится понятно, по чьей вине Революция принесла столько бед, извративших ее благородное дело: уничтожение памятников, преследование ученых и художников и т.д. Варварство отнюдь не присуще ей; напротив, тот факт, что заговорщики стремятся понизить «моральный дух Нации», является дополнительным доказательством глубинной взаимосвязи между Революцией и Просвещением. В равной мере подтверждается культурная и образовательная миссия революционной власти. «Эбертизм в искусстве» — это проникновение в культурную сферу преимущественно *политического* заговора, направленного против этой власти. И вырывать корни «вандализма» также приходится политическими методами, разоблачая факционеров и карая их со всей «революционной энергией». Тем самым дискурс, направленный против вандалов, смыкаясь с идеей эбертистского заговора, подкрепляет *террористический* дискурс; это призыв выявить и наказать виновных, подозрительных и заговорщиков.

Кого же имел в виду Комитет общественного спасения, когда через три месяца после казни самого Эбера начал яростную кампанию против «эбертизма в искусстве»? Никакого конкретного имени названо не было, однако «изм» показывал, что речь шла о разветвленной системе. Во время суда над Эбером вопрос о «вандализме» не поднимался; эбертисты были обвинены в заговоре против революционного правительства, организованном при поддержке иностранцев, если не при подстрекательстве самого Питта, и в том, что они выступили против власти народа, который

желают унижить Республику, когда они хотят доказать своим рабам, что Франция *погружена во тьму варварства*, что Париж, этот город, столь гордящийся своим аттицизмом и своим вкусом, населен вандалами; разве ты не знаешь, несчастный, что они используют для этого в своих газетах отрывки из твоих листков [...], как если бы это был язык Конвента и Комитета общественного спасения, как если бы твоё сквернословие принадлежало Нации; как если бы сточная канава была Сеной» (*Le Vieux Cordelier*. № 5. Nivôse, an II). Цитата приводится по великолепному изданию Пьера Паше: *Camille Desmoulins. Le Vieux Cordelier*. Paris, 1987. P. 85. Как известно, Демулен был гильотинирован 5 апреля 1794 года, через 10 дней после казни Эбера.

пытались задушить голодом. Сопрягая с политическим «заговором» заговор в сфере культуры, выражавшийся в «грубости и варварстве» «лиги вандалов и вестготов», направленный на преследование ученых и деятелей искусства, власть, судя по всему, начала наступление на культуру. Разве «вызывающая пошлость» *Père Duchesne* не выражалась в социальном и культурном поведении, «популистском» языке и стиле жизни, который заимствовали во II году сами политические элиты?¹⁵⁵

Мы никогда не узнаем, какой поворот могла бы принять кампания против «вандализма», проводимая «террористами» и «робеспьеристами». Доклад Пейяна, объявляющий о ее начале, был опубликован в *Moniteur* лишь 7 термидора (в день казни поэта Андре Шенье...). В рамках той же борьбы против «лиги вандалов и вестготов» Комитет общественного образования поручил 27 мессидора Грегуару и Фуркруа «собрать факты и подготовить доклад для разоблачения действий контрреволюционеров, при помощи которых враги Республики стремятся привести народ к невежеству, уничтожая памятники искусства и преследуя людей, объединяющих патриотизм с талантами»²⁴. И если Конвент смог столь быстро, всего за месяц, истекший после 9 термидора, сформировать направленный против вандалов дискурс — ключевой элемент *антитеррористического* дискурса, — то это произошло лишь потому, что доклад против «вандализма» был уже заказан в разгар Террора и что *террористическая* схема «заговора вандалов» была разработана и опробована в борьбе против «эбертизма в искусстве».

РОБЕСПЬЕР-ВАНДАЛ...

В основе трех знаменитых докладов Грегуара, отмечавших новый этап в эволюции направленного против «вандалов» дискурса и закрепивших стереотип «вандализма», лежало несколько основных тезисов¹⁵⁶.

1. Грегуар представил свои доклады Конвенту *после 9 термидора* (14 фрюктидора II года, 8 брюмера и 24 фримера III года). Знаменумый ими разрыв в разработке дискурса о вандализме,

¹⁵⁵ В своем анализе эбертизма, в целом весьма спорном, Альбер Со-буль последовательно показывал недоверие якобинской власти к увлечению своеобразной «популистской» модой. См.: *Soboul A. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l'an II, 1793-1794. Paris, 1973. P. 372 et suiv., p. 391* (процесс Шометта).

¹⁵⁶ *Guillaume J. Procès-verbaux. T. IV. P. 819*. Ж. Гильом выпустил критическое издание первого доклада Грегуара: *Guillaume J. Grégoire et le vandalisme*. Его комментарии и примечания, хотя и удивительно точны, носят на себя отпечаток историографических распрей той эпохи. Все три доклада воспроизведены в: *Grégoire. Œuvres. T. II*

очевидно, непосредственно завязан на «свержение тирана», хотя этот разрыв и не повлиял на *преемственность* центрального образа — «заговора вандалов». Конвент, который очень быстро сделал изобличение «вандализма» главным козырем в борьбе против «робеспьеризма» и «охвостья Робеспьера», по правде сказать, не обратил особого внимания на сами доклады. Следует признать, что Грегуару сильно не повезло с выбором дат выступлений. Так, первый доклад был прочитан при полупустом зале; в тот же самый день произошел унесший множество жизней взрыв на Гренельской фабрике по производству пороха, причину которого мы до сих пор не знаем: случайность, саботаж или прелюдия к «робеспьеристскому» восстанию. Доклады не спровоцировали оживленного обсуждения и не вызвали ни единого возражения. Конвент постановил их опубликовать, и первый доклад был напечатан тиражом десять тысяч экземпляров и разослан по всей стране, где вызвал широкий резонанс (Временная комиссия по искусствам, отвечая на запросы местных властей, приняла решение отправить им еще несколько сотен экземпляров¹⁵⁷). После второго доклада Конвент принял решение произвести во всех дистриктах исследование состояния библиотек и памятников науки и искусства; он также пообещал «поставить в порядок дня» борьбу против вандализма и заслушивать каждый месяц доклады на эту тему. Благих намерений хватило всего на месяц. Тем не менее после третьего доклада неологизм «вандализм» окончательно вошел в дискурс; быстро ассимилировавшись, он беспрестанно повторялся в ходе дебатов в Конвенте, в печати, в официальной и частной переписке. Такие выражения, как «топор вандализма», «ужасы вандализма», теперь начинают употребляться самостоятельно. В качестве особенно сочного примера можно привести слова членов администрации Жюссе (Верхняя Сонна), провозглашавших, что «вандализму не удалось получить варварского удовольствия, уничтожив нашу администрацию». Им приходится вдвойне сожалеть, поскольку это, увы, показывает, что в их округе нет никаких памятников и соответственно никакой возможности продемонстрировать свой патриотизм и «сразиться с ним [с вандализмом], чтобы уберечь от его ярости те вещи, которые должен уважать сам ход времени...»¹⁵⁸.

2. В докладах Грегуара содержится одно принципиальное новшество: в отличие от более ранних, остававшихся размытыми и туманными, обличений упадка, в который приходят памятники, на сей раз обвинение сопровождалось *длинным списком* (выраставшим от одного доклада к другому) уничтоженных памятников, «предметов

¹⁵⁷ Procès-verbaux de la Commission temporaire des arts, publiés par L. Tuetey. T. I. P. 515.

¹⁵⁸ Письмо в Комиссию по общественному просвещению от 22 брюмера III года: цит. по: *Riberette P.* Op. cit. P. 96.

науки и искусства»: творения Бушардона* в Париже; прекрасные копии Дианы и Венеры Медичи в Марли; могила Тюренна во Франсиаде (бывшем Сен-Дени; тем не менее Грегуар совершенно не считал вандализмом то, что «национальная палица по справедливости разила тиранов вплоть до их могил» в ходе уничтожения королевских гробниц); в Нанси в течение всего нескольких часов «сожгли статуи и картин на сто тысяч экю»; в Вердене уничтожили «Деву» Гудона; в Версале разбили голову Юпитеру, датировавшемуся «четырееста сорок вторым годом до новой зры»; в Шартре, «несомненно, было полезным снять свинцовые оправы витражей, поскольку главное дело — уничтожить наших врагов», однако оставшееся открытым здание разрушается; в Ниме уничтожили памятники античности, которые пощадило даже вторжение вандалов в V веке; в Карпантра две прекрасные статуи (святого Петра и святого Павла) были превращены в пыль; в департаменте Эндр хотели продать великолепные оранжереи «под тем предлогом, что республиканцы нуждаются в яблоках, а не в апельсинах»; целые библиотеки гниют в сырых хранилищах, а библиотеку аббатства Сен-Жермен-де-Пре недавно поглотил огонь и т.д. Таким образом, речь идет не об отдельных случаях, а о «разрушительном порыве», который пронесся по всей стране, не пощадив ни один департамент: «Везде грабеж и разрушение были поставлены в порядок дня». Красноречивые пассажи эпохи Террора о «добродетели, поставленной в порядок дня», и о Республике — защитнице искусств и наук столкнулись с жестокой реальностью. Нет сомнений, что в длинном списке Грегуара множество деталей страдают неточностью. К реальным фактам добавляются слухи: в Париже предлагалось сжечь Национальную библиотеку, а в Марселе и вовсе хотели спалить все библиотеки; пытались уничтожить все памятники, которыми славна Франция... (Однако мы прекрасно знаем, насколько фрагментарной и неполной была информация, которой располагал Грегуар, так же как знаем, что этот список мог бы быть еще длиннее и производить еще большее впечатление.) Таким образом, доклады о вандализме следуют в русле более общей тенденции, характерной для антитеррористического дискурса: вытащить на белый свет и показать в мельчайших деталях ошеломляющую реальность Террора, противоречащую словам о добродетели, справедливости, свободе, которыми пытались одновременно и оправдать, и возвысить репрессии.

Доклады Грегуара о вандализме вышиты по канве, намеченной процессом Революционного комитета Нанта, за которым последовал суд над Каррье. Ужасы выстраиваются в иерархию (точно так же, как Революционный трибунал вводил деление на преднамеренные

* Эдм Бушардон (1698-1762) — французский скульптор и художник, по большей части работавший в рамках неоклассицизма.

убийства, потопления, казни без суда). Так формировалось *обратная система образов*, которая противопоставлялась всей героизированной и восхваляемой символике революционной власти — якобы строгой, но справедливой в своей борьбе до победы против врагов и виновных. Сила и агрессивность этой системы объяснялись среди прочего тем, что она позволяла высвободить и высказать подавляемый страх.

Это выражается и в том, что Грегуар придает своему неологизму все более и более широкий смысл. С первого же доклада он не просто перечисляет памятники и «предметы наук и искусств», по которым «прошелся топор варварства». «Вандализм» — это еще и паралич усилий, направленных на развитие общественного образования; разумные и реалистичные проекты саботировались, а предпочтение отдавалось другим, способным лишь погрузить Францию в невежество. «Вандализм» — в равной мере и «настоящий фанатизм», который упорствовал в бессмысленной смене названий коммун; эта «мания дошла до такой степени, что если бы дали волю наглым предложениям, то вскоре вся равнина Бос называлась бы *Горой*». «Вандализм» — это не просто последовательность индивидуальных и эпизодических действий; как и Террор, это «организованная система», обрушившаяся на «талантливых людей». И вновь доклады не ограничиваются общими местами, а представляют длинный список ученых, художников, литераторов, которые были брошены в тюрьмы: Дессо, один из лучших хирургов Европы, который, помимо прочего, «воспитывал учеников для службы в наших армиях»; Битобе, «знаменитый переводчик Гомера», провел девять месяцев в тюрьме, однако в конце концов смог доказать свой патриотизм; Ла Шабоссьер, автор «Революционного катехизиса», Франсуа-Нешато, Вольней, Шамфор, совершивший попытку самоубийства, Руже де Лиль, который «своим гимном, быть может, привлек в наши армии сотню тысяч людей», — все были брошены в тюрьмы. Внучка Корнеля, некогда жившая у Вольтера, «при правлении вандалов» находилась в заключении на протяжении четырнадцати месяцев, «не имея даже кровати, чтобы приклонить голову»¹⁵⁹. И наконец, самый потрясающий пример, который необходимо «сохранить в истории»: пример Лавуазье, выразившего желание «взойти на эшафот на пятнадцать дней позже, дабы закончить полезные для Республики опыты». Дюма (председатель Революционного трибунала) ответил ему: «Мы не нуждаемся более в химиках». (Известно, что эта фраза, обреченная на то, чтобы сохраниться в памяти, никогда не была произнесена и что сообщаемые Грегуаром факты неточны.)

¹⁵⁹ Этот случай приводит Ж.-М. Шенье в своем докладе от 14 нивоза II года о защите ученых, продолжающем список Грегуара.

Вместе с этим упоминанием казни Лавуазье — славы французской науки и науки вообще — разработка обратной системы образов совершила важный шаг. Борьба против «вандалов» обрела тем самым своего мученика и соответственно свой символ. Имена наиболее известных «талантливых людей» были лишь примерами «дезорганизующей системы, отвергающей всякие таланты». Разве тот же Дюма не сказал, что «необходимо гильотинировать всех умных людей»? В Страсбурге «бросали в тюрьмы профессоров»; в Дижоне «вели охоту за преподавателями и врачами, чтобы заменить их на невежд»; повсюду, «на тех местах, где требовалась голова, находились люди, имевшие только руки». По всей Франции «надлежало парализовать или истребить талантливых людей, [...] надлежало однозначно отказывать им в свидетельствах: о благонадежности, в секциях кричали: "Не верьте этому человеку, поскольку он сочинил книгу"». Это не вызывает ни малейших сомнений: если во время «целого года Террора и преступлений варварство накинуло траурный покров на колыбель Республики», так только потому, что существовал «*проект, направленный на то, чтобы иссякли все источники просвещения*», чтобы уничтожить «все памятники, прославляющие французский гений, [...] одним словом, чтобы *обратить нас в варваров*». Проект вандалов, достойный этих «новых иконоборцев», более неистовых, чем прежние. Проект заранее разработанный, не объясняющийся лишь невежеством, которое само по себе не всегда является преступлением. За этим проектом скрывался «*контрреволюционный дух*».

3. Доклады Грегуара, в свою очередь, предлагали ответ на волновавший всех вопрос: каким образом вандализм мог поразить Революцию в самое сердце и не несет ли она за это ответственность? Грегуар повторяет старое обвинение в адрес «аристократов», «мошенников», «спекулянтов и мятежников». Однако их деятельность не объясняет размаха и систематического характера, который принял вандализм, несмотря на многочисленные декреты революционной власти. Чтобы понять его скрытые причины, необходимо обратиться «к ряду фактов, которые хорошо бы сопоставить». Так, вновь обличаются «прежние заговорщики», разоблаченные еще при Терроре, эбертисты и дантонисты, те, на кого Грегуар намекал еще до Термидора, не называя их тем не менее поименно. На этот раз имена произносятся вслух: Эбер, «оскорблявший большинство нации, извращая язык свободы»; Шометт, «заставлявший выкапывать деревья под предлогом необходимости посадить картофель»; Шабо, «говоривший, что он не любит ученых» и сделавший вместе со своими сообщниками «это слово синонимом слова *аристократы*». Анрио желал «повторить

здесь подвиги Омара^{*} в Александрии»; он предлагал сжечь Национальную библиотеку, и «это предложение подхватили в Марселе». И наконец, прозвучало главное имя: Робеспьер, «бесчестный Робеспьер», «жестокий Робеспьер», который «посеял вандализм по всей Республике». До сих пор пугает та скорость, с которой «заговорщики», Робеспьер и его присные, «деморализовали нацию и вернули нас в варварство рабства. В течение одного года они едва не уничтожили созданное за много веков цивилизации [...]». Мы были на краю пропасти». Сюжет картины Франка, спасенной, к счастью, от рук вандалов, оказался, к сожалению, пророческим: «невежество разбивало скульптуры, в то время как вооруженный факелами варвар занимался поджогами». Таким образом, символическая фигура «вандализма» обретала новое воплощение: это был Робеспьер, эксплуатировавший невежество и иконоборчество. Таким образом, его «заговор вандалов» имел двойную цель: атаковать и Революцию, и просветителей. Или, скорее, это были две ипостаси одного и того же глобального проекта, поскольку дело Революции и дело просветителей — это одно дело.

Обвиняя «Робеспьера-вандала», Грегуар в точности следовал той же самой схеме, которая применялась в разгар Террора в мессидоре II года против «эбертизма в искусстве». Если вандалов легко найти «среди нас», это может объясняться только заговором «скрытых врагов». Террористическая схема была просто-напросто развернута против «террористов», что уже само по себе является удивительным феноменом и показывает особенности термидорианского периода. Если перефразировать слова Пейяна (который прятался начиная с 9 термидора, пытаясь избежать репрессий, поскольку был обвинен в «робеспьеризме» и «вандализме»), «вандализм» — это «робеспьеризм в искусстве», продолжение и завершение Террора в сфере культуры. Как мы уже говорили, в схеме заговора фигуры «заговорщиков» взаимозаменяемы. Однако в качестве конкретного воплощения подобной фигуры фантастический образ «заговора вандалов» приобретал новые значения, точно так же, как его эксплуатация и манипуляция им меняла политический и культурный расклад¹⁶⁰.

Доклады Грегуара усиливают и превращают в систему сюжет, проходивший красной нитью через весь политический дискурс, начиная с самого «свержения тирана». В самом деле, в выдумке о «робеспьеристском заговоре», распространяемой термидорианской

^{*} Омар I — второй халиф (634-644) в арабском халифате, один из сподвижников Мухаммеда. Под его руководством были завоеваны обширные территории в Азии и Африке. Как принято считать, он приказал сжечь Александрийскую библиотеку, якобы сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то же, что в Коране, они излишни; а если иное — они вредны».

¹⁶⁰ Там, где речь идет о докладах Грегуара, все цитаты (если не указано иное) взяты из трех докладов о вандализме. См.: *Grégoire. Œuvres*. Т. II.

пропагандой, немалое место принадлежит проникновению этого «заговора» в культурную сферу. Уже 11 термидора в своем первом докладе о «великом дне», который спас Республику от «ужасного заговора», среди других преступлений «фракционеров» Барер обличал самую суть их вероломного плана: проект «отравления наиболее ценного источника — общественного образования»¹⁶¹. 13 термидора в Якобинском клубе в ходе заседания, на котором распоясавшиеся члены Клуба предавались взаимным упрекам и на котором царило всеобщее недоверие, Ассенфратц воскликнул: «Лежит ли ныне тень Робеспьера на этом зале? Путем личных обвинений этот тиран всех ссорил и разделял, хотел укрепить свой авторитет и деспотически царить над мнениями, хотел удержать нас под своим ярмом [...], Пусть же Клуб займется ныне предметом, в наибольшей степени достойным его внимания: я имею в виду общественное образование, которое тиран постоянно откладывал в долгий ящик, чтобы лучше достичь своей цели: господства над невеждами и слепцами»¹⁶².

Вне всяких сомнений, мы видим здесь очередную вариацию все той же темы: «истинные» якобинцы сами были жертвами «тирана», и теперь они должны сплотить ряды и обеспечить свое единство. Но в равной мере здесь присутствует обвинение, устанавливающее связь между Робеспьером-тираном и Робеспьером-вандалом, между терроризмом и вандализмом. Тем самым появляется возможность представить оба феномена в качестве орудий одного и того же заговора и соответственно, избавиться от них.

Чтобы лучше понять, как функционировал данный дискурс, который одновременно и обвинял, и оправдывал, небезынтересно выделить из потока термидорианской риторики конкретные факты, которые вменялись в вину Робеспьеру и использовались в качестве доказательства его «вандализма». Это отнюдь не просто. Ведь на самом деле образ «Робеспьера-вандала» стал, в особенности после докладов Грегуара, до такой степени стереотипным, что нередко ограничивались либо отсылкой к нему как к вещи очевидной, либо усиливали его риторическими и демагогическими пассажами, как это делал, например, Фрерон, обвиняя «этого нового Омара, желавшего сжечь библиотеки»¹⁶³. Некоторые обвинения были более конкретными. Фуркруа, отличавшийся нападками на «вандализм» «последнего тирана», утверждал: «Он ничего не знал, он вышел из грязи невежества, он собирал доказательства против ряда своих коллег, друзей просветителей и науки, которых он препроводил на эшафот. Последний тиран произнес перед вами пять или шесть речей, в которых с отвратительной искусностью воспитывал

¹⁶¹ См.: *Moniteur*. Vol. 21. P. 359.

¹⁶² *Ibid.* P. 540.

¹⁶³ *Ibid.* P. 645 (выступление в ходе заседания 14 фрюктидора II года во время дискуссии по первому докладу Грегуара).

отвращение ко всем тем, кто занимался крупными исследованиями, всем тем, кто имел обширные знания».

В докладе, подводившем итог II году, Ленде без колебаний упрекал Робеспьера в том, что тот никогда не осмеливался «посмотреть в глаза ученому или полезному человеку». Ж.-М. Шенье именовал его «честолюбивым невеждой», впадавшим «мало-помалу в постыдное варварство». Жан Дебри обвинял «тирана», «чья зависть никогда не готова была смириться с идеей о том, что [люди] могут даже не превосходить его, а, я бы сказал, быть ему хотя бы равными» (по этим причинам он откладывал перенесение в Пантеон праха Руссо)¹⁶⁴. Это, несомненно, характерные черты, однако они свойственны любому тирану. Главное доказательство «вандализма» Робеспьера (если не единственное более или менее конкретное), к которому беспрестанно возвращались, — это доклад от 13 июля 1793 года об общественном образовании. Как известно, Робеспьер представил и поддержал план образования, найденный в бумагах Мишеля Ле Пелетье. В качестве одного из основных принципов этот план предусматривал, что ребенок принадлежит Родине, а родители — лишь его хранители; соответственно предлагалось введение общего и обязательного образования для всех детей от пяти до двенадцати лет, оторванных от их семей и собранных в общественных зданиях — полуинтернатах, полужазармах. Так, «то, что у Ле Пелетье было лишь ошибкой, у Робеспьера превратилось в преступление. Под предлогом стремления сделать из нас спартанцев он хотел превратить нас в илотов и подготовить военный режим, который стал бы не чем иным, как тиранией»¹⁶⁵. Этот план, «нереализуемый в тех условиях, в которых находилась Республика», был представлен лишь «для того, чтобы не было никакого образования, [чтобы] разом уничтожить все общественные учреждения, ничего не поставив на их место»¹⁶⁶. Будучи отмечен «печатью глупой тирании», он вводил «варварское правило, вырывающее дитя из рук его отца, превращая благо образования в жестокое рабство и угрожая тюрьмой, смертью тем родителям, которые могли и хотели выполнить сладчайшее обязательство, наложенное на них природой»¹⁶⁷.

Не будем останавливаться на очевидной подтасовке: это не Робеспьер «навязал» Конвенту план Ле Пелетье, а Конвент с удовольствием одобрил его после долгого обсуждения, отменив,

¹⁶⁴ Выступление Фуркруа на заседании 14 фрюктидора II года (Moniteur. Vol. 21. P. 645); доклад Ленде, представленный на заседании в четвертый дополнительный день II года (Moniteur. Vol. 22. P. 21); выступление Дебри на заседании 6 фрюктидора II года (Moniteur. Vol. 21. P. 574).

¹⁶⁵ Grégoire. Premier rapport sur le vandalisme // Grégoire. Œuvres. T. II.

¹⁶⁶ Fourcroy. Rapport sur l'établissement de l'Ecole centrale des travaux publics, 3 vendémiaire, an III // Baczko B. Op. cit. P. 459.

¹⁶⁷ Daunou. Rapport sur l'instruction publique du 23 vendémiaire an II // Ibid. P. 509.

правда, при этом статью об обязательном школьном образовании. Этот план, так никогда и не претворенный в жизнь, был принят в разгар Террора: обвинения в адрес Робеспьера были в этом случае, как и во многих других, способом снять с депутатов всякую ответственность за террористическое прошлое, которым они были запятнаны, но не хотели себе в этом признаваться. История с планом Ле Пелетье должна была послужить едва ли не единственным доказательством того, что Робеспьер соединял невежество с Террором, мечтал превратить *варварство в систему*. Тем самым она делала очевидным вероломство этого «заговора против прогресса человеческого разума», «системы, которой они [последние заговорщики] следовали, чтобы потушить факел образования», «этого ужасного, развернувшегося в полную силу проекта», который стремился «отменить результаты многовекового шествия человеческого разума и его невероятных успехов во Франции». Теперь все становилось понятным: акты вандализма представлялись в качестве проявлений и разветвлений «сложившегося широкого заговора, подготовленного последними заговорщиками с опаснейшей и вероломнейшей сноровкой». Обрисовать «общие очертания» этого заговора было поручено Фуркруа:

«Убедить народ, что просвещение опасно и приводит лишь к его обману; использовать все возможности, чтобы громогласно и постоянно выступать против наук и искусств; обвинять даже самую природу и изгонять разум; заставить иссякнуть все источники общественного образования, чтобы утратить всего за несколько месяцев плоды более чем века тяжелых усилий; предложить уничтожить книги, обесценить творения гениев, изуродовать шедевры под хитроумно представляемыми доверчивости предложениями; разместить подле всех драгоценных хранилищ искусств и книг факел Омара, чтобы сжечь их по первому сигналу; беспрестанно губить путем мелочных придирок предлагаемые в этом зале проекты образования, [...] одним словом, уничтожить все вещи и всех людей, полезных для образования»¹⁶⁸.

Такое неистовство и вероломство объяснялись самой целью, которую преследовал «тиран»: «Францию хотели сделать варварской, чтобы надежнее поработить ее»¹⁶⁹. Термидорианский дискурс воспринимает и использует, как только может, основную идею «любого просвещенного разума»: тирания естественным образом опирается на невежество и именно поэтому питает

¹⁶⁸ *Fourcroy*. Rapport du 3 vendémiaire, an III // Ibid. P. 458-459.

¹⁶⁹ *Lindet*. Rapport présenté a la séance de la quatrième sans-culottide.

бесконечную ненависть к знаниям и их распространению. Напротив, образование, «прогресс человеческого разума», достижения «цивилизации» неотделимы от свободы и соответственно от Республики. Робеспьер-тиран и Робеспьер-вандал — это один человек: «заговор вандалов» был наиболее вероломным и наиболее верным способом установить тиранию самым прочным образом. Разве существование этого заговора, его размах и разрушительный эффект не доказывают в свою очередь, что «жестокий Робеспьер» стремился к абсолютной тирании, еще худшей, нежели та, которую упразднила Революция? Так, через тавтологию, объясняется то, что «феномен вандализма», чуждый *революционному делу*, Революции с большой буквы, был присущ *революционным событиям*.

Анализ этих многочисленных разветвлений антивандального дискурса, который при Термидоре, а затем и во времена Директории стал столь многообразным, что в итоге потерял четкие очертания, не входит в нашу задачу. Два направления этого дискурса позволяли ему выполнять в образной системе термидорианцев специфические функции. Антивандальный дискурс использовал логику антитеррористического дискурса в целом. Как мы уже отмечали, он постепенно расширился от обличения Робеспьера-тирана до всё более активных и широких обвинений в адрес «охвостья Робеспьера», «кровопийц», «негодяев-якобинцев» и т.д. Точно так же антивандальный дискурс от нападок на «Робеспьера-вандала» яростно перешел на «вандалов» (в то время говорили еще «вандалистов»), негодяев — агентов Террора и вандализма. Иными словами, антивандальный дискурс вошел в качестве составной части в *дискурс реванша* против «террористов». Он придавал дополнительную легитимацию стремлению к мести: «кровопийцы» и «каннибалы» — это еще и враги Просвещения. Это как раз и есть те *другие*, которые описываются термином «вандалы». Доведенный до логического завершения антивандальный дискурс настаивал на их «радикальных отличиях» и превращался в страстный призыв к *устранению* вандалов. Однако битва с «вандализмом» — парадоксальным образом — означала и атаку в совершенно ином направлении, навязанном общепризнанной, унаследованной от просветителей двойственностью, которая содержалась в терминах «варвары» и «вандалы». Если «варвары» — это *другие*, то при определенных обстоятельствах *различия не непреодолимы*. «Варвары» требуют применить к ним, если можно так выразиться, деятельность, которая заставит их эволюционировать, «смягчит» их нравы, просветит их, — то есть, одним словом, деятельности цивилизаторской. Если довести до логического завершения это второе направление антивандального дискурса, то он будет стремиться *легитимировать включение «варваров»*, их постепенное приобщение и восхождение к *цивилизации* путем защиты и

воспитания под доброжелательным присмотром революционных властей и соответственно просвещенных элит.

Эта схематизация, безусловно, чрезмерна, поскольку в реальности обе тенденции довольно редко доходили до крайности и противостояли одна другой. Но именно потому, что они были переплетены вплоть до полного слияния, нам кажется полезным прояснить на первый взгляд парадоксальный характер их сложности.

ВАНДАЛЫ И КАННИБАЛЫ

«В большинстве коммун есть свой маленький Робеспьер; и в то время как новый Катилина заплатил за свою жестокость, взойдя на эшафот, его наместники спокойны. В большинстве мест, где искусства потерпели такой ущерб, ответственные за это в основном известны, и национальные агенты превращаются в сообщников, не обличив их перед общественными обвинителями»¹⁷⁰.

Набирая размах, призывая преследовать «маленьких Робеспьеров», антивандальный дискурс (вне зависимости от намерений самого Грегуара) целил не только в тех, кто напрямую внес свой вклад в разрушение памятников и произведений искусства. Он был направлен против всех, кто во времена Террора обладал властью на местах, всех членов революционных комитетов и активистов-санкюлотов, воплощавших в жизнь инспирированные «сверху» центральной властью репрессии, но в равной мере и против их организаторов и людей, которые активно проводили в жизнь Террор на местах. Отталкиваясь от обличения «заговора» Робеспьера и его сторонников, узкой группы лиц, и переходя к преследованию «маленьких Робеспьеров» по всей стране, Грегуар следовал в русле антитеррористического дискурса, который довольно быстро от обличения «тирана» перешел к нападкам на «робеспьеризм» и «систему Террора».

Эта эволюция дискурса ознаменовала заметную перемену в представлениях о «вандалах». «Маленькие робеспьеры» рассматривались не просто как слепые орудия в руках «тирана». Они не были введены в заблуждение макиавеллиевским заговором, что в некотором роде снимало бы с них вину, — они были замешаны в нем. В течение нескольких месяцев в термидорианском дискурсе все больше укреплялось чувство ненависти и мести в отношении тех, кто, выйдя из «низов», дорвался до власти и тиранил, бросал в тюрьмы, унижал «добрых граждан». «Палачи царствовали, мошенники

¹⁷⁰ Grégoire. Troisième rapport... // Grégoire. Œuvres.

обогащались, невежды занимали все места», — без устали повторял Тальен в своей газете¹⁷¹. «Тиран» хотел заставить Nation деградировать, поощряя самые пагубные и жестокие наклонности человеческой природы. Как показал процесс Революционного комитета Нанта, к «тирану» стихийно стекались преступники, душегубы и воры. В течение зимы 1794 / 95 года термидорианский дискурс использовал в адрес «маленьких Робеспьеров» особенно агрессивную лексику: недавние «террористы», персонал революционных комитетов — это людоеды, каннибалы, пьющие человеческую кровь. Несомненно, речь идет об оскорблениях и ругательствах, однако они соответствовали навязчивым образам, чье воздействие было абсолютно реально. Разве в ходе процесса Революционного комитета Нанта не было засвидетельствовано, что во время своих заседаний члены народного общества исполняли жестокий ритуал, своего рода адскую мессу: в знак солидарности каждый выпивал кубок, наполненный кровью? «Каннибалы», то есть те, кто стоит вне *цивилизации*, «чудовища», которые по своей жестокой и дикой природе сами приговорили себя к исключению из общества, если не к простому и однозначному уничтожению. Об этом же говорилось и в «Пробуждении народа», этой контр-«Марсельезе» «золотой молодежи», в настоящем призыве к кровавой мести, который распевали в театрах, в кафе, под сводами Пале Насьональ (бывший Пале-Руаяль).

Французский народ, народ братьев,
Можешь ли ты смотреть, не содрогаясь от ужаса,
Как преступление водружает знамена
Резни и террора?

Ты терпишь, что ужасная орда
Убийц и разбойников
Оскверняет своим кровожадным дыханием
Мир живых.

Как, эта орда людоедов,
Которую ад изверг из своего чрева,
Проповедует убийства и резню?!
Она покрыта твоей кровью!

Что за варварская медлительность!
Поторопись же народ-суверен,
Вернуть чудовищам Тенара^{*}
Всех этих кровопийц.

¹⁷¹ L'ami des citoyens. Journal du commerce et des arts. № 5.5 brumaire an III.

^{*} Старое название мыса Матапан в Греции. В Античности там располагался храм Посейдона. Пещера Тенара считалась входом в подземное царство.

Стенающие души невинных
Упокойтесь в своих могилах,
День запоздалой мести
Заставит наконец побледнеть ваших палачей.

Да, мы клянемся на ваших надгробиях
Нашей несчастной страной

Устроить гекатомбу
Этим отвратительным каннибалом^{172*}.

Каннибалы, но также и варвары, и вандалы. В термидорианских системе образов и языке эти два представления соединялись друг с другом вплоть до слияния воедино. Так, Бабёф использовал оба термина в качестве синонимов, обличая преступления Террора, «ужасы, которым удивляются века и нации», одновременно как «отвратительный каннибализм» и как «плоды варварства»¹⁷³. Оба термина обладали единой функцией позорного исключения, изгнания из цивилизации; они клеймили «врагов рода человеческого», вышедших из мира тьмы, преступлений и убийств. За одним лишь исключением (если, конечно, возможно уловить нюансы в этом исключенном вербальном насилии, которое, — не стоит забывать, — легитимировало и направляло насилие физическое, охоту на «якобинцев» и «террористов»): «каннибал», «кровопийца» символизировал кровавый Террор, связанный с проскрипциями, гильотиной, тюрьмами; «вандал» персонифицировал тиранию невежества, антикультуры. «Вандал» — это, если можно так выразиться, иное лицо «каннибала», пожирателя культуры. Царство Террора повлекло за собой не только убийства и смерти невинных (на цифры не скупилась: десятки тысяч, сотни тысяч, говорили даже о миллионах...). Террор — это и торжествующий вандализм, и соответственно прискорбный образ Нации, погруженной во тьму невежества.

«Тирания нашла в невежестве практически непреодолимую поддержку; и *варварский вандализм*, порождение самой

¹⁷² Couplets chantés à la réunion des citoyens de la section de Guillaume Tell, paroles du citoyen Souriguère, musique du citoyen Gaveaux; «Пробуждение народа» было в первый раз представлено на публике 2 плювиоза III года и опубликовано на следующий день в *Le Courrier républicain*. См.: Aulard A. Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire. Paris, 1898. T. I. P. 408-411.

* Литературный перевод песни «Пробуждение народа» см. в: Песни первой французской революции. 1789-1799. М.; П., 1934. С. 509-510. Однако перевод Вс. Рождественского очень далек от оригинала.

¹⁷³ *Babeuf*. On veut sauver Carrier.. P. 12.

тирании, придал ей новые силы. Когда эшафоты были затоплены кровью жертв, все памятники искусства, все хранилища наук, все святилища литературы стали добычей огня и были опустошены тиранами. Эти кровожадные враги человечества явно не удовлетворялись лишь тем, чтобы их преступления были на мгновение освещены отблесками горящих библиотек, поскольку они надеялись, что тьма невежества опустится навсегда. Варвары! Они заставили отступить человеческий разум многих веков; они хотели похитить у Франции самые прекрасные свидетельства ее славы; и, похоже, именно они более всего способствовали утрате того духовного влияния, которое Франция всегда оказывала на другие народы»¹⁷⁴.

В этой тираде легко узнаются основные темы докладов Грегуара, однако здесь они усилены, преувеличены, доведены до гипербол путем риторики, отработанной на протяжении всей Революции (так, Грегуар ничего не говорил о намерении сжечь библиотеки; если же верить Буасси д'Англа, то все они были сожжены). Тем не менее обличение вандализма выходит за изначальные рамки: вандализм — это уже не просто уничтожение памятников, книг, произведений искусства; отныне это стиль жизни в целом, образ действий и язык, которые Террор навязывал стране, и в частности образованным людям. Или даже скорее, это вывернутый наизнанку стиль жизни, отрицание самой культуры. Руководившие Террором «каннибалы» были невеждами и негодьями, грязными людьми и скотами, которые даже не говорили на цивилизованном языке. Ла Гарп, только что вышедший из тюрьмы, обличал вандализм следующим образом: «Это война, объявленная нашими последними тиранами разуму, морали, образованности и искусствам». Он рисовал ужасную картину:

«Мне кажется, я еще вижу этих разбойников, выступающих под именем патриотов, этих угнетателей нации под именем магистратов народа; их множество среди нас, они одеты в нелепые одежды, которые именуют исключительными одеждами патриотизма, словно патриотизм должен обязательно быть смешным и грязным, свой грубый тон и жестокий язык они называют республиканскими, как если бы грубости и непристойности были отличительными чертами республиканцев»¹⁷⁵.

¹⁷⁴ *Boissy d'Anglas*. Discours préliminaire au projet de constitution de la République française, prononcé dans la séance du 5 messidor an III. Paris. Imprimerie nationale.

¹⁷⁵ *La Harpe J.-F.* De la guerre déclarée par nos derniers tyrans à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts, discours prononcé à l'ouverture du Lycée républicain le 31 décembre 1794. Paris, an IV, P. 4.

Камбри обличал не только разрушенные памятники, но и разговорный язык, использовавшийся функционерами и представителями в миссиях, который считался ими по-настоящему «народным» и «патриотическим». Он видел в этом глобальный символ вандализма, «черту, которая позволяет лучше понять низкий уровень властей в ту эпоху [...], в дни ужаса, невежества, слабоумия, жестокости»¹⁷⁶.

Так, благодаря использованию образов «вандалов-каннибалов» расширялся дискурс о вандализме. Его отправная точка — уничтожение книг и произведений искусства — лишь один из побочных эффектов более общей драмы *нравственного падения* Франции и Революции. Поскольку эти «маленькие робеспьеры», о которых говорил Грегуар, — попросту *пришедший к власти сброд*. Прикидываясь патриотами и революционерами, эти негодяи не удовлетворялись тем, что душили честных людей, сеяли страх, грабили и обкрадывали. Они обесценивали всю общественную жизнь, погружая ее в варварство. Этот сброд, подонки общества, естественным образом были врагами просвещенных и культурных людей, к которым они испытывали отвращение. Есть ли лучшее изображение этого вандализирующего Францию сброда, чем комедия Дюканселя «Внутренний мир Революционных комитетов, или Современные Аристиды», имевшая огромный успех весной III года?¹⁷⁷ Пьеса изображала революционный комитет, где собрано отребье общества — прохвосты, бывшие лакеи и швейцары, проходимцы и т.д. Никто там больше не именовался Жанно или Пьерро, но каждый отныне требовал, чтобы его называли Торкватом, Брутом или Катоном. Не умея говорить по-французски, они изъяснялись на гротескном патуа.

Простолюдин с письмом в руке узнает Торквата. Гляди-ка, да это же Фетю*, плетельщик; ну, здравствуй, друг мой Фетю.

Торкват. Кого это ты зовешь Фетю, я Торкват.

Простолюдин. Ну, пускай будет Торкват. Меня это просто бесит, ни людей не узнаешь, ни улиц.

¹⁷⁶ *Cambry. Voyage dans le Finistère ou état de ce département en 1794 et 1795.* Paris, an VIII. T. III. P. 93-94.

¹⁷⁷ *L'Intérieur des Comités révolutionnaires ou les Aristides modernes, comédie en trois actes en prose par le citoyen Ducancel (C.-P.).* Paris, s.d. Действие происходит в Революционном комитете Дижона (во фрюктидоре II года народное общество Дижона отправило в Конвент и в Якобинский клуб обращение, клеймившее «умеренность» и освобождение заключенных; см. выше). О триумфальном приеме, оказанном этой пьесе, см.: *Gon-court E. et J. Histoire de la société française pendant le Directoire.* Paris, 1864. P. 122 et suiv.; *Moland L. Théâtre de la Révolution.* Paris, 1877. P. XXVI-XXVII.

* Fétu — соломинка; безделица, пустяк.

Торкват. Все патриоты называют друг друга римскими именами. Смотри, если я хочу тебя переименовать, то беру и называю Цезарем. Бона как становятся блаародными республиканцами.

[Адресованное в Комитет письмо вызывает панику: все его члены неграмотны.]

Торкват Бруту (шепотом). Брут, дружище, умеешь ли ты читать?

Брут Торквату (шепотом). Увы, дальше алфавита я не продвинулся; если б ты знал, как тяжело научиться читать.

С красными колпаками на головах, одетые в карманьолки, столь же засаленные, сколь и колпаки, все эти члены Революционного комитета — пылкие сторонники Террора и их кумира — Робеспьера. Будучи неграмотными, они тем не менее отвечают за выдачу свидетельств о благонадежности; будучи невежественными, они ведут допросы и видят везде агентов заграницы, хотя Барселона для них — это главный город какого-то отдаленного французского дистрикта в департаменте, именуемом Каталония. Но все они оказываются способны успешно управлять народным обществом при помощи революционных лозунгов, сформулированных на их смешном, но эффективном языке. Они прекрасно владеют искусством доноса. Они бросают в тюрьмы честных людей, чтобы завладеть их имуществом, но также и из-за ненависти к образованию, культуре, знаниям, которыми те располагают, и книгам, которые те могут прочесть. В особенности они озлоблены против одного из членов Комитета — «негоцианта, пре следуемого честного человека, муниципального чиновника», который, рискуя жизнью, противостоит их губительной деятельности, и чей сын сражается на границе, защищая свою страну. Против него выдвигают ложные и абсурдные обвинения, чтобы заставить отступить и заодно завладеть его деньгами. И им это почти удается (детали интриги мы пропускаем), но приходит то самое письмо. Когда в итоге его распечатывают и читают, то узнают счастливую новость о том, что «бесчестные триумвиры, наконец, свергнуты» («О, добродетельный, неподкупный Робеспьер», — кричит совершенно раздавленный Катон, жулик, бывший лакей) и что «сторонники террора и кровопийцы будут подвергнуты преследованиям». Так добродетель и справедливость торжествуют над сбродом, а вместе с ними разум и Просвещение побеждают невежество и варварство. Мораль пьесы сформулирована положительным героем, юным офицером, сыном «честного человека и преследуемого негоцианта»:

«Пока образование не привнесет просвещение и разум во все классы общества, народ всегда будет нуждаться в

просвещенных и чистых людях, чтобы те направляли его энергию и действия».

Пьеса Дюканселя (он был роялистом) после сотни представлений в Париже оказалась в итоге запрещена (она также ставилась с огромным успехом во множестве провинциальных городов). Она вызвала скандал, поскольку помимо «вандалов-каннибалов» обличала и высмеивала революционную власть и показывала ее такой, какой та была. Бруты, тарквинии и катоны — это, без сомнения, сброд, но в пьесе появляется в самом общем виде, словно за кулисами, и добрый народ (в частности, символизируемый верным молодым слугой преследуемого честного человека), которого сплачивает победа разума и добродетели. Однако так ли безгрешен этот народ, позволяющий манипулировать собой большим и малым Робеспьерам, всем этим жуликам-катоном? Разве вульгарное и смешное патуа, похабщина, обращение на «ты», которые символизировали торжествующий вандализм и развращали общественное мнение, не были обиденной народной речью? Развернувшись в полную силу, дискурс о вандализме постепенно дошел до того, чтобы поставить под сомнение ключевой образ символической революционной системы — суверенный народ.

НАРОД НАДО СДЕЛАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, ЦИВИЛИЗУЮЩАЯ ВЛАСТЬ

Первого вантоза III года делегации секций Хлебного Рынка и Красного Колпака (вскоре она откажется от этого имени) были допущены к решетке Конвента. В своих обращениях они поздравили депутатов с началом расследования по делу членов прежнего Комитета общественного спасения — правительства, которое «за пятнадцать месяцев причинило столько зла нашему отечеству, сколько все тираны рода человеческого не причинили ему за пятнадцать веков». Также они поздравили законодателей с решением о выносе праха Марата из Пантеона и с тем, что благодаря этому будет призван к порядку «постыдный энтузиазм». Секция Хлебного Рынка яростно обрушилась на членов Революционных комитетов — «свирепых людей, которые принесли столько зла» и которые, «будучи жестокими и слабоумными», должны быть поставлены в условия, когда они «не смогут причинять вред». Она призвала законодателей действовать еще более энергично и смело продвигаться вперед: чтобы стереть воспоминание об этих жестоких пятнадцати месяцах и восстановить единство французского народа,

«заставьте исчезнуть все памятники, которые напоминают о былом расколе; пусть Гора, возведенная перед Домом Инвалидов и породившая столько других Гор, пусть те дни, которые опозорили ее, те пресмыкающиеся, которых мы видели на ней и которые напоминают об одиозных названиях, пусть эта фигура, которую уничтожает великан, фигура аллегорическая и химерическая, как и призрак, эмблемой которого она служит, — пусть все это исчезнет и не вызывает мучительных воспоминаний».

Эти предложения хорошо знавшие памятник депутаты встретили аплодисментами. Ведь это они сами постановили в августе 1793 года воздвигнуть статую, чья разработанная Давидом символика покорила тогда их воображение:

«На вершине горы будет находиться колоссальная фигура, изображающая французский народ, твердой рукой собирающий воедино департаменты; честолюбивый федерализм вылезает из своего грязного болота, одной рукой отодвигая камыши, а другой [рукой] стараясь урвать свою долю. Заметив это, Французский народ берет свою палицу, поражает его и загоняет обратно в стоячие в оды, чтобы он никогда более оттуда не вышел».

Через семь месяцев после Термидора лишь немногие депутаты узнавали себя в этом возвышающемся на горе «Народе-Геракле»; теперь статуя казалась им «террористической и вандальской». Памятник венчал великан, однако «этот великан — Робеспьер». Они вооружили его палицей, «однако произошла ошибка — его следовало бы заставить держать гильотину». Лишь один голос поднялся в защиту этого монумента:

«Из уважения к французскому народу не давайте аристократам возможности полюбоваться его разрушением. Вы оскорбляете ваших избирателей. Вы оскорбляете *народ всякий раз, когда уничтожаете воплощающие его образы*».

Конвент был возмущен, раздалось несколько голосов: «Это не образ народа, это образ изуродованного Конвент тирана». И депутаты проголосовали за разрушение¹⁷⁸.

¹⁷⁸ См.: Moniteur. Vol. 23. P. 516-518. Описание статуи, взятое из программы праздника 10 августа 1793 года, составленной Давидом, см, в: *Baczko B. Lumièresde l'utopie. Paris, 1798 P. 377 et suiv.* Напомним, что во II году этот образ Народа-Геракла упоминался Временной комиссией по искусствам в инструкции о сохранении памятников. Там палица должна была символизировать защиту произведений

Было ли возможно не затрагивать «воплощающие народ образы»? Дебаты о статуе «Народа-Геракла» сами по себе имели символический смысл. Свободный и суверенный Народ, единый и неделимый, шагающий всегда по прямой, — могла ли эта ключевая составляющая революционной системы образов выйти нетронутой из ситуации, в которой эта самая система оказалась под ударом из-за преследования тех, кто был «действительно ответствен» за Террор и вандализм? Весь термидорианский дискурс незаметно размывал эту систему. Напомним, как защищались члены бывших Комитетов, обвиненные Лекуантром; если они несут ответственность за то, что терпели «тирана», то они должны разделить ее не только с Конвентом, но и со всем народом.

«Разве сам Конвент не оказался подвержен тираническому влиянию Робеспьера или иллюзиям, которые тот создавал при помощи патриотических речей? Разве *сам народ* не был, по ошибке или в силу слепого доверия, *наиболее активным агентом* деспотизма этого человека, [...] обладавшего в то время народной властью?»¹⁷⁹

По совершенно, разумеется, противоположным политическим причинам контрреволюционные публицисты также стремились не возлагать ответственность за Террор и вандализм только лишь на «заговор Робеспьера», а выдвигали максимально широкие обвинения: против Революции и самого народа. Робеспьер напрямую опирался на революционные комитеты, большую часть которых «составляли люди без образования, выходцы из низших классов общества, которым были свойственны жестокие нравы и грубое невежество». И если ему это удалось, то не только потому, что он привлек к себе «всех бандитов, всех убийц, какие только нашлись во Франции», но и в особенности потому (неслыханная вещь, которая лишала его тиранию исторических аналогий), что «большая часть нации не один раз окунулась в грязь, взбаламученную Робеспьером и его сообщниками [...]. Мы пали до такой степени, что разделили безумие самых презираемых и наименее культурных народов»¹⁸⁰.

При Термидоре все усилилось и пришло в противоречие: политические и дискурсивные стратегии, особая логика эволюции системы образов и динамика социальных конфликтов. В голодном Париже в ту исключительно трудную зиму 1794/95 года, когда

искусства от «вандалов»... Об истории и символике этой статуи см. интересные размышления в кн.: *Hunt L. Politics, Culture and Class in the French Revolution*. Berkeley, 1984. P. 98 и след.

¹⁷⁹ Réponse de Barère, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois et Vadier aux imputation de Laurent Lecointre et déclarées calomnieuses par décret du 13 fructidor. P. 71-78.

¹⁸⁰ *Montjoie F. Histoire de la conspiration de Maximilien Robespierre*. Paris, s.d. [1795]; в равной мере Монжуа обличает губительные последствия классического образования в лицах и их влияние на воображение.

особенно ярко проявлялись социальные контрасты, вызывающая роскошь нуворишей, спекулянтов и скупщиков, и бедность тех, кто с ночи вставал в очереди в булочные, где показная эlegantность «золотой молодежи» выражала презрение к карманьолкам и красным колпакам, где те, кто вышел из тюрем, встречались с теми, кто еще вчера выносил им приговоры, или с теми, кто выдавал им свидетельства о благонадежности, в этом Париже, изобиловавшем рассказами о недавних ужасах Террора, суверенный Народ уже отнюдь не казался «единым и неделимым». Вне всяких сомнений, термидорианский политический дискурс не готов был признать или узаконить свою ответственность за раздробление этого важнейшего образа; соответственно он пытался сохранить его и, делая это, он оказался готов признать одно-единственное разделение внутри гражданского общества — на «хороших» и «плохих» граждан. Тем не менее под давлением социальных конфликтов на языковом уровне этот дискурс дал трещину и тут же признал разделение «народа», если не на классы, то, по крайней мере, на богатых и бедных. Так, Дюбуа-Крансе, провозглашая, что Конвент, представитель народа, должен оставаться единым, чтобы преодолеть значительные последствия Террора, призывал законодателей никогда не терять из виду одно «простое соображение»: «Во Франции богатство миллиона человек питает деятельность двадцати пяти миллионов других; уничтожьте ресурсы этого миллиона, и контрреволюция будет совершена». (Против этой идеи часто выступали якобинцы.) Без сомнений, народ — не «людоед» и не «вандал»; он «никогда не сбивался с пути», однако его часто «жестоко обманывали». Как же иначе он мог преисполниться доверия к тем, кто стал преследовать не аристократов, «а всех богачей, всех тех, чье богатство приводило в действие народные таланты и промышленность, а их, называя аристократами, грабили и душили»¹⁸¹? Бурдон (из Уазы) обличал иллюзии и демагогические обещания, которые служили «террористам» для того, чтобы завлекать народ: поскольку при Терроре «пльстили беднякам, внушая им безумные надежды», «собственников повсюду оскорбляли, обвиняли, выносили им приговоры; развращали слуг, чтобы те доносили; злейшая измена превращалась в общественную добродетель; калечили памятники искусства; было уничтожено все, что напоминало о богатстве Нации». Из-за того, что «орда каннибалов» пообещала «преступным образом бедняку собственность богача», и смог победить «вандализм наших диктаторов». Единственной силой, которая выиграла от этой «адской системы», была «толпа варваров, [которая], пресытившись золотом и кровью, оскорбляла целомудрие, унижала добродетель, убивала

¹⁸¹ Речь, произнесенная на заседании во второй дополнительный день II года и «неоднократно прерывавшаяся бурными аплодисментами» (Moniteur. Vol.22. P. 6-7).

невинность и разъедала [*sic*] наши памятники, превращая их в руины, наши города — в могилы, наши поля — в пустыню»¹⁸². Так что следует

«смело напомнить одну из главных истин: множество людей, родившихся на территории Франции, — это и есть народ. Часть этого народа получила собственность по наследству, купила или заработала своим трудом; другая часть того же самого народа трудится, чтобы ее получить или преумножить. Между этими двумя частями народа существуют едва заметные градации в зависимости от достатка, бедные и богатые; и те и другие совершенно необходимы».

Без сомнения, «добродетельный и искусный законодатель» должен бороться с пороками и тех и других и богатых, и бедных, обеспечивая тем самым их единство. Однако главный урок, который следует извлечь из Террора, «из этой системы преступлений под маской патриотизма», — это бдительность в отношении

«людей со свирепым взглядом, бледными лицами, гневными голосами, которые возбуждают враждебность народа против части его самого, коварно именуемой ими *золотым миллионом*»¹⁸³.

Народ-дитя, народ, сбившийся с пути, народ, погрязший в вандализме и терроре, отделяла от сброда все менее и менее очевидная граница. В конце концов, термидорианский дискурс рисковал слиться воедино с нападками различного рода врагов Революции и Республики, которую те называли тиранией черни. И казнивший короля Конвент превратился бы тогда, несмотря на термидорианский переворот, в ничтожную банду преступников и убийц. Это была проблема дискурса, проблема образа народа, но в равной мере, если не прежде всего, проблема преимущественно *политическая* — *власти* и ее легитимности. Так, в то же самое время, когда термидорианский дискурс стирал границу между «вандалами» и «народом», он путем удивительных ухищрений прилагал все усилия, чтобы ее восстановить; и если он настаивал на разделении «народа» на богатых и бедных, на миллион и на двадцать пять миллионов, то лишь, для того, чтобы укрепить взаимосвязь между теми и другими, которую должен обеспечить «добродетельный законодатель». Вся легитимность термидорианской власти основывалась на единой и неделимой, как и Республика, воле народа, «свободного и суверенного». Ссылки на народ, на

¹⁸² Речь, произнесенная 10 вантоза III года (Moniteur. Vol. 23. P. 5, 7-8).

¹⁸³ Буасси д'Англа, речь произнесенная на заседании 21 вантоза III года (Moniteur. Vol. 23. P. 660-663).

«пославших нас сюда двадцать шесть миллионов французов» постоянно присутствовали в термидорианском дискурсе. Этот образ был всё менее волнующим и героическим, всё более символическим и проблематичным, раскалываемым изнутри обвинениями против «вандалов и каннибалов», — и тем не менее необходимым. Все противоречия термидорианской власти проявлялись в двойном стремлении (если не называть это необходимостью) — сохранить в дискурсе этот легитимирующий его базовый политический образ и не допустить в будущем влияния этого единого образа на представления Революции о самой себе. Тем самым за *народом* все больше и больше признавали одну-единственную функцию: легитимировать Республику и, соответственно ее власть. Тем самым народ стали связывать лишь с теми реалиями, которые, как считалось, были его воплощением. Так, народ воплощала армия, победоносно сражавшаяся по ту сторону границ во имя Республики; его воплощением также, и прежде всего, была власть; депутаты Конвента все более идентифицировали с *народом* самих себя — политические кадры, без использования которых Республика бы пала. Народ, бывший объектом изощренной риторики на протяжении всей Революции, при Термидоре превратился в символическую опору для умения пользоваться властью, приобретенного в ходе той же самой Революции.

Таким образом, в этой системе политических представлений народ не мог быть ни целиком «вандалским», ни целиком «цивилизованным»; он должен был занимать промежуточную позицию на полпути между цивилизацией и варварством. Направленный против вандализма дискурс содержал в себе представление о *цивилизирующей власти*.

И в самом деле, Термидор был «счастливым периодом Революции, когда вызванные ею невежество и пороки были изгнаны с тех мест, которые оказались отданы им заговорщиками», тем временем, когда

«французские законодатели, бывшие свидетелями тех бед, которые грозили принести с собой варварство и вандализм, твердо высказались против этих врагов рода человеческого и разрушили преступные надежды тирании, создав институты, призванные преумножать человеческие знания»¹⁸⁴.

Все великие культурные и педагогические творения термидорианского периода — Политехническая школа, Нормальная школа, Институт, Музей французских памятников и т.д. — были обусловлены дискурсом, направленным против «вандализма и его губительных последствий». Культура на протяжении трех последних

¹⁸⁴ *Fourcroy*. Rapport sur les arts qui ont servi à la défense de la République et sur le nouveau procédé de tannage..., présenté le 14 nivôse an III // *Moniteur*. Vol. 23. P. 139.

лет повторяла судьбу Национального Конвента. «Она стенала вместе с вами от тирании Робеспьера, она восходила вместе с вашими коллегами на эшафоты, и в это время бедствий патриотизм и науки, чьи сожаления и слезы сливались воедино, молили у одних и тех же могил о возвращении жертв, которые были в равной мере дороги им. После 9 термидора, вновь взяв власть и вернув свободу, вы наконец сможете утешить их, поощряя искусства. Конвент не желал, подобно королям, принизить таланты, заставив их выпрашивать подаяние; он поторопился оказать должную поддержку тем людям, чья бедность служит обвинением в адрес Нации, которую они прославляли и просвещали»¹⁸⁵.

Термидорианский Конвент предложил помощь ученым и художникам. Он воздал должное «жертвам вандальского Террора», Лавуазье и Кондорсе; он бесповоротно положил конец иконоборчеству. Разумеется, он не остановил разрушение всех памятников: особняки, монастыри, замки, немало национальных имуществ по-прежнему продавались по низким ценам и были объектами необузданной спекуляции. В равной мере была разрушена — и об этом нередко забывают — большая часть того, что считалось во II году началом если не специфически революционной, то по крайней мере «санкюлотской» культуры. Если до нас не дошли возведенные во II году статуи, то не только потому, что они были сделаны из гипса, но и потому, что, подобно Народу-Геркулесу, они оказались разрушены, а Музей Лемуара их не принимал. Санкюлотская одежда, обязательное обращение на «ты», революционные имена, пики, политизация воинствующих меньшинств — все это было отменено, поскольку термидорианцы видели здесь признаки вандализма и Террора. Напротив, выжили те элементы символического революционного списка, которые власть рассматривала как педагогические инструменты для укрепления революционных нравов: среди прочего революционный календарь и становившиеся все менее популярными декадные праздники; засыхающие деревья свободы, которые административные циркуляры вновь предписывали сажать и ухаживать за ними; республиканская система мер и весов, республиканские катехизисы¹⁸⁶. Обличая вандализм и террористическую тиранию,

¹⁸⁵ *Daunou*. Rapport sur l'instruction publique du 23 vendémiaire. P. 504.

¹⁸⁶ Похоже, что, как только был совершен выход из Террора, как только была обеспечена относительная стабилизация посттермидорианской власти, исчезли и призраки «вандализма», и страх перед его возвращением. И в самом деле, о нем говорили все меньше и меньше, в основном вспоминая пагубное прошлое, которому просвещенная власть безвозвратно положила конец. Тем не менее напоминание о совершенных им разрушениях могло еще послужить и другим целям. Будучи спасенной от вандализма, Франция, где свобода и Просвещение восторжествовали над «варварским» деспотизмом, сразу же оказалась призвана стать центром культуры и цивилизации, реализуя свое сколь глобальное, столь и активно обращенное вовне

261

термидорианская власть тем самым позиционировала себя в качестве единственного законного наследника просветителей. Соединяясь с педагогическим дискурсом, антивандальный дискурс узаконивал четко обозначенное распределение символических ролей между цивилизующей властью и народом, который надо сделать цивилизованным. Власть была обязана вывести этот народ из невежества, но в равной мере она должна была и присматривать за ним, чтобы он вновь не поддавался искушению анархии и вандализма. Аналогичным образом в Конституции III года, которая должна была ознаменовать собой завершение Революции, пересекались обе тенденции антивандального дискурса: стремление *исключить* «вандалов» из политического поля и желание *включить* народ в рамки Республики, воплощающей прогресс и цивилизацию. Это соединение *культурного и политического*, несколько общих черт которого мы наметили, хотя в реальности у него было огромное множество воплощений, стало одной из особенностей *термидорианского периода*. Защищая народ от его собственного невежества и от возвращения «вандальского Террора», четкое распределение социальных и культурных ролей должно было и завершить выход из Террора, окончить Революцию и создать прочный фундамент для Республики.

призвание. Она распространяла лучи вовне, однако в равной мере она была, если так можно выразиться, гостеприимной страной. Между двумя заседаниями, посвященными докладом Грегуара о вандализме, Конвент бурно аплодировал Люку Барнье, лейтенанту пятого гусарского полка, принесшему хорошие новости из Северной армии. «Бессмертные полотна, принадлежащие кисти Рубенса, Ван Дейка и других основателей фламандской школы, не пребывают более за границей. Заботливо собранные по приказу представителей народа, они хранятся отныне на родине искусства и таланта, на родине свободы и святого равенства, во Французской республике. Отныне сюда, в Национальный музей, иностранец будет приходиться учиться» (Заседание в четвертый дополнительный день II года. *Moniteur*. Vol. 22. P. 27). Демонстрируя примечательную преемственность (по меньшей мере в том, что касается упоминания о «святом Равенстве»^{*}, не говоря уже о напоминании о причиненных вандализмом разрушениях), Исполнительная Директория отдала 7 мая 1796 года следующий приказ генералу Бонапарту: «Исполнительная Директория убеждена, гражданин генерал, что вы рассматриваете славу искусств в неразрывной связи со славой армии, которой вы командуете. Италия вносит в нее [сокровищницу искусства] немалый вклад своими богатствами и своей известностью; однако пришло время, когда эта слава должна перейти к Франции, чтобы обеспечить и украсить царствие свободы. Самые известные памятники из всех областей искусства должны храниться в Национальном музее, и вы не преминете обогатить его всем тем, что он ожидает от нынешних завоеваний Итальянской армии, и от тех, которые еще грядут. Эта славная кампания, позволяя Республике подарить мир ее врагам, *должна также компенсировать совершенные вандализмом разрушения на ее собственной территории* и добавить к сиянию военных трофеев обаяние благотельного и утешительного искусства» (*Actes du Directoire exécutif, publiés et annotés par A. Debidour*. Paris, 1911. Т. II. P. 333).

^{*} В этом и других аналогичных случаях автор употребляет словосочетание «le moment thermidorien».

ГЛАВА V ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРИОД

Каким образом «в нынешних обстоятельствах можно закончить Революцию» и на каких принципах «должна быть основана Республика»? Эти вопросы, сформулированные госпожой де Сталь в 1797 году¹⁸⁷, живейшим образом ощущались зимой и летом III года. Характерный для той эпохи политический и социальный кризис делал их весьма острыми. Проводимая властью политика реванша отвечала эмоциональным требованиям момента (хотя правительство ни в коей мере не сдерживало всё усиливающееся стремление к мести, а, напротив, разжигало его, порождая новые волны насилия и произвола). Однако она не давала ответа на главный вопрос, вызванный осуждением «системы Террора»: какое политическое и институциональное пространство должно прийти на смену Террору? *Выйти из Террора* — это, без сомнения, означало прежде всего покончить с его институтами и его кадрами. Однако чем дальше продвигались по этому пути, тем больше он смыкался с антитеррористическими и антиякобинскими репрессиями, формы и размах которых центральная власть оказывалась способна контролировать всё хуже.

Причиной подобной ситуации было то, что, как мы видели, «термидорианцы» не располагали никаким *политическим проектом* ни 9 термидора, ни в первые месяцы после этой «памятной революции». Последовательное развитие проблем, с которыми приходилось сталкиваться «термидорианцам», навязывало им определенную логику политических действий. Каждое новое временное решение влекло за собой новые ситуации, из которых им приходилось искать выход. В конечном итоге стремление предотвратить возврат к Террору потребовало, чтобы политические проблемы оказались сформулированы в *позитивных институциональных и конституционных терминах*. Произошел переход от вопроса, *как покончить с Террором*, к вопросу, *как закончить Революцию*. Ответы на все эти вопросы «термидорианцам» приходилось формулировать одновременно в терминах реакции на Террор и в терминах *обещания будущего*. Им пришлось изобрести новую утопию, соответствующую новой отправной точке Республики, возвращенной к своим истокам и базовым принципам, надеждам и обещаниям, скомпрометированным Террором. И историк, который стремится понять, каким образом завершился термидорианский период и какие перспективы он

¹⁸⁷ *Mme de Stael*. Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France. Éd. critique par Lucia Omacini. Paris; Genève, 1979.

открывал, должен в равной мере держать в голове и *реакцию*, и *утопию*.

ЗАВЕРШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

Теоретически у Республики уже имелась Конституция. Она была разработана в июне 1793 года после свержения жирондистов, но так никогда и не введена в действие. Конституция была написана очень быстро, в течение одной недели, Эро де Сешелем и столь же быстро, практически без обсуждения, одобрена Конвентом. Эта ускоренная процедура отражала политическую волю; власть якобинцев и монтаньяров стремилась продемонстрировать, что способна «энергично» разрешить проблемы, с которыми не могли справиться жирондисты (проект Конституции, разработанный Кондорсе, упрекали в том, что он слишком сложен и слишком либерален). Власть в особенности стремилась превратить утверждение проекта Конституции на референдуме в плебисцит в пользу диктатуры монтаньяров и против жирондистов, санкционирующий, таким образом, переворот 31 мая. Голосование (публичное и устное, сопровождавшееся множеством нарушений) проходило под давлением революционных властей и комитетов. Его результаты были не удивительны: 1 801 918 «за», 11 600 избирателей осмелились проголосовать против, по меньшей мере 4 300 000 граждан не приняли участие в голосовании. Принятие Конституции было торжественно отпраздновано 10 августа 1793 года, вечером того же дня текст был торжественно заключен в «ковчег из кедра» и помещен в зале заседаний Конвента. Вступление Конституции в силу было отложено до наступления мира.

Революционная историография с удовольствием подчеркивала демократический характер этой Конституции (в особенности введение всеобщего избирательного права) и провозглашение в Декларации прав человека и гражданина «социальных прав», однако нередко привлекалось внимание и к тем трудностям, которые возникли бы после ее вступления в силу («в мирное время» (слишком частые референдумы и выборы, слишком широкие полномочия законодателей и т.д.)). Как бы то ни было, текст был сделан на скорую руку; небрежность, с которой он был подготовлен, особенно сильно контрастировала с серьезными дебатами по Конституции 1791 года. Возникал даже вопрос о намерениях ее авторов: предполагали ли они с самого начала нечто большее, нежели пропагандистское действие? Намеревались ли они всерьез когда-нибудь ввести в действие Конституцию, для которой заранее был изготовлен «ковчег»? Или, скорее, они планировали пересмотреть ее после наступления мира? Монтаньярский Конвент так никогда и не приступил к разработке

органических законов; якобинцы были первыми, кто осуждал как контрреволюционную идею всякий намек на применение Конституции, и в частности на созыв первичных собраний. (Как мы уже отмечали, такова же была после 9 термидора и реакция на инициативы Электорального клуба; во фрюктидоре II года уже утративший свое единство Конвент легко обрел его по этому вопросу.) Конституция 1793 года была особенно плохо приспособлена к проблемам изменения политического пространства, возникшим после демонтажа Трора. И в самом деле, достаточно вспомнить об оставшемся в ней нечетком определении взаимоотношений между властью, вышедшей из системы представительства, и полномочиями, принадлежавшими соперничавшей с ней власти, которая требовала права «каждой части народа» на сопротивление, претендовала на то, чтобы быть «поднявшимся с колен народом» и напрямую пользоваться неограниченным суверенитетом путем совершаемого в ходе народных выступлений насилия. (Так, например, статья 23 Декларации прав человека и гражданина предусматривала, что «сопротивление угнетению есть следствие других Прав человека», а в статье 35 той же Декларации говорилось: «Когда правительство нарушает права народа, то для народа и каждой части народа восстание есть самое священное и самое необходимое из прав»¹⁸⁸.)

Таким образом, Конституция 1793 года, вдвойне спорная из-за условий ее разработки и принятия, самим своим содержанием ничем не мешала в первые месяцы после 9 термидора, поскольку никто не собирался извлекать ее из «ковчега». И лишь к зиме-весне III года она превратилась в препятствие на пути демонтажа Трора и перекомпоновки политических механизмов.

Инициатива в поднятии вопроса о Конституции 1793 года парадоксальным образом принадлежала депутатам-якобинцам; они видели в ней предлог для вмешательства в политику. 24 брюмера III года они удивили Конвент, неожиданно продемонстрировав интерес к вступлению этой Конституции в силу. Они предложили приступить к работе над органическими законами и соответственно подготовить упразднение революционного порядка управления и восстановление конституционной формы правления. Поскольку наступил мир, необходимо окончить Революцию и ввести в действие Конституцию 1793 года: «Пусть Национальный Конвент призовет всех своих депутатов заняться дополнением органическими законами Конституции, с воодушевлением принятой французским народом после того, как революционный поток оказался преодолен, а врагов его независимости заставили заключить почетный мир». Поддержав

¹⁸⁸ См.: Les Constitutions de la France depuis 1789. Paris, 1979. P. 83. О разработке Конституции 1793 года, ее утверждении и проблеме ее применения см.: *Godechot J.* Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Paris, 1968 Памфлет «Insurrection du peuple...» опирался для легитимации восстания 1 прериала III года на статью 35.

Одуэна, Барер придал этому предложению, затуманенному возвышенными словами о принципах Республики и ее блестящем будущем, непосредственное политическое значение: оно должно показать народу «истинный смысл революции 9 термидора»; остановить махинации «секретного комитета иностранной партии», рука которой, без сомнения, видна за «последними событиями» и которая, искусно распределяя роли, заставляет «бурлить мысли народа», развращает общественное мнение, клеветает на «энергичных патриотов» и заставляет обвинять свободу во «всех злоупотреблениях, объясняющихся лишь обстоятельствами военного времени». Эти более чем прозрачные намеки на недавние события объясняют внезапное пробуждение интереса якобинцев к Конституции. И в самом деле, предложение ввести ее в действие было высказано всего два дня спустя после закрытия Якобинского клуба. Прозвучавшее именно в этот момент требование извлечь Конституцию из ковчега показывало стремление косвенно оспорить законность данного решения (разве Конституция не гарантировала права народных обществ?) и поставить под сомнение как неправомерную и противозаконную всю антиякобинскую политику Комитетов, пользовавшихся властью в силу законов о революционном порядке управления.

Однако маневр оказался весьма неуклюжим. Многие депутаты во главе с Тальеном не преминули напомнить, что те же самые люди, которые более других противостояли идее конституционной формы правления и называли преступниками коллег, осмеливавшихся требовать ее применения, сегодня «бросились в бой и требуют ее [Конституцию] громкими криками». Против якобинцев обратили ту же аргументацию, которую те некогда широко использовали: они требовали принятия органических законов в тот самый момент, когда армии сражались с врагами и нужно было думать исключительно о том, какие меры необходимо принять, чтобы обеспечить их победу; этот демарш подозрительно напоминал действия «факции Эбера». К сражениям на фронтах добавляли и те, которые Комитеты вместе с «двадцатью пятью миллионами французов» вели внутри страны. «Люди, которые 9 термидора свергли тирана, люди, которые уничтожили соперничавшую с национальным представительством власть, и составляют, по правде говоря, грозную факцию, объединяющую двадцать пять миллионов французов против мошенников и негодяев». 9 термидора «благословенная революция свергла *тирана*», 22 брюмера «та же молния поразила *тиранию*» — имелось в виду решение о закрытии Якобинского клуба. Эту борьбу следует продолжать и далее, чтобы ослабить тех, кто еще вчера требовал Террора, а сегодня восхваляет снисходительность и требует введения в действие Конституции. Таким образом, первое время «люди 9 термидора» выступали против разработки

органических законов, лишь противодействуя *снисходительности* якобинцев и не ставя под сомнение законность самой Конституции¹⁸⁹.

Однако эта политическая путаница не могла длиться долго. В ходе дебатов о возвращении жирондистов (18 вантоза, 8 марта 1795 года) Сийес дал Конвенту почувствовать, что невозможно и далее уклоняться от конституционных проблем и довольствоваться бесконечным продлением временного режима «революционного правления». Возвращение жирондистских депутатов было для Сийеса одновременно и актом справедливости, и логическим следствием начатой 9 термидора политики. И в самом деле, переворотом 31 мая, «творением тирании», была начата та «фатальная эпоха... *в которой Конвент более не существовал*; правило меньшинство, и это опрокидывание с ног на голову всего социального порядка было явным следствием того, что часть народа стали считать восставшей»; после 10 термидора большинство «вновь смогло использовать свои законодательные полномочия». Таким образом, эти две даты служили границей периода, к которому применимы

«хорошо известные всем принципы: если из принимающего решения собрания насильственно удаляется часть тех, кто имеет право в нем голосовать, то затрагиваются сами основы его существования, оно *перестает соответствовать цели своей миссии* [...], исходящий от законодательного корпуса закон перестает быть истинным законом, если некоторые из законодателей, чье мнение и чьи голоса могли бы повлиять на исход обсуждений, не могут заставить выслушать себя тогда, когда считают это необходимым»¹⁹⁰.

Хотя Сийес не упоминал открыто Конституцию 1793 года, никто не сомневался, что речь шла именно о ней. Будучи признанным авторитетом в конституционных вопросах, он выдвигал юридические аргументы, делавшие Конституцию недействительной в силу ее

¹⁸⁹ Moniteur. Vol. 22, заседание 24 брюмера III года. Об этих дебатах и «невозможности конституционной республики» см.: *Diaz F. Dal movimento dei lumi al movimentodei popoli*. Bologna, 1986. P. 618 и след.

¹⁹⁰ См. выступление Сийеса в ходе заседания 18 вантоза III года (Moniteur. Vol. 23. P. 640). Буасси д'Англа в своей «Речи, предвещающей проект конституции Французской республики», произнесенной на заседании Конвента 5 мессидора III года (мы к ней еще вернемся), воспроизводит аргументацию Сийеса для того, чтобы показать недействительность Конституции 1793 года, «задуманной интриганями, продиктованной тиранией и принятой террором... Предадим же это творение наших угнетателей вечному забвению, чтобы оно более не служило предлогом для факционеров. Вся Франция, понимая, что ее тиранили, достаточно осознает недействительность этого так называемого одобрения, на которое сегодня ссылаются, и то, что все французы были жертвами проскрипций наших тиранов, обрекает на презрение их систему, их планы и их одиозные законы». Так к недействительности обсуждения в Конвенте добавлялась недействительность самого референдума.

террористического происхождения. Якобинские и монтаньярские депутаты, равно как и санкюлотские активисты, — одним словом, политические кадры Террора — беспрестанно выдвигали в качестве политического лозунга необходимость ввести Конституцию в действие, используя это в качестве средства давления на Комитеты и большинство Конвента. Вступление Конституции в силу превращалось отныне в глобальный политический символ, в обходной путь для оспаривания антитеррористической политики, для требования освободить «преследуемых патриотов» и восстановить якобинские клубы, для осуждения чисток и дискредитации символического наследия II года. Однако концентрация внимания на Конституции выявляла политическую слабость всей этой кампании. Как мы уже говорили, якобинский дискурс оказался заложником отношения к системообразующему событию всего этого периода, к «революции 9 термидора». Его творцы и сторонники не могли, а быть может, и не хотели ставить под сомнение эту символическую дату, не провозглашая вместе с тем простого и полного возвращения к Террору и реабилитацию «тирана». Парадоксальным образом они отвергали последствия этого события и требовали «демократической Конституции 1793 года» как раз во имя «истинного смысла» 9 термидора.

Все происходило так, словно якобинские и монтаньярские депутаты Конвента одобряли принципы 9 термидора, выраженные в лозунге «Долой тирана!», однако отказывались признать то, что из него вытекало, порожденную им политическую динамику. Это приводило к требованию, если так можно выразиться, возвращения в исходную точку, к отречению от уже пройденного пути, имевшему своей целью демонтаж Террора. В данном контексте намеки Барера на «секретный комитет иностранной партии» слишком напоминали самые зловещие времена из недавнего прошлого.

Реакцией на эту кампанию стали нападки на Конституцию 1793 года. Она осуждалась не только в силу «подозрительного» происхождения, но в особенности из-за своего содержания: всякая попытка ввести ее в действие могла означать лишь возвращение к Террору. 1 жерминаля развернулись особенно бурные дебаты, показавшие все возрастающее значение, которое приобретала Конституция в политическом и символическом раскладе. Петиция представителей секции Кенз-Вен вызвала в тот день бурю: в слегка завуалированных терминах она в качестве лекарства от всех бед требовала «обустройства, начиная с сегодняшнего дня, народной Конституции 1793 года» — «гаранта народа и ужаса его врагов». Среди «левых» петиция получила самую горячую поддержку; Шаль предложил в качестве первого символического акта немедленно принять декрет, предписывающий вывесить Декларацию прав человека и гражданина во «всех публичных местах», а исполнение

этой меры «доверить самому народу». Используя уже прекрасно обкатанные «антитеррористические аргументы», Тальен отвечал, что люди, которые столь настойчиво требуют сейчас Конституции, — «те же самые люди, что заперли ее в ящике» (его больше не называют «священным ковчегом»...); они заставили подчиняться не органическим законам, а революционному правительству. Однако Тальен не осмелился оспорить саму Конституцию; чтобы перехватить инициативу, он, увлеченный своей обычной демагогией, предложил за две недели разработать органические законы. Конец этому положил председательствовавший на заседании Тибодо: большинство из тех, кто требуют сегодня вывешивания Конституции, «ее публичности», сами ее не знают. Поскольку она отнюдь не «демократическая», как они ее называют, а террористическая, и за требованием ввести ее в действие скрываются махинации «террористов». «Я знаю единственную демократическую конституцию — ту, что дарует народу свободу, равенство и возможность пользоваться всеми его правами. В этом плане существующая сегодня конституция отнюдь не демократическая, поскольку национальное представительство окажется тогда во власти плетущей заговоры коммуны, уже многократно пытавшейся уничтожить его и убить свободу». Тибодо угрожал призраком возвращения Террора: ввести Конституцию в действие означает создать в Париже муниципалитет, а это в течение трех месяцев приведет к возрождению Якобинского клуба и роспуску представительства, даст факциям право на «частичное восстание», предоставит «негодьям» возможность устроить восстание, приведет к отмене результатов «революции 9 термидора». В итоге Конвент пренебрег требованием вывесить «скрижаль законов» и назначил комиссию, ответственную за разработку органических законов, не поставив ей никаких сроков¹⁹¹.

АРХАИЧНОЕ НАСИЛИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

На следующий день после доклада Саладена (от имени Комиссии двадцати одного) об обвинении бывших членов Комитетов (21 вантоза III года, 2 марта 1795 года) Конвент увяз в процедуре, которая имела все шансы стать бесконечной, если исходить из того, сколько времени потребовалось, чтобы обвинить Каррье. К тому же ситуация с Каррье, напрямую принимавшем участие в кошмарном Терроре в

¹⁹¹ Moniteur. Vol. 24. P. 31-32. В то же самое время, чтобы противостоять усиливавшемуся брожению в секциях, Конвент принял по докладу Сийеса «Закон о большой полиции для обеспечения гарантий общественной безопасности, республиканского правительства и национального представительства», предоставлявший Комитетам большие полномочия против «бунтующей толпы».

Нанте, была относительно простой, а его ответственность гораздо более очевидной, чем в случае с Барером, Бийо-Варенном, Колло д'Эрбуа и Вадье, поскольку здесь речь шла уже не о бросающихся в глаза бесчинствах, а обо всей политике Трора и даже об итогах II года Республики. Следуя политической логике реванша и стремлению изгнать воспоминания о Троре путем показательного осуждения «виновных», политическая борьба все более и более обострялась. Она резко усилилась в связи с вмешательством улицы 12 жерминаля и в особенности 1 прериала. В политические столкновения между «термидорианцами» неожиданно вмешался непредвиденный фактор, который, казалось, принадлежал прошлому: *толпа*, несущая с собой примитивное и архаичное насилие.

Народные выступления в жерминале и прериале стали предметом многочисленных исследований¹⁹². Напомним лишь, что 12 жерминаля и 1 прериала Конвент был атакован толпой митингующих, кричавших: «Хлеба и Конституции 1793 года!» Эти атаки, которым предшествовали особенно бурные собрания, в частности в секциях народных предместий, были отбиты. 12 жерминаля возглавляемая женщинами толпа на несколько часов заняла зал заседаний Конвента и была рассеяна национальной гвардией без единого выстрела и без жертв. События 1 прериала приняли куда более кровавый оборот: молодой депутат Феро был убит прямо в зале заседаний Конвента в ходе стычки, разгоревшейся, когда толпа выламывала входную дверь. Ему отрубили голову и затем внесли ее, насаженную на пику, в зал заседаний Конвента, а впоследствии доставили на площадь Карусели. Толпа провела в зале около девяти часов (с трех часов дня до полуночи); в это время под давлением части народа имело место некое подобие обсуждения, в котором участвовало несколько депутатов-монтаньяров. По их инициативе горстка имевшихся в наличии депутатов проголосовала за ряд мер, принятия которых требовали демонстранты; и по большей части они соответствовали распространенному накануне памфлету-манифесту «Восстание народа — дабы обрести хлеб и отвоевать свои права». Ближе к полуночи Конвент был освобожден батальонами умеренных секций и вооруженными силами, которые смогли собрать его комиссары. Проливной дождь рассеял толпу на площади Карусели. Мятеж продлился и на следующий день; он вновь начался со собрания женщин перед Тюильри; собрание одной из секций (Арси) переместилось в Дом Коммуны (Ратушу) и даже провозгласило себя

¹⁹² О восстаниях весны III года см.: *Cobb R., Rudé G. Le dernier mouvement populaire de la Révolution française. Les journées de germinal et prairial an III // Revue historique, 1955. P. 250-288; Tønnesson K.D. La Défaite des sansculottes. Mouvement populaire et réaction bourgeoise de l'an III. Paris-Oslo, 1959; Tarle E. Germinal et prairial (trad. française). Moscou, 1959; Rudé G. La Foule dans la Révolution française. Paris, 1989. О политических последствиях кризиса см.: Diaz F. Op. cit. P. 626 и след.*

Национальным конвентом. Толпа демонстрантов дошла до Конвента, и канониры навели на него пушки. Чтобы помешать повторению сценария предыдущего дня, Конвент выслал делегацию, которая «побраталась» с толпой. Представители демонстрантов были выслушаны у решетки, после чего «объединившийся Народ» удалился. Последний акт был разыгран 4 прериаля, когда Комитеты решили атаковать Сент-Антуанское предместье с двойной целью: арестовать предполагаемого убийцу Феро (некоего Жана Тинеля, молодого слесаря, которого накануне его друзья из секции Попенкур освободили с телеги, везшей его на эшафот) и захватить депутатов Камбона и Тюрио (2 прериаля, если верить слуху, который впоследствии оказался ложным, они были провозглашены мэром и прокурором Коммуны). Первое «наступление» на Сент-Антуанское предместье, предпринятое «золотой молодежью», провалилось («молодые люди» натолкнулись на баррикады и были атакованы женщинами и детьми, которые с крыш и из окон бросали в них черепицу и камни). Конвент, располагавший отныне регулярными вооруженными силами, принял декрет, в котором содержалось обращенное к предместью требование выдать убийц Феро и пушки трех входивших в предместье секций. Под угрозой объявления его восставшим, лишения хлеба и артиллерийского обстрела предместье в тот же день сдалось и выдало армии под командованием генерала Мену пушки вместе с канонирами (Тинель покончил с собой).

Обрушившиеся вслед за этим народным выступлением репрессии разворачивались по двум направлениям. В городе было арестовано около 3000 человек (газеты писали даже, что их было от 8000 до 10 000), секции были жестко очищены, национальная гвардия реорганизована, и гражданам приказали сдать пики, символ «поднявшегося с колен народа». В Конвенте же победившее большинство поставило себе на службу весь опыт якобинских чисток. Уже 12 жерминаля с очевидным нарушением своих собственных декретов, гарантировавших обвиняемым депутатам возможность выступить в свою защиту, Конвент, не соблюдая никаких других формальностей, одобрил декрет о немедленной депортации Барера, Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Вадье. В этот и последующие дни было арестовано еще более пятнадцати депутатов. 2 прериаля Конвент принял решение, что перед Военной комиссией предстанут те депутаты, которых обвиняли в пособничестве толпе восставших (шестеро из них, осужденные 27 прериаля и приговоренные к смерти, совершили попытку самоубийства; Ромму, Гужону и Дюкенуа это удалось; Субрани, Дюруа и Бурботт были тяжело ранены и препровождены на гильотину; приговоренные вошли в историю под именем «последних монтаньяров» или же «мучеников прериаля»). Конвент в ходе заседаний, полных разгула страстей и злобы, погряз в яростных обвинениях, словно хотел раз и навсегда избавиться от

своего террористического прошлого. Тем не менее для этого он обращался к средствам, которые уже использовались ранее и были обкатаны во времена Террора: он исключил из своих рядов и арестовал всех членов бывших Комитетов (кроме Карно) и многих бывших представителей в миссиях.

Этот краткий экскурс позволяет лучше проследить последовательность событий, имевших отношение к интересующему нас феномену: толпа, насилие и его роль в ходе народных выступлений весны III года. Эти восстания были, без сомнения, неотъемлемой частью *опыта* и *динамики* термидорианского периода, однако их значение не сводится к сугубо политическим последствиям. На самом деле, они представляют собой прекрасный пример *сложного переплетения архаичного и современного* — более глобальный феномен, о котором мы уже несколько раз говорили и который был характерен для менталитета и политической культуры эпохи Революции. Речь здесь также идет о социокультурном контексте, в который вписывались народные выступления весны III года и на котором нам хотелось бы остановиться. Особенно показательным в этом плане являлось восстание 1 прериаля, в ходе которого роль толпы и насилия при столкновениях между «поднявшимися с колен народом» и представительной властью проявлялась очень четко, словно во время лабораторного опыта.

В основе народных выступлений в жерминале и прериаля лежал экономический кризис. Первой его составляющей был, если можно так выразиться, «классический» для экономики Старого порядка продовольственный кризис (несмотря на хороший урожай, очень суровая зима заставила население голодать; Сена замерзла, в доставке зерна и дров происходили серьезные перебои). К этому добавлялся «новый», свойственный экономике Революции финансовый кризис (голод разразился из-за обесценивания ассигнатов и отмены *максимума*). Рассчитывая на хороший урожай, власти видели в применении доктринерского либерализма единственный адекватный способ оживить экономику. Сильнейший рост цен и дефицит — в первую очередь хлеба — происходил, таким образом, по причине совпадения этих двух факторов). Кризис делал очевидным социальное расслоение и социальные контрасты: с одной стороны, бесконечные очереди перед булочными, в которых преобладали женщины; с другой стороны, кафе, рестораны, рынки и кондитерские, прекрасно снабжавшиеся и переполненные роскошными продуктами, которые продавались по недоступным для народа ценам.

Социальное расслоение выражалось и в том, что людей волновало совершенно разное: в то время как собрания зажиточных секций Запада и Центра были увлечены «крупным политическим событием»

— обвинением, выдвинутым против четырех членов бывших Комитетов, собрания секций бедных кварталов, в особенности предместий Сент-Антуан и Сен-Марсель, прежде всего занимались проблемой голода и требовали от Конвента, чтобы народ обеспечивался хлебом в соответствии с нормами, которые и без того постоянно уменьшались. Однако мнение народа выражалось не только и даже не столько в собраниях секций. Его выражали образующиеся с ночи очереди перед булочными, где во время долгих часов ожидания не переставали циркулировать слухи, часть из которых нам известна благодаря ежедневным докладам агентов Комитета общей безопасности, присоединявшимся к очередям и толпам на улицах, а затем информировавших свое начальство о «состоянии общественного мнения».

О чем же говорили в очередях? Прежде всего и больше всего о голоде и его трагичных последствиях. Там рассказывали о людях, умерших от голода и холода, чьи тела находили поутру на улицах; о случаях самоубийства, в том числе и о матери, покончившей с собой после того, как она убила своих детей. Недовольство быстро политизировалось. Так, поговаривали, что при короле хлеба всегда хватало, и если нет желания околоть с голода, то нужен новый король. Множились роялистские надписи и афиши. Однако говорили также и о том, что при Робеспьере у народа по крайней мере был хлеб и окупщики не осмеливались морить голодом бедняков. Считать это проявившееся в очередях «общественное мнение» «роялистским» или «робеспьеристским» было бы поспешным и неправильным. Слухи политизировались и яростно нападали на власть, когда для объяснения причин голода народ обращался к собственному социокультурному прошлому и вновь оживлял призрак

«голодного заговора». Однако на сей раз он появлялся в новом обличье: теперь уже не монархия, а Конвент и его Комитеты обвинялись в том, что *организовали голод*, припрятали зерно, дабы удушить народ голодом и нанести удар по тому, что было для него и жизненно важным, и самым уязвимым — по женщинам и детям. У этого слуха было немало версий: голод искусственно создавался для того, чтобы толкнуть народ на крайности или даже, по другой версии, чтобы тот, доведенный до отчаяния, потребовал возвращения короля, о чем якобы мечтали, хотя и не осмеливались это признать, Комитеты. В то же время циркулировали слухи, согласно которым Конвент готовился переехать из Парижа, чтобы оставить народ и быстрее уморить его голодом. Слухи находили отклик даже в Конвенте, где депутаты-монтаньяры обвиняли Комитеты в «организации голода».

В различных вариантах этого слуха власть называлась заклятым и вероломным врагом народа; обвиняя и мобилизуя, слух оправдывал и заранее легитимировал ссылками на необходимость самозащиты

всякое действие народа, направленное против Конвента: народ не только имеет право, он обязан *защитить себя* от «заговора негодяев». При этом антиякобинское большинство Конвента воспринимало распространение этих слухов весьма серьезно и было далеко от того, чтобы недооценивать их влияние на умы; оно пыталось вести контрпропаганду, говоря о другом заговоре, замышляемом «кровопийцами» или даже «Терроризмом, объединившимся с роялизмом». Оно перекладывало ответственность за голод на «террористов», уничтоживших тысячи земледельцев, и на самого Робеспьера, чья «тирания» лежала в основе всех бед, в том числе и голода¹⁹³.

В толпе, которая вторгалась в Конвент 12 жерминаля и 1 прериала, женщины, нередко вместе с детьми, были весьма многочисленны; толпы зачастую образовывались из очередей перед булочными. Однако присутствие большого числа окруженных детьми женщин является характерной чертой традиционных мятежей, в частности тех, причиной которых был недостаток хлеба. Шагая в первых рядах, крича: «Хлеба!», женщины формировали авангард — одновременно и реальный, и символический — спонтанного движения, требующего удовлетворения самых насущных нужд; присутствие детей подчеркивало, помимо любых политических лозунгов, и *оборонительный* характер движения, и его легитимность. На долю мужчин выпадало связать политические требования с простым лозунгом: «Хлеба!» Среди этих требований наиболее частыми были два: немедленно ввести в действие Конституцию 1793 года и освободить «патриотов», угнетавшихся после 9 термидора¹⁹⁴.

¹⁹³ См. воззвания Конвента от 12 жерминаля и 2 прериала (Moniteur. Vol. 24. P. 122-123, 518). О слухах, сообщаемых агентами Комитета общей безопасности, см.: *Aulard A. Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire*. Paris, 1898. Т. I. P. 361, 370, 545, 546, 584, 663, 684, 686. Мишле также писал о слухах и их влиянии; он видел в них одновременно и возрождение «легенды о голодном заговоре», и отдаленный отзвук «системы сокращения населения», придуманной Бабёфом. «Нет сомнений, что ситуацию определяли две легенды, в целом абсурдные, хотя к ним и примешивалась некоторая доля реальности. С одной стороны, рабочие массы, народ в целом говорил: «Они хотят, чтобы мы умерли от голода». С другой стороны, торговые слои, бесчисленное множество мелких рантье полагали: «Это заговор, замысленный якобинцами, чтобы возобновить Террор, перебить Конвент и половину Парижа». Кошмарная легенда о голодном заговоре, принимая различные формы, вновь и вновь посещала умы. Послушайте, что говорили в длинных очередях, стоявших с ночи за хлебом. Вы там услышите: "Во Франции слишком много народа. Правительство хочет навести порядок. Необходимо, чтобы умирали и умирали..." Это то, что у Бабёфа, Вилатта и других приняло форму кошмарной системы сокращения населения. Все об этом говорили и, что куда хуже, легко в это верили» (*Michelet. Histoire du dix-neuvième siècle // Michelet. Œuvres complètes*. Éd. par. P. Viallaneix. Paris, 1982. Т. XXI. P. 158).

¹⁹⁴ О толпах в эпоху Революции (и, в частности, о присутствии женщин и детей), о формах их действий см. крайне полезное исследование, из которого я немало почерпнул: *Lucas C. Crowds and Politics // The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*. Т. II. The political Culture of the Revolution. Oxford, 1988.

В ходе народного выступления 12 жерминаля по большей части именно женщины заняли зал заседаний Конвента. На красноречие депутатов, на их призывы к спокойствию, на долгие рассказы о ситуации с продовольствием и об усилиях Комитетов у них был один ответ; они хором кричали: «Хлеба! Хлеба!» Не удовлетворившись этим причудливым диалогом между женщинами и ораторами Конвента, толпа занимала места депутатов, отталкивала и бранила их. «Вместо упорядоченной и понятливой толпы у нас перед глазами предстала прискорбная картина настоящей народной оргии», — не без сожалений признавал в своих мемуарах Левассёр (из Сарты) (при этом он в тот же день был арестован как сообщник восставших, едва лишь Комитеты смогли овладеть ситуацией и убрать толпу из зала)⁹¹⁹⁵.

Восстание 1 прериала было куда лучше подготовлено, и толпу должен был направлять разработанный заранее политический проект. Разумеется, в основе народного выступления лежали те же факторы, что и в жерминале: в течение семи недель, которые прошли между двумя восстаниями, голод еще усилился (и это несмотря на то, что власти действительно прилагали усилия, чтобы доставить зерно в Париж). В очередях ходили те же самые слухи, к которым после последовавших за 12 жерминаля репрессий добавлялись и новые: Конвент хочет потопить Париж в «крови и огне»; чтобы атаковать народ, в Булонском лесу концентрируются войска, в том числе и иностранцы; 12 жерминаля требовавшие хлеба женщины были жестоко избиты по приказу Конвента. Однако основное отличие состояло в попытке заключить стихийное движение в определенные рамки, придать ему политические цели, реализацию которых должен был обеспечить четкий план действий. В уже и без того накаленной атмосфере в конце флореаля в Париже начал распространяться памфлет под названием: «Восстание народа — дабы обрести хлеб и отвоевать свои права». Этот текст был прочитан в секциях и стал довольно широко известен. Утром 1 прериала Изабо, выступая от имени Комитета общей безопасности, даже огласил его с трибуны Конвента в качестве явного доказательства «готовящегося мятежа»¹⁹⁶. Текст был анонимным, но если верить тому, что писал Буонарроти в своем «Заговоре во имя равенства», он был составлен санкюлотскими активистами, заключенными за терроризм в тюрьму Плесси. Текст предварялся преамбулой в виде своего рода обращения от имени *суверенного Народа*. В нем повторялся и

¹⁹⁵ *Levasseur R. Mémoires. Paris, 1831. T. IV. P. 210.*

¹⁹⁶ *Moniteur. Vol. 24. P. 497-498.* Представленный Конвенту текст, за исключением некоторых незначительных деталей, в точности соответствовал четырехстраничному оригиналу, который часто упоминался в документах, касающихся подавления мятежа. См.: *Tønnesson K.D. Op. oil, P. 250 et suiv.* В дальнейшем мы будем цитировать этот памфлет по *Moniteur*

выдавался за правду слух, который обвинял «правительство, бесчеловечно заставляющее [народ] умирать от голода»; все его обещания улучшить снабжение продовольствием подавались как «обманнные и лживые». Авторы утверждали, что у правительства есть склады, на которых: «хранится продовольствие», придерживаемое для того, чтобы позволить реализовать эти «бесчестные планы», тогда как народ умирает от голода (здесь мы видим еще один архаичный слух). Страдания народа таковы, что живые завидуют «несчастной судьбе тех, кого голод день за днем отправляет в могилы». Тем самым народ будет виновен перед самим собой и «грядущими поколениями», если не обеспечит себя продовольствием и не вернет себе свои права. Ведь морящее людей голодом правительство — это правительство узурпаторов и угнетателей. Что может быть лучшим доказательством его тирании, чем то, что оно «незаконно арестовывает, переводит из тюрьмы в тюрьму, из одной коммуны в другую и убивает в тюрьмах тех, кто был достаточно смел и добродетелен, чтобы потребовать хлеб и принадлежащие всем права»? Ведь такая власть может черпать силу лишь в «слабости, невежестве и бедности народа...». «Поднявшийся с колен народ» располагает только одним способом выжить и отвоевать свои права; его восстание абсолютно легитимно, поскольку Конституция предоставляет «всему народу и каждой части угнетенного народа *самое священное из прав, самую необходимую из обязанностей*». Отсюда и цели восстания. Прежде всего: «Хлеба!»; памфлет ограничивался лишь повторением данного мобилизующего лозунга, совершенно не уточняя, откуда этот «хлеб» должен взяться. Напротив, куда более подробно говорилось о собственно политических целях: об отмене революционного порядка управления, которым «злоупотребляла одна факция за другой, чтобы уничтожить, уморить голодом и поработить народ»; о провозглашении и немедленном вступлении в силу «демократической Конституции 1793 года»; о смещении нынешнего правительства, аресте всех его членов и замене их другими депутатами; о немедленном освобождении «граждан, содержащихся в тюрьмах за то, что они требовали хлеба и искренне выражали свое мнение», и, наконец, о созыве 25 прериаля первичных собраний, а 25 мессидора — Законодательного собрания, которое должно заменить Конвент. «Восстание народа» также указывало, что необходимо предпринять: призвать «граждан и гражданок» направиться 1 прериаля в Конвент и сделать это *«по-братски неорганизованно и не ожидая действий соседних секций»*. Таким образом, это был призыв сформировать толпу, которая именно в силу «братской неорганизованности» сможет противостоять ухищрениям правительства и «продавшихся ему руководителей».

Эта толпа будет обладать зачатками структуры и организации благодаря знаку, по которому люди смогут узнать друг друга: у

каждого на шляпе мелом будет написано: «Хлеба и демократической Конституции 1793 года». Другие пункты намечали практические меры, которые необходимо реализовать: закрыть городские заставы, захватить сигнальную пушку и колокола, при помощи которых можно ударить в набат, объединить войска и народ.

Этот язык и тщательно спланированный образ действий демонстрируют весь политический и технический опыт, накопленный и опробованный активистами в ходе предыдущих народных выступлений, в частности 31 мая 1793 года; он был поставлен на службу политическому проекту, который опирался на представление о том, что народ «поднялся с колен». Предлагаемые меры в реальности представляли собой призыв к возвращению Террора, который вновь получил бы свои кадры — освобожденных из тюрем «угнетенных патриотов» — и был бы введен в действие новым правительством монтаньяров. Тем не менее удивительно, что не упоминались ни слово «Террор», ни имя Робеспьера; по всей видимости, авторы не хотели, чтобы их ассоциировали с «террористами» или «робеспьеристами», поскольку эти термины были в значительной степени скомпрометированы. Помимо этого, удивительно, что проект предлагал обойтись без секционных структур; он рассчитывал на спонтанность толпы и, разумеется, на то, что ее смогут направить («патриоты» — освобожденные из тюрем террористические кадры (впрочем, не исключено, что авторы также рассчитывали на группу своих сторонников, численность которой трудно установить; среди вожаков толпы, осужденных после провала мятежа, обнаружили активисты секций, которые после 9 термидора увидели, что их карьера, которую они успели практически превратить в профессию, рушится)¹⁹⁷. Политический проект, объединяющий требования «хлеба», освобождения террористических кадров из тюрем и немедленного вступления в силу Конституции 1793 года, великолепно вписывается в *политическую логику* столкновений вокруг демонтажа Террора. «Восстание народа...» показывает горечь и ярость отчаявшихся и преследуемых людей, которые были готовы без колебаний претворять в жизнь якобинские и монтаньярские идеи, не боясь никаких крайностей.

Тем не менее, после того как зал заседаний Конвента был атакован и занят, толпа отклонилась от логики и политического проекта, которым должна была следовать. Без сомнения, это была политизированная толпа — по крайней мере, в том смысле, что она атаковала именно Конвент и некоторые кричали: «Хлеба и Конституции 1793 года!» Однако в своих действиях она следовала совершенно другой логике — той, которую навязывали исконные ритуалы народного восстания. Таким образом, «революционное

¹⁹⁷ Tönnesson K.D. Op. cit. P. 358 et suiv.

восстание» оказывалось в одно и то же время и лишено политической составляющей, и переполнено ею. Толпа встраивала ее в свойственный ей ритуал насилия и превращала в обычный фрагмент того «вывернутого наизнанку мира», который представляло собой ее поведение. Приведем лишь два примера этих весьма сложных феноменов: убийство Феро и действия мятежников.

Колин Лукас подчеркивает, что толпа народа предпочитает в качестве места действия открытые пространства — улицу или площадь. Атакуя же Конвент, она волей-неволей оказалась в закрытом пространстве, в зале. Значительная часть толпы осталась снаружи, на площади Карусели, и между двумя пространствами, «внутри» и «вовне», установились довольно непростые связи, своего рода двойной обмен людьми и символами. Самый мрачный из этих символов — голова Феро. Как известно, согласно наиболее достоверной гипотезе, молодой депутат был ранен выстрелом во время схватки, когда толпа пыталась выломать двери и ворваться в зал. Этот выстрел и его окровавленная жертва привели к взрыву коллективного и немотивированного насилия. Раненого, но еще живого Феро прикончили сразу несколько человек, которые в припадке своего рода коллективной ярости принялись наносить ему удары ножами. В отношении того, каким образом был совершен этот символический акт — отрезание головы и насаживание ее на пику, свидетельства разнятся. Как утверждают одни, это произошло прямо в зале заседаний Конвента; ножами голову с трудом отделили от тела непосредственно на глазах депутатов, под смех и подбадривающие крики мятежников. Если верить другим, труп был выброшен наружу, принесен, если можно так выразиться, в дар оставшейся на площади толпе, и именно там раздались крики: «Отрежьте ему голову!» Один из мятежников проделал это единым ударом сабли, срезав ее «как репу», чем вызвал восхищение окружавшего его народа. Как бы то ни было, насаженная на пику голова переходила из рук в руки под смех и оскорбления собравшейся на площади толпы. (А тело волокли следом.) Эта вспышка насилия была тем более немотивированной, что толпа не знала в точности, кто ее жертва, и даже не представляла себе, кому принадлежала оскорбляемая ею голова. Это ужасное зрелище длилось около двух часов, вплоть до того момента, пока пика с головой не вернулась в зал заседаний и не была под смех и аплодисменты поставлена перед Буасси д'Англа, бывшего в тот день председателем Конвента. Тем самым хорошо известные образы и действия вызвали в памяти и повторяли весь традиционный ритуал коллективного насилия.

В самом же зале заседаний толпа вела себя практически как на карнавале. Она выталкивала депутатов с их мест, оскорбляла их, окружала трибуну, пускала в ход кулаки, не слишком интересуясь при этом, каковы были политические убеждения избиваемых ею

депутатов. Так, Бурботт, казненный впоследствии как сообщник восставших, признанный монтаньяр, рассказывал, что один человек «с бешеными глазами, с грязным лицом, вооруженный длинной пикой, привязался к нему и в эти ужасные моменты [...] нанес несколько ударов по голове»¹⁹⁸. Толпа пародировала поведение депутатов в ходе дебатов и насмеялась над ним. Так, Военная комиссия приговорила одного из мятежников, подмастерье слесаря, «за то, что тот направился к столу председателя и неприлично вел себя за ним» (*sic*)¹⁹⁹. Огромное количество тех, кто ворвался в зал, а их число очень трудно определить, было пьяно. Постоянный обмен людьми между залом и площадью объяснялся, в частности, тем, что туда (неизвестно ни кем, ни откуда) были выкачаны бочки вина. Пили много и на голодный желудок. В этой атмосфере несколько активистов зачитали список требований, содержащихся в «Восстании народа...», а группа депутатов-монтаньяров, заплативших впоследствии за это жизнью, попыталась управлять страстями и насилием, предложив принять меры, которые могли бы успокоить толпу (по крайней мере, именно таким образом они объяснили свое поведение Военной комиссии, приговорившей их к смерти).

Действия толпы оставили тяжелые и долговечные воспоминания в коллективной памяти. «Народ, — писал Кинэ, — оказался куда страшнее, чем в любую другую эпоху революции. Он внушал ужас своим друзьям. Это был самый жестокий момент». Мишле говорил об «ужасном пьянстве, странной жажде крови» и соглашался со словами Карно: «Это был единственный день, когда народ показался мне свирепым»²⁰⁰. Помимо прочего, удивительно, что неоякобинцы и бабувисты, стремившиеся превознести «последних монтаньяров» и их героическую попытку самоубийства, изображавшие их как мучеников за народное дело, обходили смущенным молчанием неистовое насилие того же самого «народа» во время восстания 1 прериаля.

Подавление бунта сразу же возымело серьезное влияние на политику термидорианцев.

Неорганизованные, жестокие и неэффективные действия толпы сделали очевидным и хрупкость санкюлотского феномена, и его конъюнктурный характер. Он все более и более сводился к старым политическим кадрам ТERRORA, которых повсюду преследовали и которые пытались избежать убийств и «законного реванша» — столь же безжалостных, сколь и систематических. Поражение восстания завершило собой 9 термидора; это была безоговорочная победа Конвента над улицей, «системы представительства» над прямой

¹⁹⁸ Цит. по: *Tönnesson K.D.* Op. cit. P. 271.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Quinet E.* La Révolution. Paris, 1987. P. 613-615; *Michelet.* Histoire du dix-neuvième siècle. T. XXI. P. 170-171.

демократией, превратившейся в «анархию» неистовой толпы. В определенном смысле жерминаль и прериаль представляют собой противоположность «революционных восстаний». Они озаменовали упадок (и даже исчезновение) героической и воинствующей системы образов II года — «поднявшегося с колен народа», готового вернуть себе суверенитет.

«Отправившие нас сюда двадцать пять миллионов человек не помещали нас под опеку рынков Парижа и под топор убийц. Не Сент-Антуанскому предместью делегировали они законодательную власть, а нам... И вы, граждане Парижа, которых беспрестанно называют *народом* все факционеры, желающие возвыситься на обломках национальной власти, вы, как и король, издавна слышали лесть, но и вам следует наконец высказать правду; вас прославили в ходе революции великие и славные дела, однако у Республики было бы к вам немало упреков, если бы день 4 прериалья [капитуляция Сент-Антуанского предместья] не загладил отвратительные дни, которые ему предшествовали»²⁰¹.

Обратная система образов, прочно утверждавшаяся в надгробных словах в память о Феро, которого называли мучеником свободы и антитерроризма, была чрезвычайно важной. «Выполним же в память о нем свой долг, последуем его героическому примеру. Почести павшим делают живых более добродетельными. Не забудем же никогда, представители, этот кошмарный памятный день, когда оскорбляемый факционерами Конвент, который окружила, в который ворвалась жадная до крови толпа, увидел растоптанное величие народа и жажду преступления, дерзко называемого *законом*, в святилище самого закона. Не забудем же никогда эти крики мятежников, эти неистовые вопли, это исступленное и смертоносное пьянство, это прискорбное зрелище, когда представители народа сидели на тех же самых скамьях, которые незаконно заняли их палачи»²⁰². Эта система образов смыкалась с образом «народа-вандала» и укрепляла его. Разумеется, «народ» в целом не виноват, однако его слишком легко ввести в заблуждение, и соответственно он требует постоянного надзора и просвещения. От «народа-дитяти» до «народа-вандала» всего лишь один шаг, превращающий ошибку в преступление. Так, Лувэ напоминает про тот «ужасный день», когда «негодяи» подносили председателю разные бумажки, «которые они называли резолюциями; они говорили ему: "Нам не нужен твой Конвент; народ здесь, ты — председатель народа; подпиши — и

²⁰¹ М.-Ж. Шенье, выступление в ходе заседания 6 прериалья III года. (Moniteur. Vol. 24. P. 548).

²⁰² Moniteur. Vol. 24. P. 548.

декрет будет отличным, подпиши, или я убью тебя"». От этого «народа» Феро и хотел спасти Конвент, жертвуя своей жизнью:

«Это безрассудство, самозванство, негодование, бесстыдство; это месть, ненависть, злобные проклятия, неистовая ругань, все отвратительные страсти, все ужасы, все фурии. Повсюду действовал и кричал голод; и на всех этих опухших от пьянства лицах был виден лишь спровоцированный мясом и вином разгул. И ведь все это делали якобы во имя женщин! И ведь все это нагло называло себя народом!»

Конечно же, наступит день, когда «истинный народ» вернет себе «столь бесчестно опозоренное» звание, однако на сей момент даже «заблудшим братьям... вы [депутаты Конвента] не должны возвращать оружие! Они были обмануты, и их еще могут обмануть. Ребенку не дают то, чем он себя уже поранил»²⁰³.

Мятежи жерминаля и прериала и их жестокое подавление, по сути, не изменили главную *политическую проблему*, связанную с завершением Революции; напротив, они еще усугубили ее и сделали ее разрешение безотлагательным. Восстания жерминаля и прериала спровоцировали новые вспышки агрессии, вызванные страхом перед возможным возвращением Террора, драматическим образом усилили мезь «террористам», доведенную до крайности во время убийств заключенных в Лионе и на юге. Этот самосуд порой проводился с молчаливого согласия населения, однако куда чаще он был делом особых банд убийц, состоявших из «молодых людей». Все больше стирались границы между «поставленным в порядок дня правосудием» и убийствами с лишь слегка завуалированной роялистской направленностью. В той же мере стали весьма подвижными и границы между *реакцией* на Террор, опиравшейся на законность, и той, что сама прибегала к произволу, устанавливая своего рода анти-Террор. С другой стороны, толпа, ворвавшаяся в Конвент с криками: «Хлеба и Конституции 1793 года!», предоставила столь необходимое доказательство того, что демонтаж Террора и отмена Конституции 1793 года — два аспекта одной и той же проблемы. Обуздание парижских мятежей фактически привело к увязанному с ним воедино и не подлежавшему обжалованию приговору незаконной и террористической Конституции. Таким образом, Республика должна была покончить с властью временной и получить новую Конституцию.

²⁰³ Речь Ж.-Б. Лувэ на торжественном заседании 14прериала. (Moniteur. Vol 24. P. 608 et suiv).

РЕАКЦИЯ И УТОПИЯ

На следующий день после 9 термидора не было никаких сомнений в том, как следует именовать только что завершившееся событие: *свержение тирана и триумф свободы* были, *разумеется, революцией*. «31 мая народ совершил свою революцию; 9 термидора Конвент совершил свою; свобода в равной мере аплодирует обеим», — утверждал Конвент в принятом 10 термидора торжественном обращении к французскому народу. Приходившие в Конвент многочисленные обращения использовали ту же самую терминологию. Слово «реакция» начинает свою настоящую политическую карьеру лишь к концу термидорианского периода. Словно именно в тот момент появилась необходимость найти особый термин, который позволил бы описать события, последовавшие за 9 термидора, и выявить их смысл.

Как и слово «термидорианский», термин «реакция» («réaction») и производный от него термин «реакционер» («réacteurs», «réactionnaire») еще ожидают, чтобы кто-нибудь описал их историю и ее перипетии²⁰⁴. Целый ряд текстов показывает ощущения современников, столкнувшихся в ходе Революции с невиданным еще феноменом, который необходимо было сначала *назвать*, чтобы затем *понять*. Так же как и слова «революция» и «прогресс», термин «реакция» заимствован политическим словарем из механики.

Затем он был распространен на моральную сферу и приобрел значение обратного движения, вызванного движением предшествующим, — то есть простого *отклика*. Так его употреблял, например, Руссо: «Все людские умения не могут помешать внезапному нападению сильного на слабого, однако возможно найти способы для реакции»²⁰⁵. Однако до термидорианского периода термин употреблялся редко; «action» и «réaction» не имели никаких особых характерных черт или политической окраски. «Реакция», «попятное движение идей или чувств», была лишь последствием изначального удара. В этом смысле «реакция» совершенно не противопоставлялась «революции» — скорее, оба термина дополняли друг друга. Именно так термин «реакция» был впервые применен в связи с последствиями 9 термидора. Именно в том смысле, в котором это день был «революцией», мощным освобождающим действием, его эффектом стал «отклик», «высвобождение» чувств, подавлявшихся при Терроре, — чувства справедливости и симпатии к невинным жертвам. «Вот уже несколько

²⁰⁴ Жан Старобинский намечил несколько вех в своем плодотворном исследовании: *Starobinski J. Réaction. Le motetses usages // Confrontations psychiatriques. 1974. № 12.*

²⁰⁵ *Rousseau J.-J. Considérations sur le gouvernement de Pologne // Rousseau J.-J. Œuvres complètes (Éd. Pléiade). T. III. P. 1018.*

дней, как в Париже произошли великие события, свершилась великая революция, тирана более не существует, отечество вздохнуло свободно, свобода торжествует... После столь длительного подавления следует ожидать *мощной и соразмерной* реакции на беды, о которых мы вынуждены сожалеть; следует воздать чувствительности то, что требует человечность»²⁰⁶.

Весьма редко встречавшийся в конце II года термин «реакция» начинает довольно часто употребляться после подавления мятежа 13 вандемьера IV года (5 октября 1795 года). С этого времени он прочно утверждается в политическом дискурсе, в частности в официальной лексике, и обрастает множеством значений. Так, Жозеф-Мари Шенье, чьи доклады об убийствах заключенных в Лионе и на юге сыграли большую роль в распространении термина «реакция», различает термидорианский политический проект и *реакцию*; и сразу же словосочетание «термидорианская реакция» становится бессмыслицей. В своем докладе от 29 вандемьера IV года (то есть через две недели после подавления мятежа 13 вандемьера) Шенье настаивал на противоположности термидорианской эпохи и хронологически следующей за ней *реакции*, извратившей ее и представлявшей собой движение, противоположное ей по направленности и по духу. Шенье даже предлагал своего рода периодизацию истории Республики после 9 термидора. Эта памятная дата означала конец Террора вместе с его свитой, состоявшей из трибуналов и революционных комитетов, эшафотов и тюрем, руин и «бывших в чести» грабейшей. За той кровавой эпохой следовала эпоха *термидорианская* — «памятная бессмертная эпоха, когда один лишь Национальный Конвент, преисполнившись сил, которыми, как считали, он не обладал, вновь завоевал общественную свободу; таким образом, были и подавлены диктатура с децемвиратом, и осушены слезы, открыты тюрьмы, разрушены эшафоты». Конвент был столь великодушен, что «закрыв глаза на ошибки» и даже на

²⁰⁶ «Общество друзей Свободы и Равенства, заседающее у Якобинцев в Париже, — всем Народным обществам республики, 18 термидора II года» (цит. по: *Aulard A. La Société des Jacobins. Paris, 1897. Т. VI. P. 323-325*). Однако далее в обращении подчеркивался риск, который влечет за собой эта «реакция», какой бы «благородной и естественной» они ни была: «Необходимо, чтобы эта чувствительность останавливалась там, где злой умысел захочет использовать ее в качестве оружия против общественной свободы... Не для них [врагов свободы] Конвент произвел эту *удивительную революцию*". Шесть недель спустя термин «реакция» употребляется вновь, однако на сей раз в тревожном контексте, и к нему добавляется прилагательное «жестокая». Так якобинцы подводят итог возобновления своей деятельности после «свержения тирана», чистки в своих рядах, исправления злоупотреблений, «вкравшихся в патриотические усилия в ходе шествия Революции»; они констатируют, что «тем не менее, *чувствуется жестокая реакция*". Со всех концов Республики афилированные общества дают знать: аристократия и федерализм поднимают головы, освобождают людей, до того рассматривавшихся в качестве подозрительных, они стремятся отомстить патриотам» («Доклад, сделанный в Якобинском клубе его Комитетом по переписке». 5 вандемьера III года; цит. по: *Aulard A. Op. cit. Т. VI. P. 517-518*).

преступления; он поверил в раскаяние тех, кто долгое время был врагом свободы и Революции. Однако «эти *новые республиканцы* проникли в прорезанные ряды старых патриотов лишь для того, чтобы их перерезать; они восхваляли представительство лишь для того, чтобы уничтожить его. Принципы *снисходительности и великодушия*, которым столь отважно следовал Конвент, [...] лишь усилили их озлобленность и поощрили преступления. Едва их выпустили на свободу, эти верные друзья рабства покрыли кровью свои одежды; непрестанно злоупотребляя этими принципами, они привели республику на край пропасти». Так родилась *реакция*, чьи коварство, злодеяния и преступления обличал Шенье. Он даже составил своеобразный перечень действий и явлений, характерных для *реакции*: преследование патриотов под тем предлогом, что они — «террористы»; банды «молодых людей», надменных и провоцирующих окружающих, вторгающихся в общественные места и запрещающих даже саму «Марсельезу»; таинственные «товарищества Иисуса» и «товарищества Солнца», убивающие людей, особенно на Юге. К тому же эти «негодяи» нападают на Республику и даже находят себе сообщников среди властей «во имя человечности, справедливости, самого Национального Конвента», они называют себя «мстителями за своих отцов и умерщвленных патриотов». Вот сколько политических явлений соединяются друг с другом и дополняют друг друга в том, что Шенье называет одним словом — «реакция». Все еще пребывая в шоке от направленного против Конвента мятежа 13 вандемьера, он не испытывает сомнений относительно политической окраски этой реакции: она роялистская. Зато он, судя по всему, колеблется между двумя вариантами ее происхождения: порой он довольствуется тем, что воспроизводит, если так можно выразиться, классическую схему «заговора», подготовленного иностранцами, эмигрантами, неприсягнувшими священниками и т.д.; временами ему случается объяснять *реакцию* своеобразным превращением порожденной 9 термидора «великодушной системы» в «машину» мести и проскрипций. Впрочем, эти две версии не мешают одна другой, и Шенье не заходит слишком далеко в попытке объяснить это «извращение»: по отношению к *реакции* он выражает лишь свое удивление и отторжение²⁰⁷.

²⁰⁷ Шенье даже называет дату, начиная с которой *реакция* извратила «незабываемую термидорианскую эпоху»: это произошло через шесть месяцев после 9 термидора, то есть зимой III года. Речь Шенье заслуживает гораздо более развернутого комментария, в том числе и из-за своей демагогии и своего апологетического характера. Подчеркивание зверств, совершенных «реакционерными» на Юге, в частности во время убийств в форте Сен-Жан в Марселе, имеет своей целью компрометацию мятежа 13 вандемьера и его организаторов; Шенье ни единым словом не упоминает об ответственности самого Конвента, который те м не менее *терпел* эти убийства (реагируя на них, в лучшем случае, весьма вяло, как это делал сам Шенье в докладе от 6 мессидора об убийствах в Лионе, в котором он к тому же не упоминял термина

Несколько месяцев спустя Майль внес нюансы в смысл как самого термина «реакция», так и феномена, о котором идет речь. «9 термидора, которое должно было, попросту говоря, стать для трона анархии тем, чем было для королевского трона 10 августа, оказалось незаметно отвлечено от дела возрождения и выдвинуло в качестве основного принципа кровавую и незаконную *реакцию*». Это не просто поворот; этот политический феномен более сложен. Его необходимо отличать от нападков и интриг обычных контрреволюционеров, старых и заклятых врагов Революции, действующих во имя ценностей и принципов, к которым она неизменно была враждебна. «Реакция» и соответственно «реакционеры» овладели принципами, присущими Революции, и извратили их; они отклонили ее с прямого пути. В этом плане реакционеры любопытнейшим образом напоминают «террористов», которым столь стремятся отомстить: ведь те установили Террор «под именем свободы», а эти извращают справедливость, священный принцип 9 термидора, чтобы использовать ее в качестве предлога для насилия и незаконной мести. И те и другие (нет ничего удивительного в том, что порой это одни и те же люди...) следуют «общему плану, направленному на дезорганизацию и захват законной власти, раздоры, гражданскую войну»²⁰⁸.

Брошюра Бенжамена Констана «О политических реакциях» представляет одновременно и высшую точку термидорианского дискурса на тему «реакции», и точку разрыва с ним. В начале своей карьеры и политических размышлений Констан принимает республиканский порядок, организованный в соответствии с Конституцией III года Республики, однако отказывается разделить с термидорианцами их прошлое и их ответственность за «политические реакции». («Реакция» в первый раз становится предметом систематизированных размышлений, что показывает успешность интегрирования этого термина в политический дискурс и важность описываемой им проблематики в размышлениях о революционном опыте.) Для Констана «политические реакции» объясняются революционным феноменом. Они являются следствием революций, которые не удались с первого раза и которые соответственно длятся слишком долго. «Когда согласие между институтами и идеями [какого-либо народа] оказывается нарушено, революции неизбежны. Они стремятся восстановить подобное согласие... Если революция

реакция). Самые возвышенные слова Шенье прибегает для превознесения творения Конвента и судьбы его депутатов: «В один прекрасный день, когда годы сделают Республику зрелой, оболганные, атакованные, убиваемые всеми фракциями члены этого Конвента останутся стоять, как одинокие дубы в обезлюдевшем лесу, по которому прошел пожар». Эта фраза казалась бы еще более красноречивой, если бы она не оправдывала декрет о двух третях...

²⁰⁸ См. доклад Майля в Совете пятисот от 8 жерминаля IV года о народных обществах (Moniteur. Vol. 28. P. 89).

выполняет данную цель с первого раза и этим ограничивается, не заходя далее, она не порождает реакции, поскольку является лишь переходом, когда прибытие в конечную точку знаменует время отдыха». Когда же революция выходит за свои границы, она превращается в своего рода сломанный маятник, который начинает неконтролируемо раскачиваться: «Когда Революция, вышедшая за пределы своих границ, останавливается, ее прежде всего возвращают в эти границы. *Возвращают назад* тем дальше, чем сильнее она продвинулась вперед. Заканчивается умеренность, и начинаются реакции... Существует два вида реакций — направленные против людей и направленные против идей. Я не называю реакцией ни справедливое наказание виновных, ни возвращение к здоровым идеям. Первое — удел закона, второе — разума. Признак реакций — произвол на месте закона, страсть на месте размышления; вместо того чтобы судить людей, их устраняют; вместо того чтобы анализировать идеи, их отвергают». Мы не будем рассматривать, как раскрываются далее эти определения, которые приводят к оригинальным политическим умозаключениям. Упомянем лишь одно. Констан обращает особое внимание на феномен *политических перебежчиков*, неотделимый от реакции. Он обличает «этих жестоких и трусливых людей, мечтающих купить кровью прощение за пролитую ими кровь, [людей], чьи бесчинства были беспредельны», «новообращенных убийц, раскаявшихся проконсулов». Весьма прозрачный намек на бывших «террористов», которые, «подчиняясь ходу реакции, позволяют [Конвенту] заменить причиненное им зло другим злом, которое он должен был бы предотвратить», в частности в ходе «последовавшей за 1 прериала реакции». Таким образом, «реакции» всего лишь приходят на смену произволу — «главному врагу всякой свободы, пороку, развращающему любое установление». Они прибегают к произволу, чтобы восстановить поруганные правосудие и свободу, но само по себе обращение к произволу приводит к тому, что «исправление оборачивается реакцией, то есть мезтью и ужасом». С другой стороны, Констан говорит о «перебежчиках-философах», которые, как Ла Гарп, превратились в святош и желают восстановить предрассудки и фанатизм. Все эти внезапно изменившие свое поведение политические и идеологические перебежчики рискуют погрузить страну в неистовую *реакцию*, которая, в свою очередь, неизбежно породит другую реакцию, обратной направленности, превратив Революцию в перманентную. Таким образом, самое главное — это завершить Революцию, заставить ее вернуться в свои границы и соответственно к своим принципам. Конституция III года впервые дает шанс остановить движение этого маятника, который заменяет один произвол другим, положить конец политическим реакциям, заставить закон прийти на смену произволу. Тем самым Констан частично

разделял термидорианский дискурс в отношении реакции, одновременно дистанцируясь от него. Можно было бы сказать, что он хотел отделить Конституцию III года, венчающую термидорианский период, от ее плохих предшественниц, уберечь ее от смущающего наследия экстремистов всех сортов, оставшегося от той самой эпохи, когда она была написана. «Если реакции ужасны и губительны, избегайте произвола, поскольку он неизбежно влечет их за собой; если произвол — разрушительный поток, избегайте реакций, поскольку они обеспечивают правление произвола... Только система принципов гарантирует длительный отдых. Только она ставит на пути политических волнений неодолимую преграду». Для Константа существует, если и далее использовать метафору движения маятника, «левая» и «правая» реакция, и одна влечет за собой другую. А политическую стабильность можно обеспечить лишь возвращением к *центру*, к принципам 1789 года²⁰⁹.

Такова иллюстрация вездесущности, если так можно выразиться, слова, которое тем не менее еще не обрело своего значения. Как мы уже отмечали, это присутствие демонстрирует остро осознаваемую политиками необходимость изобрести термин для идентификации фактов, событий и политических тенденций, которые составляли новый феномен, обладавший размытыми контурами и неясными границами. Колебания относительно того, какой именно смысл следует вложить в этот термин, отражают дискомфорт и запутанность самой ситуации. Официальный дискурс применял термин «реакция» лишь в случае *отклонений* от изначального термидорианского политического проекта, его извращения и даже превращения в собственную противоположность враждебными Республике силами. Апологетический характер этого дискурса очевиден: его цель состояла в том, чтобы снять с Конвента всякую ответственность за разгул «реакции». Конвент было легко обвинить в том, что он слишком долго терпел и даже поощрял все те явления, которые перечислял Шенье после 13 вандемьера: незаконное и дикое преследование политических кадров II года, без разбора зачисленных в «террористы»; терпимость и даже благожелательное отношение к «золотой молодежи», захватившей общественное пространство, улицы, площади, театры; систематическое дискредитирование символики и ритуалов, рожденных II годом Республики; и т.д. Выбор пути *законного* реванша в качестве политического ответа на поставленные демонтажом Террора вопросы приводил в западню, связанную с риском эскалации репрессий. Разумеется, Конвент и правительственные Комитеты сами не организовывали убийства; тем не менее можно было предвидеть и осознать неизбежность усиления политики законных и систематических репрессий против «кровопийц»;

²⁰⁹ Constant B. De réactions politiques (an V) // Constant B. Écrits et discours politiques, présentation par O. Pozzo di Borgo. Paris, 1964. T. 1.

кроме того, в ряде случаев, в частности в Марселе, представители в миссии открыто становились сообщниками убийц. После мятежа 1 и 2 прериаля Конвент предавался, если угодно, экзорцизму своего собственного террористического прошлого в ходе заседаний, на которых раздавались десятки обвинений против депутатов. Это зрелище показывало стране, что политика откровенно сводится к простому сведению счетов. От этого был всего один шаг до того, чтобы назвать «термидорианцев» «реакционерами» и даже едва замаскированными контрреволюционерами. И преследуемые, арестовываемые, лишаемые свободы передвижения бывшие якобинские и санкюлотские активисты без колебаний делали этот шаг. Реакция перестала быть лишь эпизодом и стала *глобальной системой власти*, воплощая в себе одной всю политическую эволюцию начиная с 9 термидора²¹⁰.

Таким образом, в том, что начинали порой называть *термидорианской реакцией*, было *несколько реакций*. Существовала антитеррористическая и антиякобинская *реакция* — поворот общественного мнения, требовавшего воздаяния за причиненные при Терроре беды и страдания и «постановки справедливости в порядок дня». Существовала *реакция*, которую нередко подстегивало стремление к реваншу, полагавшая Террор и его последствия итогом революции и тем самым ставившая под сомнение ее принципы. Соответственно реакция принимала форму отрицания принципов 1789 года или же ставила под вопрос существование Республики, полагая, что в столь большой стране эта форма правления неприменима (классическая проблематика политических размышлений, унаследованных от просветителей). Была также *реакция* в идейной сфере, когда недавно обращенные в католицизм «публицисты» отрицали и с усердием неопитов обличали просвещенный разум, на стороне которого выступали еще недавно. Очертания и границы каждой из этих *реакций* было сложно проследить, что делало использование данного термина в термидорианском *дискурсе* по сути своей двусмысленным. На практике и, в частности, в поведении политиков все эти весьма тонкие различия имели тенденцию к исчезновению, и в конце концов реакция

²¹⁰ О репрессиях термидорианской власти против политических кадров Террора см. фундаментальное исследование Р. Кобба: *Cobb R. The Police and the People. Oxford, 1970* (французский перевод: *La Protestation populaire en France, 1789-1820. Paris, 1975*). Помимо прочего, Кобб отмечает, что репрессии против «террористов» пользовались поддержкой значительной части населения, бравшей реванш над теми, кто доминировал в их городках во времена Террора. С другой стороны, в Лионе, где убийства совершались небольшими бандами, самосуд порой получал истинное одобрение народа: вплоть до 40 000 человек выражало свое одобрение «наказанию» «*mathevins*» (как называли в Лионе «террористов»). См.: *Fuoc R. La Réaction thermidorienne a Lyon (1795)*.

стала означать едва ли не весь спектр политических позиций — от республиканского либерализма до непримиримого роялизма.

Однако *реакция* как движение, направленное на отрицание базовых принципов Революции, представляла собой лишь незначительный аспект термидорианского периода. Пароксизмы насилия, кошмарные убийства оставались эпизодическими и не получили продолжения в *системе власти* в отличие от насилия, превращенного в систему во времена Тррора. Непосредственным эффектом кризиса весны III года стало усиление «реакции», однако в равной мере он ускорил поиск *позитивных и институциональных* ответов на проблемы, уже поставленные в первые месяцы после Термидора. Сила и слабость термидорианской политики заключались в том, что она определялась прежде всего и по преимуществу через отрицание в отношении к двум политическим крайностям: ни Тррора, ни монархии. 9 термидора эта формулировка оказалась достаточно расплывчатой, чтобы объединить всех тех, кто стремился к «свержению тирана», не желая при этом скомпрометировать Республику. Однако эта формулировка была слишком расплывчатой, чтобы лечь в основу более длительного и последовательного политического проекта. В начале III года Республики такой проект стал необходимостью. *Новая Конституция* должна была соответствовать следующим двум потребностям: *извлечь уроки из прошлого и сформулировать проект на будущее*. Она должна была увенчать не только термидорианский политический опыт, но и, если брать шире, горестную и сложную историю шести лет Революции.

Термидорианский опыт, как и всякий политический опыт, изобилует воспоминаниями и ожиданиями, страхами и надеждами. Дискуссия о Конституции III года Республики, так же как и сама Конституция, дают историку возможность выявить политическую систему образов Конвента, готовившегося завершить свое существование, сложные взаимоотношения между памятью и надеждами политиков²¹¹.

Авторы Конституции осознавали новизну и оригинальность возложенной на них задачи. Новая Конституция должна была определить принципы и институты *конституционной Республики* и соответственно *закончить Революцию*. Она не могла использовать ни основы, ни институты Конституции 1791 года: прежде всего, та была монархической и, кроме того, она сделала страну неуправляемой. В равной мере она не могла вдохновляться Конституцией 1793 года (по тем причинам, о которых мы уже говорили: это была сделанная на скорую руку и неприменимая на практике Конституция, смешивавшая прямую демократию и систему

²¹¹ Подробнее см.: *Baczko B. Les Imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs.* Paris, 1984. P. 34 et suiv.

представительства, горький плод Террора и демагогии). Конечно, существовал проект, оставшийся от Кондорсе, отклоненный под давлением Горы и улицы еще до того, как его начали обсуждать. Однако у него также был один важнейший недостаток: по очевидным причинам он не включал в себя опыта Террора. Тем самым новая Конституция должна была соответствовать двум целям термидорианского Конвента: *уберечь Республику и эффективно защитить* ее от всякого риска возвращения к Террору; лишь так она могла завершить Революцию и сохранить Республику, отмежевав ее *принципы* от реалий *двух первых лет* ее существования. Таким образом, Конституция должна была и вдохновляться базовыми принципами 1789 года, и извлекать уроки из опыта Террора; лишь так она могла придать 9 термидора его истинный смысл. *Завершить Революцию* — ни проект, ни лозунг не были новыми. Обещание привести Революцию к финалу многократно служило, как это хорошо известно, поводом и даже предлогом для желания сделать ее более радикальной. В 1795 году мы видим обратное: Революция не могла закончиться реализацией всех порожденных ею надежд и обещаний — сколь неопределенных, столь и демагогических. Разработкой Конституции руководило разочарование или, если угодно, реализм. Закончить *Революцию* означало установить Республику как правовое государство на прочных и долговечных основаниях и тем самым защитить ее от возвращения ее собственного прошлого, ссылавшегося на расплывчатые революционные обещания и неограниченный суверенитет народа.

В 1795 году ощущение стоящей впереди небывалой задачи любопытным образом напоминало тот дух, который царил летом-осенью 1789 года во время первых крупных конституционных дебатов, в ходе которых «патриотическая партия» распалась на «левых» и «правых». Однако за шесть лет те рамки, в которых разрабатывалась Конституция для Франции, радикальным образом изменились, и это изменение может в известной степени послужить мерой эволюции политической культуры и менталитета. Очень кратко коснемся здесь лишь нескольких моментов.

В 1789 году акцент делался на решительном отказе от прошлого; выработать Конституцию означало вновь составить для французов общественный договор, и этот договор обязательно должен был положить начало новому обществу. Без сомнения, французы были древней нацией, однако Революция обновила ее и соответственно могла действовать так, словно История началась с нее. Обновленная Нация, в полном объеме пользующаяся отныне своим суверенитетом, целиком открытая в будущее, основывала свою идентичность не на прошлом, отмеченном тиранией и предрассудками, а на *политическом и моральном проекте, который еще предстояло реализовать*. В III году Республики новая Конституция должна была

сплотить Nation, ориентируясь на будущее и формулируя проект общества, однако коллективная идентичность мыслилась *через прошлое, с которым Nation и соответственно Республика должны были смириться*. Революция имела за спиной прошлое, от которого она не могла избавиться; ее настоящее непосредственно следовало за ушедшим в прошлое Террором.

«О, обрести благодаря мудрости творение, которое нередко обретают лишь со временем, — это великая задача! Однако поскольку мы стремимся опередить будущее, обогатимся же прошлым. Перед нашими глазами история многих народов, а у нас есть своя: обозрим же широчайшее поле нашей революции, уже покрытое столькими развалинами, что кажется, будто повсюду мы видим следы и губительные последствия времени; это поле славы и печали, где смерть собирала свою кровавую жатву и где свобода одержала столько побед. Мы *прожили шесть веков за шесть лет, пусть же обошедшийся нам столь дорого опыт не будет вами утрачен*»²¹².

Несмотря на свои символы и образы, Революция не была источником молодости. Она старела и старила. Ощущение, что прожитые годы изнурили и опустошили людей, постоянно возникало в ходе конституционных дебатов.

Кроме того, было продемонстрировано стремление учитывать свой собственный опыт и опыт других народов. В 1789 году участники дискуссии прежде всего настаивали на *абсолютной оригинальности* проекта, который должен был создать во Франции новое общество: обновленной Nation, начинающей все с нуля, предстояло все придумать заново и невозможно было подражать чему бы то ни было. Она не станет подражать англичанам — развращенному народу, на чьих институтах лежит печать предрассудков и духа аристократии. Однако она не станет подражать и Американским штатам — стране, без сомнения, новой и свободной, но находящейся в окружении дикарей, а не в центре старой Европы. В то же время в ходе дебатов III года Республики пример Соединенных Штатов упоминался довольно часто: их опыт, в частности, предоставлял главный аргумент в пользу двухпалатной системы. Этот опыт был полезен, и его ценили тем больше, что он сливался воедино с уроками, которые необходимо было извлечь из совершенных во время Революции ошибок: единое законодательное собрание, облеченное чрезмерной властью, слишком легко попадало под влияние демагогов и тиранов. Интерес к прошлому Революции приводил к тому, что ее восприятие

²¹² *Boissy d'Anglas*. Discours préliminaire au projet de constitution pour la République française... Цит. по: Moniteur. Vol. 25. P. 81 et suiv.

во времени и в истории становилось обусловлено многими факторами. Так, возникали споры о том, не объясняются ли несчастья Республики тем, что французы представляют собой Nation слишком развращенную и недостаточно цивилизованную, чтобы жить при демократии и знать, как это следует делать²¹³. В 1789 году представление о радикальном разрыве с прошлым и желание создать абсолютно новое и оригинальное творение шли рука об руку с утверждением неограниченного суверенитета Nation. Когда дело касалось ее самой, ее воля не была ограничена ничем, Nation могла и должна была осуществлять *конституирующую власть* во всей ее полноте, без каких бы то ни было препон. В III году суверенитет Nation по-прежнему признавался в качестве основы Республики, однако считалось тем не менее, что он обязательно должен быть ограничен. Догмат о неограниченном суверенитете народа был использован для легитимации Террора, его губительных последствий, для тирании, осуществляемой от имени «поднявшегося с колен народа» невежественным сбродом, требовавшим прямой демократии. Тем самым мудрость и извлеченные из прошлого уроки требовали, чтобы суверенитет народа был ограничен институциональными законными и моральными рамками.

С точки зрения этой эволюции идей весьма показателен пример Сийеса. Автор работы «Что такое третье сословие?», в 1789 году выступавший за неограниченный характер конституирующей власти, воплощавшей общую волю суверенной Nation, в III году Республики без колебания отверг эту «догму», которой столь злоупотребляли «фанатики» и «демагоги». «Неограниченная власть — это политическое чудовище и огромная ошибка французского народа... Когда образуется политическая ассоциация, отнюдь не становятся общими ни все права, которые привносит в общество индивидуум, ни власть всей совокупности индивидуумов». Очевиден намек на «Общественный договор», откуда почти буквально заимствована эта формулировка. Кроме того, продолжает Сийес, «называя это государственной или политической властью, общим делают так мало, как только возможно, и лишь то, что необходимо для сохранения у каждого его прав и обязанностей. Эта частица власти мало напоминает преувеличенные идеи, в которые было так приятно облекать то, что именуется *суверенитетом*. Обратите внимание, что я говорю о суверенитете народа, поскольку, если суверенитет и существует, то только таковой»²¹⁴. Система представительства обязательно ограничивает народный суверенитет. И само слово

²¹³ Споры о Терроре между Лезей-Марнезия («О причинах Революции и ее результатах») и Бенжаменом Констаном («Последствия Террора») особенно показательны в плане термидорианских размышлений об истории Революции. Ср. с исследованием Ф. Фюре: *Furet F. Une polémique thermidorienne sur la Terreur: autour de Benjamin Constant // Passe-Present. 1983. №2.*

«суверенитет» представляется «воображению столь колоссальным» лишь в силу «монархических предрассудков, глубоко проникших в души французов; короли-деспоты приписывали себе неограниченную и ужасную власть; суверенитет народа должен быть еще большим». Таким образом, необходимо, чтобы суверенитет вернулся в свои разумные границы, если, конечно, нет желания повторить ошибки Конституции 1793 года. Пагубное заблуждение проистекает из руссоистской концепции общей воли — единой, неделимой, неотчуждаемой, не подверженной заблуждениям. Однако, как показал Террор, подобный волюнтаризм опасен сам по себе. «Горе народам, которые считают, что знают, чего они желают, в то время как они лишь желают — и не более того». «Желать» легче всего, однако необходимо еще знать, как организовать государственную власть.

Авторы Конституции III года разделяли озабоченность Сийеса и приняли некоторые из предложенных им решений: система представительства обязательно должна ограничивать народный суверенитет; она защищает неотчуждаемые индивидуальные свободы от опасности их нарушения волей, которой приписывается всеобщность, то есть от неограниченной власти, которая на эту волю опирается; система представительства основывается на разумном принципе разделения направлений деятельности, который, будучи применен к политике, требует, чтобы политика как особый род деятельности была доверена людям просвещенным и компетентным, располагающим временем и средствами, чтобы себя ей посвятить.

Только таким образом можно выявить общий интерес, и именно представителям, а не тем, кого они представляют, принадлежит право сформулировать общую волю. Это была особая, возникшая как реакция на Террор вариация французского либерализма, стремившегося примирить фактическое неравенство с равенством прав, суверенитет народа с властью просвещенных элит. Установление *демократии способностей* решало в конституционном плане две задачи: институциональным путем защитить политическую систему и тем самым помешать Революции начаться снова и сформулировать проект на будущее, который объединит всех граждан, признав их гражданское равенство, но в то же время и гарантирует, что «Нация будет управляться лучшими». Иными словами, проблема заключалась в том, чтобы одновременно и закончить Революцию, и дать надежду, даже разработать утопию, для послереволюционной эпохи.

²¹⁴ Сийес. речь от 2 термидора III года, цит. по; *Bastid P.* Les Discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l'an III. Paris. 1939. P. 17-18, 32 et suiv. Более подробно я рассматриваю идеи Сийеса о конституирующей власти и неограниченном суверенитете в своем исследовании: *Baczkó B* Le contrat social des Français, Sieyès et Rousseau // *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* T. I, The Political Culture of the Old Regime. Ed. by K.M. Baker. Oxford, 1987. P. 493-515.

В ракурсе нашего исследования особой важностью обладают две порожденные Конституцией 1795 года надежды, вызванные появлением нового политического и институционального пространства: порядок на основе стабильности и прогресс на основе образования. После долгих лет, когда стали правилом постоянные пертурбации, мечта об *иной реальности*, о разрыве с недавним прошлым должна была обеспечить жизни общества стабильные и прочные рамки. В конце концов Конвент породил *утопию республиканского порядка*, который должен был сопротивляться пертурбациям благодаря заложенным в нем механизмам самосохранения. Сийес в относящемся к III году проекте, о котором мы только что говорили, предлагал даже создание специального «конституционного суда» — выборной инстанции, которая должна была надзирать за сохранением институтов и препятствовать любым поспешным изменениям. Конституция III года не включила в себя предложение Сийеса, однако в ней можно найти ту же самую озабоченность сохранением институтов. Об этом свидетельствует процедура, которая должна была использоваться для изменения Конституции. Она была чрезвычайно сложной и предусматривала в качестве предварительного условия повторенное три раза Советом старейшин предложение, «сделанное трижды, с промежутками по крайней мере в три года». Это предложение должен был затем ратифицировать Совет пятисот и т.д. Старательно избегали какого бы то ни было обращения к прямой демократии; были приняты бесчисленные предосторожности для того, чтобы защитить выборный орган, который должен был заняться пересмотром Конституции, от любого давления со стороны улицы или законодательной власти²¹⁵. Задним числом, разумеется, весьма и даже слишком просто показать, насколько иллюзорными были эти надежды на стабилизацию и до какой степени термидорианский Конвент обманывался в отношении своих институциональных проектов. Казалось, что две границы, которые он стремился поставить, — «ни тирании, ни анархии» — определяли магистральный путь развития Республики. В действительности же Конвент лишь очертил весьма ограниченное поле для политического маневра. Конституция представляла собой нагромождение институтов, которые должны были пребывать в равновесии посредством весьма сложного взаимного ограничения их полномочий. Историки нередко упрекают эти институциональные механизмы в излишней сложности, которая обусловила их паралич и

²¹⁵ См. главу II в: *Godechot J. Les Constitutions...* P. 138-139. Здесь особенно разителен контраст с проектом Кондорсе, который стремился обеспечить *периодический пересмотр Конституции* путем референдума, чтобы «общая воля» одного поколения ничем не препятствовала поколениям грядущим. Этот удивительный пример заслуживает пространного комментария, касающегося влияния опыта Террора на эволюцию французского либерализма.

гибель 18 брюмера. Однако главный политический феномен состоял в другом: несмотря на это чрезвычайное институциональное и юридическое усложнение, в конечном счете речь шла о *демократии на довольно рудиментарной стадии своего исторического развития*. В этом смысле именно в силу многочисленных заложенных в нее предосторожностей Конституция III года особенно ясно показывает границы политической и социальной системы образов революционного периода.

Самое большее, эта Конституция мыслила политическое пространство в терминах разделения и равновесия властей, отправления суверенитета представительным правительством и довольно частого обновления депутатского корпуса (чтобы помешать сохранению у власти одних и тех же кадров и легче предоставить к ней доступ «лучшим»). Однако она разделяла общее для якобинцев и либералов представление о *монистическом и унитарном* политическом пространстве. Представительные институты, свободная пресса и т.д. должны были направлять, организовывать и просвещать *общую волю* и соответственно вносить свой вклад в единство Нации. Любые *разделения* могли лишь способствовать частным интересам и тем самым порождать беды и борьбу факций. Иными словами, термидорианцы не готовы были рассматривать политическое пространство как *неизбежно разделенное между противоположными тенденциями и от этого неизбежно полное конфликтов и противоречий*. В данном отношении Конституция III года оставалась заложником революционного мифа о *единой Нации* и политической жизни, представляющей собой выражение ее единства. Термидорианский Конвент не признавал политический плюрализм даже в качестве неминуемого зла; и по этой причине он не разработал никаких механизмов его функционирования. Урегулирование противоречий между общественным мнением, непрестанно менявшимся от одних выборов к другим, и находившейся у власти группировкой выпадало отныне на долю государственных переворотов.

Что же касается мечты о цивилизующем при помощи образования прогрессе, то ее, как ни странно, ничто не иллюстрирует лучше, чем введение культурного ценза. Конституция предусматривала, что «молодые люди не могут быть внесены в списки граждан, если они не подтвердят, что *умеют читать и писать и обладают профессией*... Данная статья вступит в силу лишь начиная с XII года Республики»²¹⁶. Эту устанавливающую культурный ценз статью нередко интерпретируют как простое следствие отказа от всеобщего избирательного права. И в самом деле, гражданами были только те, кто платил прямой налог. В этом видели как стремление исключить из

²¹⁶ Godechot J. Les Constitutions... Titre II. Art. 16. P. 105.

состава «суверенного Народа» самые неблагоприятные социальные группы, так и соответственно подтверждение «буржуазного» характера Конституции. Однако поставленные данной статьей проблемы неизмеримо сложнее любых клише. Приведенный ряд мер является показателем и опасений, и надежд республиканских элит той эпохи. Разумеется, стремление выйти из Террора и выдвижение новых политических ориентиров влекли за собой новое определение основ общества. В этом плане «термидорианцы» совершенно естественным образом обратились к «собственникам», наиболее состоятельным социальным группам, покупателям национальных имуществ (чьи приобретения к тому же гарантировались Конституцией) и в особенности к нотаблям. Эта социальная стратегия шла в параллель со стремлением оживить мануфактуры и торговлю, пришедшие в упадок из-за Террора. Однако и здесь речь идет о возвращении к истокам, к идеям и принципам просветителей, переосмысленным и подправленным в соответствии с революционным опытом. Отсюда модель «демократии способностей» — Республики, которой управляют самые просвещенные.

«Нами должны управлять лучшие; лучшие более образованны и более заинтересованы в поддержании законов; так, за малыми исключениями, вы найдете достойных людей лишь среди тех, кто, обладая собственностью, привязан к стране, в которой она находится, к законам, которые ее защищают, к спокойствию, которое способствует ее сохранению; этой собственности и создаваемому ею достатку они обязаны образованием, которое делает их способными мудро и справедливо обсуждать достоинства и недостатки законов, определяющих будущее их отечества. Напротив, человеку без собственности приходится постоянно прибегать к добродетели, чтобы находить свои выгоды в порядке, который ничего ему не сохраняет, и чтобы противостоять течениям, дающим ему некоторые надежды. Ему следует постоянно глубинным образом работать над собой, чтобы предпочесть реальное благо мнимому, интересы завтрашнего дня — интересам сиюминутным»²¹⁷.

Это неоспоримое социальное предпочтение особенно ярко выражалось в тех условиях, которым необходимо было соответствовать, чтобы стать «выборщиком» (каждое первичное собрание избирало одного выборщика на двести граждан). И уже эти выборщики на своих собраниях избирали членов законодательного корпуса, Кассационного суда, судей гражданских судов и т.д. (Для

²¹⁷ Цит. по: *Moniteur*. Vol. 25. P. 92.

всех выборов Конституция предусматривала тайное голосование.) Порог для выборщиков был весьма высок: необходимо было располагать немалым доходом, который ограничивал их число в 30 000 человек на всю Францию. Однако введение культурного и имущественного ценза имело весьма ограниченные политические последствия. Возрождение цензового режима действительно не вызвало значительных возражений; оно было практически единогласно одобрено и Конвентом, и первичными собраниями, несмотря на то что фактически должно было сократить число активных граждан до шести миллионов (из примерно семи с половиной миллионов французов, имевших право голоса). Это отсутствие интереса к восстановлению ценза прежде всего объяснялось следующим: на протяжении всей Революции, какими бы ни были выборы, всеобщими или цензовыми, сохранялся высокий уровень неявки, порой доходивший до 90%. Это массовое уклонение от голосования подтверждает ту общую характерную черту революционной политической культуры, о которой мы уже упоминали: обучение демократии проходило медленно и трудно; оно совершалось в особой ситуации *современного политического пространства*, созданного в *по большей части традиционной культурной и ментальной среде*.

Введение *культурного ценза* косвенно и незаметно давало аргументы в руки тех, кто утверждал, что Республика установлена слишком рано, до того, как Просвещение смогло просветить все население, а не только элиты. Политические пертурбации оттеснили назад цивилизаторский прогресс. Однако в равной мере это было опровержением одной из аксиом политической философии той эпохи, в соответствии с которой республиканская система подходит лишь небольшим странам, а не огромным современным нациям. По этому вопросу Конституция не оставляла никаких сомнений. Если бы народ был более просвещенным, то, несомненно, можно было бы избежать бед первых двух лет Республики. Однако эти мрачные годы не должны компрометировать ни принципы, ни итоги Республики. Она не должна была «устанавливаться при помощи эшафотов». 9 термидора продемонстрировало, что республиканская Нация способна избежать угрожающих ей опасностей; новая Конституция выражала волю преодолеть культурное отставание страны и сделать это таким образом, чтобы народ, единожды цивилизованный, никогда уже не мог свернуть с пути прогресса. Таким образом, в основе введения культурного ценза, как и многих других термидорианских мер, лежало двойственное стремление объединить противоположности: он должен был предотвратить возвращение к власти «сброда» и «вандалов», невежд, которые думали, что могут управлять, но при этом не способных управлять самими собой, ибо не умеющих читать и писать,

и он был основан на убеждении, что образование, приобретение культурного минимума является предварительным условием пользования гражданскими правами. И тогда Республика будет защищена от народа-вандала, защищая народ от него самого.

Подводя итог, можно сказать, что этот конституционный проект отсылал к другой надежде, лежавшей в его основе: Просвещение и Революция непременно гармонируют друг с другом; испытания, через которые пришлось пройти Нации, не останутся бесполезными. В конце своего пути Франция станет страной просвещенных людей и граждан, или, если угодно, граждан, *поскольку* люди станут просвещенными. Просвещение лежало у истоков Революции, Просвещению же должно и завершить ее. Тем самым власть сразу же брала на себя педагогическую миссию: необходимо эффективно помогать развитию искусств, образования и в особенности созданию новых элит. Конституция III года Республики была дополнена декретом об организации общественного образования, ставшим одним из последних решений Конвента. В своем докладе Дону лучше, чем кто бы то ни было, подвел итог термидорианским педагогическим мечтаниям и символам: он изображал Термидор как просвещенную Республику, припадающую к самым истокам Революции, как торжествующее Просвещение, ставящее последнюю точку в революционных испытаниях.

«Культура повторяла на протяжении последних трех лет судьбу Национального Конвента. Она стенала вместе с вами от тирании Робеспьера, она восходила вместе с вашими коллегами на эшафоты, и в это время бедствий патриотизм и науки, чьи сожаления и слезы соединялись воедино, молили у одних и тех же могил о возвращении жертв, которые были в равной мере дороги им. После 9 термидора, вновь взяв власть и вернув свободу, вы наконец сможете утешить их, поощряя искусства... Представители народа, после стольких неистовых потрясений, стольких тревожных подозрений, стольких необходимых войн, столь частого добродетельного недоверия; после пяти лет, на которые выпало столько мук, усилий и жертв, [пришел час] доброжелательности, сближения, объединения, отдыха среди нежной любви и мирных чувств. И что же лучше, чем общественное образование, сможет выполнить эту задачу всеобщего примирения? Да, именно культуре предстоит завершить начатую ею Революцию, Сгладить все расхождения во взглядах, восстановить согласие между всеми, кто возвращает культуру; и не стоит скрывать, что во Франции в

XVIII веке, в царстве просвещения мир между просвещенными людьми станет предвестником мира во всем мире»²¹⁸.

Термидор на долгие годы возложил на республиканское государство образовательные задачи, которые воплощали в себе противоречие между *цивилизующей властью и народом, который надо сделать цивилизованным*. Это противопоставление было унаследовано от эпохи Просвещения, однако оказалось возрождено и подкорректировано, чтобы власть и народ смогли сделать необходимые выводы из Революции и в особенности из Террора. Нет законной власти без суверенитета, которым обладают все граждане, но нет и граждан без государства, которое открывает им доступ к Просвещению и соответственно к политике и которое, по меньшей мере, справляется с тем, чтобы защищать народ от пробуждения его собственных демонов.

Последнее слово в термидорианских спорах о Терроре Конвент произнес в последний день своей работы, 4 брюмера IV года. В ходе этого заседания обсуждался представленный Боденом от имени Комиссии одиннадцати проект декрета об амнистии. Этот проект был составлен в лихорадке подавления роялистского брожения и мятежа 13 вандемьера. Антитеррористический дискурс в нем приглушен, поскольку речь шла о том, чтобы завершить Революцию мерами, способными принести умиротворение. «Разве опыт не показал нам всю опасность непостоянства, разве мы не знаем о том, что после обращения к крайностям следует остановиться ровно посередине?»²¹⁹ Не воспринимался ли Террор задним числом как одно из проявлений такого «непостоянства»?

«Есть болезни, неотделимые от великой революции, и среди этих болезней есть такие, которые по самой своей природе не поддаются исцелению».

²¹⁸ *Daunou*. Rapport sur l'instruction publique du 23 vendémiaire an IV // Baczko B. Une éducation pour la démocratie. P. 504 et suiv. Молодой Констан завершает размышления о «политических реакциях» изложением своей веры в прогресс, который обеспечит триумф «системы принципов» над «временными потрясениями». «Гармоничность в целом, неизменность в деталях, блестящая теория, охранительная практика — таковы характерные черты системы принципов. Она соединяет в себе общее и частное благо... Она принадлежит векам, и временные потрясения ничего не могут сделать с ней. Сопrotивляясь ей, без сомнения, можно вызвать новые кошмарные потрясения. Однако с тех пор, как человеческий разум стал продвигаться вперед и книгопечатание засвидетельствовало его прогресс, больше не было варварских нашествий, коалиций угнетателей, возрождения предрассудков, которые оказались бы способны повернуть его вспять» (*Constant*. Op. cit. P. 84-85).

²¹⁹ Rapport de Baudin, au nom de la Commission des onze // *Moniteur*. Vol. 26. P. 303.

Никто не мог попросить у жертв Террора или у их семей прощения, однако можно было попросить у них забвения. Требование абстрактной справедливости привело бы лишь к новым бедам: «Если необходимо организовать столько судов, сколько было революционных комитетов, то придется покрыть всю Республику тюрьмами и эшафотами, дабы утешить ее в том, что существовало столько эшафотов и тюрем»²²⁰. Проект предлагал даже отменить смертную казнь, демонстрируя тем самым стремление окончить Революцию раз и навсегда, заставив забыть Террор. Эту отмену должен был увековечить символический акт: Конвент провозгласил бы свой декрет на площади Революции; председатель «попрал бы ногами косу смерти», которая была бы торжественно уничтожена, а обломки ножа гильотины были бы отправлены в музей. Эшафот должно было бы сжечь, а площадь — назвать по-другому: отныне она стала бы площадью Согласия.

После оживленных дебатов, вновь всколыхнувших те политические страсти, которые как раз и должны были быть преданы забвению, термидорианский Конвент принял столь характерное для него двусмысленное компромиссное решение, в очередной раз продемонстрировав свое искусство такие решения принимать. Амнистия была провозглашена за «деяния, исключительно связанные с Революцией» (за вычетом тех, которые были связаны с «заговором 13 вандемьера»). Смертная казнь не была отменена, точнее, ее отмену отложили «до дня наступления всеобщего мира». Тем самым символическая церемония уничтожения гильотины становилась бессмысленной.

С другой стороны, был принят декрет о том, что площадь Революции станет отныне называться площадью Согласия.

Что же до Революции, она дала свое имя улице, ведущей от бульвара к площади Согласия.

²²⁰ Ibid.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМИДОР В ИСТОРИИ

Быть может, теперь мы сможем ответить на вопрос, поставленный в самом начале этого эссе: был ли Термидор своеобразной исторической «матрицей», воспроизводимой в ходе тех революций, которые последовали за французской?

Во время термидорианского периода годовщина 9 термидора торжественно отмечалась как день «славной революции». Впоследствии вопрос о праздновании этого события никогда не вставал. Тем не менее Термидор остался в памяти. Как и ряд других феноменов революционного периода, таких, как *якобинизм* или *бонапартизм*, с течением времени он превратился в парадигму благодаря всем идеологиям, которые ссылались на Французскую революцию или видели в ней свои истоки, поскольку воспринимался как объяснительная модель для исторических отклонений с основного пути.

Разве после смерти Ленина Троцкий, а затем и троцкисты не обращались к Термидору, чтобы лучше понять приход Сталина к власти? У Октябрьской революции будет свой Термидор, и сталинисты, новые термидорианцы, станут бывшими революционерами, «выродятся» в тех, кто станет стремиться извлечь выгоду из Революции, в ее могильщиков. То, что некогда они были на стороне народа, позволит отличить их от изначальных (и даже извечных) «классовых врагов». В ответ Троцкий и его сторонники были обвинены сталинистами в бонапартизме, а затем и опорочены, и даже ликвидированы как иностранные агенты (в том числе на службе у Японии, Польши, гестапо и английской разведки...). Троцкистская метафора Термидора стала настолько широко известна, что превратилась в отличительную черту сторонников Троцкого. Однако каждую революцию XIX и XX веков преследовал призрак ее *собственного* Термидора, преследовал с того самого момента, когда революционный порыв разбивался о самих революционеров, которые меняли направление движения Истории, предавали его и обращались против него.

Если для революционной мифологии XIX и XX веков Термидор и превратился в такую «матрицу», то не потому, что Французская революция действительно была предана или отклонилась в сторону 9 термидора II года. Споры о том, кто был «истинным» могильщиком Революции — жирондисты или дантонисты, якобинцы или термидорианцы, члены Директории или Первый консул, — вечны и бесплодны; они сами вносят вклад в создание революционной мифологии и лишь воспроизводят ее. Как и всякий миф, миф об уничтоженной Революции скрывает действительность, однако раскрывает свою собственную правду. Эта правда заключается в

самом образе события, который создает этот миф: Революция задушена, заморожена, убита — неважно, что с ней сделали, главное, что это произошло, когда она была еще *совсем юна*, до того, как она сдержала данные ею обещания. Миф о Термидоре представляет собой лишь вариацию мифа о *вечной молодости Революции*. Именно этот миф и связанную с ним систему образов Термидор вначале скомпрометировал, а затем и уничтожил. Термидорианский дискурс переполнен, если так можно выразиться, метафорами, свидетельствующими об усталости, о вызванной временем эрозии революционной мифологии. Послушаем Буасси д'Англа: кажется, что поле Революции «повсюду предлагает нашему взгляду *следы и губительные последствия времени*», революционеры прожили «*шесть веков за шесть лет*». Если каждый год Революции считается за век, то отчего же она постарела более всего? От шестнадцати месяцев Террора или от пятнадцати месяцев правления термидорианцев? От потоплений в Нанте или от правды об этих убийствах, сделавшейся достоянием гласности в ходе процессов Революционного комитета Нанта и Каррье? От обвинительных речей Фукье-Тенвиля в Революционном трибунале во времена Террора или от тех памфлетов, которые он писал в свою защиту и в которых перекладывал всю ответственность на Конвент?

Террор создавал героическую систему образов в то же самое время, в которое он попирает реальность и творил свою черную легенду. При Термидоре все быстро всплыло на поверхность. В эпоху Термидора внезапно стало ясно: Революция устала, Революция постарела.

Термидор — этот тот ключевой момент, когда Революция должна взять на себя бремя своего прошлого и признать, что она не сдержала всех своих изначальных обещаний. В частности, этот тот момент, когда ее действующие лица провозглашают, что не хотят ни начинать ее вновь, ни исправлять ее.

Термидор — это момент, когда у революционеров остается лишь одно желание, когда их вдохновляет лишь одно побуждение: закончить наконец Революцию.

Революции стареют довольно быстро.

Они стареют плохо из-за того, что всегда одержимы символическим стремлением стать началом новой эпохи в Истории, радикальным разрывом во времени, творением, которое вновь и вновь берет свое начало, воплощением вечной молодости мира. Революция воспекает будущее, однако никак не хочет расставаться с тем днем, который положил начало ее пришествию в этот мир. Французская революция старела не хуже, чем все другие революции, которые следовали за ней и вдохновлялись ею.

И тем не менее ни один из ее потомков не желал узнавать себя в Термидоре своего предка. И это справедливо: Революция, даже одержимая своими мифами, — не сказка. А Термидор — это лишенное очарования зеркало, показывающее каждой новорожденной Революции единственный образ, который та не желает видеть: убивающий мечты образ дряхлости и немощи.

БРОНИСЛАВ БАЧКО: ОТ УТОПИИ К ТЕРРОРУ

Книга, которая предлагается сегодня вниманию российского читателя, во многом необычна.

Хотя на первый взгляд это может показаться парадоксальным, сегодня в нашей стране существует не больше возможностей ознакомиться с современными зарубежными работами по истории Французской революции XVIII века, чем это было при советской власти. В минувшие годы на русском языке практически не выходило западных исследований, увидевших свет за последние два десятилетия²²¹. Отечественные издатели отдают предпочтение либо работам, ставшим уже классическими, либо сочинениям, давно утратившим научную актуальность и извлекаемым из небытия по совершенно непонятным причинам.

Монография Бронислава Бачко, опубликованная во Франции в 1989 году и переведенная на ряд европейских языков, необычна не только потому, что ее отличает ясный, прозрачный язык и чрезвычайно удачное сочетание мастерски выстроенной композиции, удерживающей внимание читателя, радующей его неожиданными, если можно так выразиться применительно к научному труду, поворотами сюжета, и глубокого исторического анализа. И не только потому, что она появилась в научном обиходе относительно недавно и до сих пор остается последним словом исторической науки в исследовании данной темы — и в то же время уже успела стать классической. Будучи известен ранее преимущественно как исследователь философских течений и общественной мысли, Б. Бачко сразу же после публикации этой книги стал признанным авторитетом по истории Термидора: к нему с равным уважением относятся специалисты, принадлежащие к различным, конкурирующим друг с другом направлениям во французской историографии, что, на мой взгляд, является редчайшим исключением.

Не в последнюю очередь монография Б. Бачко показалась мне необычной из-за того, что автор не относится к событиям двухсотлетней давности с равнодушием отстраненного исследователя. И речь идет отнюдь не о восторженном восхищении Революцией и ее деятелями, характерном для целого ряда работ первой половины XX века. Террор, Термидор, «выход из Террора» — эти сюжеты, как правило, решаются сегодня с холодной эмоциональной отстраненностью, словно компенсирующей накал страстей той эпохи. Чувствуется, что авторы значительного

²²¹ Пожалуй, можно назвать только две книги: Р. Шартье «Культурные истоки Французской революции» (Москва, 2001; Paris, 1990) и П. Генифе «Политика революционного Террора» (Москва, 2003; Paris, 2000).

количества трудов на данные темы относятся к своим персонажам, их лексике, поступкам, мировосприятию не без некоторого удивления, сопряженного с определенной брезгливостью, что, сознательно или подсознательно, приводит их к отказу от сопереживания, заставляя ограничиваться сухим анализом.

И это неудивительно: хотя порой и принято считать, что для французов Революция до сих пор не закончилась и по-прежнему возбуждает ожесточенные споры и активные разногласия (что показало, в частности, празднование ее двухсотлетия), все же проблемы Тррора, репрессий, ограничения и нарушения прав человека для большинства современных западных историков никак не сопрягаются с их личным опытом и соответственно не переводятся в личную плоскость, оставаясь приметам и элементами давно закончившейся политической борьбы. Этим объясняется и та ситуация, о которой с некоторой грустью говорит П. Генифе: «О Трроре теперь почти не пишут»²²². Однако для Б. Бачко, как уже наверняка заметил читатель, дело обстоит совершенно иначе. Максимально емко об этом сказала, обращаясь к автору книги «Как выйти из Тррора?», известный французский историк, один из лидеров «критического» направления в историографии Французской революции Мона Озуф: «Никто, читая вас, не может забыть: к интеллектуальному анализу у вас всегда добавляется настороженный взгляд лишенного иллюзий свидетеля. В вашей прекрасной книге о Термидоре, когда вы рассказываете о чистках, очередях перед булочными, принесении в жертву старых друзей, реабилитации старых врагов, о преждевременно постаревшей Революции и лежащем на всем этом мрачном отблеске поражения, каждый чувствует, что вы могли бы просто написать, как писал под своими полотнами Гойя: "Я это видел"»²²³.

* * *

Родившись в 1924 году в Варшаве, после начала Второй мировой войны, Бронислав Бачко, как и многие другие жители города, перебирается в Восточную Польшу и вскоре оказывается на территории, занятой советскими войсками²²⁴. Тррор, голод, болезни, тяжелый труд были знакомы ему не понаслышке: проработав два года в колхозе, в 1943 г. он становится офицером польской армии, сформированной на территории СССР, и вместе с ней возвращается

²²² Генифе П. Указ. соч. С. 6.

²²³ Ozuif M. Introduction a la Conférence de Bronislaw Baczko // Baczko B. Espace démocratique et secousses révolutionnaire. Saint-Étienne, 2000

²²⁴ Многие биографические данные взяты мной из крайне любопытной статьи К. Помьяна, соотечественника Б. Бачко: Pomian K. Baczko: Lumières et Révolution // Revue européenne des sciences sociales (Cahiers Vilfredo Pareto). 1989. № 27 / 85. P. 13-25.

в родную страну. Вступив в ряды коммунистов, Б. Бачко выбирает сферой своих интересов философию, и в 1950 г. его принимают на работу в Институт подготовки научных кадров при Центральном комитете Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Будучи на тот момент марксистом²²⁵, он занимается изучением прогрессивных тенденций в польской общественной мысли и через два года защищает диссертацию, посвященную тайному Польскому демократическому обществу, существовавшему в первой половине XIX в. Как не без иронии вспоминает ныне сам автор, она была посвящена «неразрешимой проблеме: как втиснуть в рамки марксизма-ленинизма совершенно не подходившую для этого польскую историю». Год спустя выходит его книга о философских и политических идеях Тадеуша Котарбинского, одного из его учителей, преподавателя логики и эпистемологии в Варшавском университете.

1953-1957 годы были для Б. Бачко временем пересмотра многих взглядов и острых идеологических дискуссий, связанных со смертью Сталина, падением Берии, XX съездом КПСС, «оттепелью», польскими событиями 1956 года. Важным этапом здесь стало умирение рабочих волнений в Познани летом этого года, когда «диктатура пролетариата давила танками реальных рабочих». На это же время приходится первая поездка Б. Бачко во Францию по линии ЮНЕСКО, встречи с зарубежными коллегами, активное знакомство с новейшей западной историографией. В сферу его интересов постепенно попадает Просвещение, и с 1958 г. начинается работа над книгой о Руссо, принесшей автору широкую известность²²⁶. Сам он вспоминает, что пришел к Руссо... через Гегеля: «После диссертации я заинтересовался польскими гегельянцами сороковых годов XIX века, самим Гегелем, а затем гегелевским прочтением Руссо. Почему Руссо? Трудно сказать; может быть, потому, что мне было интересно посмотреть на предшественников Гегеля. А затем стал этим заниматься, пообещав себе впоследствии вернуться в XIX век, да так и остался там, и остаюсь по сей день...»

Вместе с тем, преподавая в Варшавском университете и в Институте философии Академии наук, Б. Бачко не мог и не хотел оставаться в стороне от происходивших в Польше идейных и интеллектуальных процессов; наметившееся со второй половины 1950-х годов усиление партийного диктата в науке сказалось и на его

²²⁵ Ныне Б. Бачко говорит о методологии своих исследований следующим образом: «Я принадлежу, как мне кажется, к поколению, которое утратило позитивистскую методологическую невинность. В равной мере я принадлежу к поколению, которое утратило иллюзии марксистского толка, то есть идеи о том, что существует особая точка, после которой история становится прозрачной и логичной, поскольку она сама по себе прозрачна и логична» (Bronislaw Baczko: entretien // Esprit. Juillet-aôût 2003. Если не указано иное, далее все высказывания Б. Бачко приводятся по этому интервью).

²²⁶ *Baczko B. Rousseau: samotność wspólnota. Warszawa, 1964* (французское издание: *Baczko B. Rousseau, solitude et communauté. Paris, 1974*).

работе. Вместе с друзьями и коллегами он задавал тон в том, что стало впоследствии называться «Варшавской школой истории идей»²²⁷, однако власти выступили с критикой в адрес ряда ученых, принадлежавших к этой «школе», обвинив их в «ревизионизме». С середины 1960-х годов начались репрессии: обрушившись на «ревизионизм и сионизм», руководство партии и страны развязало тем самым одновременно и антиинтеллектуальную, и антисемитскую кампанию. Б. Бачко был исключен из ПОРП, уволен из университета, оказался лишен права публиковать свои работы, другим ученым было запрещено ссылаться на его труды; «это было совершенно поруэлловски». В тот непростой момент его поддержали коллеги: в декабре 1969 г. по приглашению Жана Эрара Б. Бачко переезжает во Францию и начинает преподавать в университете Клермон-Феррана, а затем, с 1973 г., в университете Женевы.

К этому времени его интерес к философии уже прочно сопрягался с интересом к истории, «свободным от всякого идеологического давления и неподдельным». Проблемы, над которыми он размышлял, — взаимоотношения личности и общества, интеллектуала и его времени, степень автономности этики от идеологии — можно было решать на материале едва ли не любой эпохи. Бронислав Бачко избрал для себя Францию XVIII века. От изучения Руссо он переходит к изучению утопий; вернее, как заметил сам автор, никуда он специально не переходил, а просто «обнаружил утопию в Руссо». «В моем труде, — добавляет он, — речь шла о том, чтобы прочитать тексты заново в соответствии с их эпохой, а не только нашей. Определить место текстов, персонажей, социальных групп, институтов, событий — чего угодно, но вместе с тем и включить их в определенный контекст, навязать господству диахронии синхронность».

Так родилась книга «Огни утопии»²²⁸. Ее название автор поясняет следующим образом: «Когда огни утопии освещают горизонт, горизонт ожиданий и индивидуальных или коллективных надежд, они бросают новый свет на социальный пейзаж. И люди, и предметы оказываются захвачены потоком этого яркого света. Хотя его интенсивность может быть различна, эффект оказывается одинаков». Уже на страницах этой монографии встречаются не только имена Просветителей, но и Жильбера Ромма и Фабра д'Эглантина, отдельные главы автор посвящает революционному Парижу и новому календарю. «Целостность и оригинальность Просветителей, — рассказывает Б. Бачко, — отнюдь не ограничиваются несколькими затверженными клише: антиклерикализм, разум, оптимизм, прогресс и т.д. Как говорил Токвиль, век Просвещения — это век сомнений и

²²⁷ Подробнее см.: *Sitek R. Warszawska szkoła historii idei. Warszawa, 1999.*

²²⁸ *Baczko B. Lumières de l'Utopie. Paris, 1978.*

дискуссий. Культурное единство того времени, которое именуется Просвещением, складывается из характерных для его деятелей вопросов, затруднений и тревог. Если ответы разнообразны и противоречивы, то одни и те же вопросы и спорные моменты обсуждаются вновь и вновь. Эти проблемы и тревоги должна была в обязательном порядке унаследовать Революция, добавив к ним те, которые порожидала она сама.

Таким образом, сама логика исследований привела Бронислава Бачко к изучению Французской революции. «Революционный период, — отмечает он, — в определенном смысле заставил воспринимать себя как гигантскую мануфактуру идей, образов и людских судеб». Одной из таких идей была как раз родившаяся на стыке утопии и Революции мысль о необходимости создания «человека обновленного», амбициозность и размах которой нередко завораживали историков²²⁹. Отсюда тот интерес, который возник с 1980-х годов к революционным проектам и реформам в области образования и просвещения²³⁰. Не избежал этого интереса и Б. Бачко: в 1982 г. он опубликовал сборник текстов²³¹, со страниц которого звучали слова Робеспьера и Сен-Жюста, Мирабо и Талейрана, Кондорсе и Ромма. «С самого начала, — подчеркивал автор, — в Революции проявлялось ее педагогическое призвание — обновить Nation и сформировать новый народ, и эта миссия содержала в себе непреодолимое очарование для сменявших друг друга властей. В этом легко узнается наследие Просветителей: речь здесь идет не столько об идеях, заимствованных из того или иного произведения, сколько о восприятии педагогического порыва, пронизывающего все Просвещение, его мечты о создании новых людей, свободных от предрассудков и улучшенных настолько, насколько это позволяло их время». И далее, вплоть до наших дней, «Революция и культура», «Революция, показанная через культуру» остаются в числе любимых сюжетов автора. Не случайно, на мой взгляд, одну из более поздних статей он начнет словами депутата Конвента Дону, сказанными в октябре 1795 года: «Культура повторяла на протяжении трех последних лет судьбу Национального Конвента. Она стенала вместе с вами от тирании Робеспьера, она восходила вместе с вашими коллегами на эшафоты...»²³².

²²⁹ Классической работой на эту тему является книга М. Озуф: *Ozouf M. L'homme régénéré*. Paris, 1989.

²³⁰ См., например: *Ozouf M. L'école de la France*. Paris, 1984; *Pancera C. La Rivoluzione Francese e l'istruzione per tutti*. Fasano di Puglia (BR), 1984; *Idem. L'Utopia pedagogica rivoluzionaria (1789-1799)*. Rome, 1984; *Palmer R.R. The Improvement of Humanity. Education and the French Revolution*. Princeton, 1985.

²³¹ *Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l'époque révolutionnaire*, présenté par B. Baczko. Paris, 1982.

Тема утопии выводила Б. Бачко и на другой более широкий контекст — контекст изучения явления, которое в русской традиции обозначается несколько неуклюжей конструкцией «социальная система образов». Ей и была посвящена новая книга²³³. «Утопии, — вспоминал автор позднее, — это своего рода вежи, чрезвычайно полезные для того, чтобы выявить горизонт личных и коллективных ожиданий эпохи. Вежи ненадежные, нередко обманчивые, но тем не менее вежи. Будучи банальными или экстравагантными, радикальными или оппортунистическими, интеллектуальными играми или проектами социальной реформы, утопии — это те места, где проявляется социальная система образов». Для Б. Бачко «социальная система образов» — это те идеи и те образы, посредством которых общество познает само себя, свои внутренние противоречия, свою идентичность. Это отнюдь не только утопии, но и многое другое, включая коллективную память. И не в последнюю очередь здесь оказывается важным направленное внешнее воздействие, в том числе со стороны государства: через систему запретов, пропаганду, насаждение определенной идеологии.

Так постепенно выкристаллизовывались те темы, над которыми Бронислав Бачко будет работать в последующие годы на стыке изучения Просвещения, утопий, «социальной системы образов» и Французской революции. «Как и когда и идея становится движущей силой политических, культурных и социальных изменений? Этот вопрос привел меня к тому, чтобы отложить в сторону утопические тексты восемнадцатого века и, в общем-то естественным образом, заняться революционным периодом, заинтересоваться утопическими идеями-образами, переработанными и трансформированными революционным опытом». И если в начале этого пути данная тенденция — взгляд на Революцию через утопии и Просвещение — была достаточно очевидна²³⁴, то едва ли многие предполагали, что всего через несколько лет Б. Бачко увлечется другим сюжетом, посвященным традиционно маргинальному и на первый взгляд никак не связанному с его предыдущими трудами периоду Французской революции — Термидору²³⁵.

²³² Бачко Б. Культурный поворот III года Республики // Французский ежегодник. 2000. М., 2000. С. 103.

²³³ *Baczko B. Les imaginaires sociaux. Paris, 1984.*

²³⁴ См., например, статью: *Baczko B. Le contrat social des Français: Sieyès et Rousseau // The Political Culture of the Old Regime / Baker K.M. (ed). Oxford, 1987. P. 493-512.* Вместе с тем Б Бачко не отказался и от несвязанного с Революцией изучения Просвещения и утопий, свидетельством чего стала его книга: *Baczko B. Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalité du mal. Paris, 1997.*

²³⁵ До книги «Как выйти из Террора?» он публикует ряд статей, среди которых: *Baczko B. L'expérience thermidorienne // The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. T. 2. The Political Culture of the French revolution. Edited by Colin Lucas. Oxford, 1987 ; Idem. Thermidoriens // Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la* 309

Может показаться удивительным, но на протяжении последних двухсот лет термидорианский период (или, если использовать выражение, введенное в обиход Б. Бачко, *le moment thermidorien*) практически всегда находился на периферии исторических исследований, вне зависимости от того, к какой эпохе или к какой школе принадлежали исследователи, занимавшиеся Французской революцией. Другие ее этапы казались более яркими, более интригующими. Интерес к проектам реформ, Декларации прав, торжественному отречению от привилегий и титулов, стремление понять, каким образом страна, в которой в 1789 году практически не было республиканцев, вдруг, словно по волшебству, отвергла тысячелетнюю монархию, — все это приковывало взгляды к первым годам Революции. Энтузиазм, победоносная война едва ли не с целой Европой, Террор, народный подъем, претворение в жизнь утопий заставляли сосредоточивать внимание на годах диктатуры монтаньяров. А затем практически сразу появлялся Наполеон, чья фигура не переставала увлекать и очаровывать. На этом фоне Термидор казался скучным, серым, периодом разрушения, а не созидания. Как писал в свое время А. Собуль, «термидорианцы разорудили дело Революционного правительства и привели Республику к гибели»²³⁶. Казни монтаньяров виделись своеобразным трагическим финалом предшествующего периода, термидорианцы воспринимались лишь как «приобретатели, грабители и взяточники»²³⁷, Конституция III года Республики не продержалась и четырех лет — иными словами, Термидор оказался напрасным. Как хорошо известно, в отечественной историографии на протяжении полувека он и вовсе выводился за рамки Революции. «9 термидора, — утверждал А.З. Манфред, — восторжествовала буржуазная контрреволюция. Гибель Робеспьера стала и гибелью якобинской диктатуры, гибелью революции»²³⁸. Последняя крупная работа, посвященная этому времени, появилась в нашей стране в 1949 году²³⁹.

Эта своеобразная «незавершенность» термидорианского периода, попытки окончить Революцию, «выйти из Террора» как раз и оказались привлекательными для Бронислава Бачко. «Мне всегда было интересно, — рассказывал он, — открывать вещи

Révolution française. P., 1988.

²³⁶ Собуль А. Первая республика. М., 1974. С. 201.

²³⁷ Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль. М., 1957. С. 51.

²³⁸ Манфред А.З. Максимилиан Робеспьер // Робеспьер М. Избранные произведения. Т. 1. М., 1965. С. 85.

²³⁹ Добролюбский К.П. Термидор. Одесса, 1949.

незавершенные — труд, текст, жизнь». Конечно же, Термидор не так далеко отстоял от основной линии его исследований, как это могло показаться: он представлял собой настоящий «культурный поворот»; внимание термидорианцев к области культуры трудно переоценить — от создания новых государственных учреждений и высших школ до осуждения «вандализма» эпохи монтаньяров. Все это в книге, разумеется, есть. Но есть там и многое другое.

«Революционная историография, — отмечает автор, — испытывала особый интерес, и это вполне справедливо, к следующему вопросу: каким образом Революция пришла к Террору? Сползла ли она к нему незаметно, в силу обстоятельств? Представлял ли он собой "занос"? Несла ли она его в себе, как тучи несут дождь?». По словам Б. Бачко, поначалу казалось, что эти вопросы относятся к предыдущим периодам Революции, а Термидор лишен своей особой проблематики. Однако, «чем больше я продвигался в изучении источников, — вспоминает он, — тем больше у меня возникало ощущение, что центральная и специфическая проблема этого периода, политическая, культурная и социальная в одно и то же время, вращается вокруг вопроса: как выйти из Террора?». Этот вопрос неразрывно связан с Робеспьером, отношением к его личности, его наследию, его сторонникам (или, если угодно, «охвостью»), его ответственности за Террор²⁴⁰. И не случайно книга начинается именно с мифа о Робеспьере-короле — одного из удивительных ответвлений «черной легенды» Робеспьера.

Нет смысла пересказывать исследование, с которым читатель имеет возможность ознакомиться сам. Любопытно иное: после выхода монографии Б. Бачко и, не в последнюю очередь, в связи с двухсотлетием Революции (а, соответственно, и двухсотлетием Термидора) во всем мире отмечается оживление интереса к этому периоду. Так, в 1994 году вышла в свет монография известного итальянского историка С. Луццатто «Осень революции»²⁴¹, в 1995 году во Франции прошло два международных коллоквиума — «1795. За республику без революции»²⁴² и «Поворот III года. Реакция и «белый террор» в революционной Франции»²⁴³, а на следующий год молодыми историками Я. Боском и С. Ваниш был организован междисциплинарный семинар по проблемам III года Республики, заседания которого проходили в нескольких университетах страны; не

²⁴⁰ На эту тему см., в частности: *Бачко Б. Робеспьер и террор // Исторические этюды о французской революции. Памяти В.М. Далина. М., 1998. С. 141-154.*

²⁴¹ *Luzzatto S. L'autunno della rivoluzione. Lotta e cultura politica nella Francia del termidoro. Torino, 1994.*

²⁴² 1795. Pour une République sans Révolution. Colloque International. 29 juin — 1 juillet 1995. Rennes, 1996.

²⁴³ *Letourmant de l'an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire. Actes du 120^e congrès national des sociétés historiques et scientifiques. Aix-en-Provence, 23-29 octobre 1995, P., 1997.*

прекращалась и работа самого Б. Бачко над этим сюжетом²⁴⁴. В нашей стране также появилось несколько статей, посвященных Термидору²⁴⁵, да и мои собственные исследования в известной степени находились под влиянием захватившей мое воображение книги Б. Бачко²⁴⁶. И это неудивительно, поскольку, хотя данная монография и вышла в свет уже полтора десятилетия назад, она отнюдь не устарела: до сих пор не появилось другого труда, где столь же ярко, выпукло и всесторонне было бы показано, чем стал Термидор для современников и какие основные проблемы волновали людей, которым выпало жить в это время.

* * *

Мне самому несколько раз довелось встречаться с Брониславом Бачко во Франции, и с первых же минут я был покорен обаянием, остротой мысли, мягким юмором и громадной эрудицией этого удивительного человека. И могу только надеяться, что первое серьезное знакомство российских читателей с его трудами будет иметь продолжение, а книга «Как выйти из Террора?» окажется не только интересной, но и вызовет немало размышлений.

Дмитрий Бовыкин

²⁴⁴ Помимо уже названных статей см., например: *Baczko B. Les Giron-dins en Thermidor // La Gironde et les Girondins. P., 1991; Idem. Une passion thermidorienne: la revanche // Histoire et théorie des sciences sociales. Mélanges en l'honneur de Giovanni Busino. Genève-Paris, 2003.*

²⁴⁵ См., например: *Согрин В.В. Революция и термидор // Вопросы философии. 1998. № 1.С. 5.*

²⁴⁶ См., например: *Бовыкин Д.Ю. Термидор, или Миф о конце Революции // Вопросы истории. 1999. №3; Он же. Термидор: старые проблемы и новые споры // Французский ежегодник. 2000. М., 2000.*

Бронислав Бачко

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕРРОРА?
ТЕРМИДОР И РЕВОЛЮЦИЯ

Редактор Екатерина Лямина
Корректор Любовь Кравченко
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

BALTRUS
119021, Москва Комсомольский проспект, 4

Новое издательство
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8 / 10, строение 2
телефон 229 2633 e-mail info@novi2dat.ru

Подписано в печать 19.09.2005
Формат 60x90 1 / 16
Гарнитура Helios, Minion
Объем условных 21, 75 печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ № 447.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Момент»
Химки, улица Библиотечная, дом 11